

UNIwersYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

Acta Neophilologica

XVIII
2



WYDAWNICTWO
UNIwersYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
OLSZTYN 2015

Kolegium Redakcyjne

Franciszek Apanowicz (Gdańsk), Anna Bednarczyk (Łódź), Józef Darski (Poznań),
Aleksander Kiklewicz (Olsztyn), Joanna Kokot (Olsztyn), Ewa Kujawska-Lis
(Olsztyn), Mikhail Melikhov (Syktywkar), Jolanta Miturska-Bojanowska (Szczecin),
Joanna Nawacka (Olsztyn), Grzegorz Ojcewicz (Szczecino), Joanna Orzechowska (Olsztyn),
Heinrich Pfandl (Graz), Yuriy Kovbasenko (Kijów), Stanisław Puppel (Poznań),
Larisa Soboleva (Jekaterynburg), Klaus Steinke (Erlangen), Ewa Żebrowska (Warszawa),
Alexander Zholkovsky (Los Angeles), Bogusław Żyłko (Gdańsk)

Recenzenci

Tatjana Bunczuk, Olga Chorochordina, Paweł Jędrzejko, Ewa Kujawska-Lis,
Michaił Mielichow, Marina Niznik, Tatjana Nowikowa, Olga Orłowa, Joanna Orzechowska,
Walenty Piłat, Helena Pocięcina, Irena Rudziewicz, Nerys Young

Redaktor naczelna

Joanna Orzechowska
e-mail: joanaorzech@gmail.com

Sekretarz redakcji

Joanna Nawacka
e-mail: joanna.nawacka@gmail.com

Redaktorzy językowi

Ewa Kujawska-Lis, Helena Pocięcina

Redaktorzy tematyczni

Językoznawstwo i glottodydaktyka
Alla Kamalova
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo
Iwona Anna NDiaye

Adres redakcji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. fax 89 527 58 47, 89 524 63 69
uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta_Neophilologica

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe

Projekt okładki

Barbara Lis-Romańczukowa

Redaktorzy tomu

Joanna Orzechowska i Joanna Nawacka

Redakcja wydawnicza

Katarzyna Zawilska

Skład i łamanie

Marzanna Modzelewska

ISSN 1509-1619

© Copyright by Wydawnictwo UWM • Olsztyn 2015

Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Nakład 105 egz. Ark. wyd. 15,00; ark. druk. 12,75
Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 235

Spis treści

Językoznawstwo i glottodydaktyka

Наталья Демьяненко, <i>Глагольные и номинативные сравнения в польской и украинской фразеологии</i>	5
Joanna Joachimiak-Prażanowska, <i>O zapożyczeniach leksykalnych z języka rosyjskiego w polszczyźnie międzywojennej. Na materiale Tygodnika Pustrowanego</i>	11
Мария Калениченко, <i>Модальные характеристики семантической структуры безличных предложений в чешском языке</i>	25
Tatiana Kwiatkowska, <i>Gramatyczna kategoria liczby dla słów obcego pochodzenia w ujęciu konfrontatywnym polsko-rosyjskim</i>	33
Павло Мирошниченко, <i>Коммуникативная эффективность украиноязычного радиове щания в Украине</i>	43
Teresa Pluskota, <i>Wpływ języka urzędowego na system nazewniczy mieszkańców parafii prawosławnej w Białowieży na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym (na podstawie zapisów w księgach metrykalnych)</i>	53
Robert Szymula, <i>Метафорический перенос в современном русском политическом дискурсе (сфера-источник «театр»)</i>	61
Светлана Ваулина, Екатерина Магдалинская, <i>Модальность необходимости как смысловая основа текстов официально-делового стиля в русском и польском языках</i>	71

Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

Nel Bielniak, <i>Cykl poleski Aleksandra Kuprina</i>	81
Magdalena Dąbrowska, <i>Ze studiów nad twórczością Michaiła Nikiticza Murawiowa (wątek Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa)</i>	93
Ольга Гамали, Ольга Каневская, <i>Способы авторской самопрезентации в русской рок-поэзии</i>	105
Jadwiga Gracla, <i>Mały bies Fiodora Sołoguba na scenach polskich</i>	113
Tatiana Hajder, <i>Kwestionowanie genologiczne i tematowe współczesnej fantastyki sakralnej (A. Wiśniewski-Snerg, M. Sokolan i inni)</i>	121
Olga Letka-Spychała, <i>Droga pielgrzyma jako przykład metaforycznego modelu czasu w poezji Inny Lisnianskiej</i>	131

Irena Matus, <i>Dyskurs wokół konwersji unitów na północnym Podlasiu w latach 20. i 30. XIX wieku</i>	141
Halina Mazurek, <i>Lekturowe skojarzenia. Różaniec z granatów Ksawerego Pruszyńskiego i Bransoletka z granatów Aleksandra Kuprina</i>	157
Joanna Mianowska, <i>Польские крохотки ду-нуйцев</i>	165
Patryk Witczak, <i>Między Wschodem a Zachodem. Filozoficzne inspiracje Michaiła Arcybaszewa w kontekście wątków tanatologicznych</i>	175
Aleksandra Zywert, <i>Czytając Rosję. Współczesna proza rosyjska w Polsce. Wybrane zagadnienia</i>	185

Sylwetki naukowe

Walenty Piłat, <i>Prof. zw. dr hab. Albert Bartoszewicz jako promotor olsztyńskiej rusycystyki</i>	195
--	-----

JEZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA

Наталья Демьяненко

Институт филологии

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

ГЛАГОЛЬНЫЕ И НОМИНАТИВНЫЕ СРАВНЕНИЯ В ПОЛЬСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Key words: phraseological unit, comparative phraseological units, verbal comparisons, nominal comparisons

Фразеология представляет собой тот пласт лексики, шире – языковой системы, который наиболее ярко и образно передает национальные реалии, атрибуты народного быта и все, что определяет самобытность и индивидуальное лицо каждого народа. Фразеологизм, как и слово, в языке выполняет номинативную функцию. Но, в отличие от слова, фразеологические единицы возникают не для обозначения новых денотатов, а для интенсификации и конкретизации понятий об уже существующих предметах и их характеристики. Компаративная фразеология – обширный пласт любого языка и одна из наиболее распространенных и древних форм языковой номинации, ибо через сравнение человек издавна постигал окружающий мир и самого себя. Сопоставление «неизвестного или малоизвестного с известным и хорошо знакомым – один из древнейших и надежнейших способов наименования» [Мокиенко 1993, 174].

Проблема изучения компаративных фразеологических единиц исследована в языкознании не в достаточной степени. Главным образом они упоминались в общем составе фразеологических единиц как языковые клише. В исследованиях по стилистике им уделялось значительно меньше внимания, поскольку фразеологические сравнения – это одно из образных средств языка.

Проблема выделения устойчивых сравнения из общего состава фразеологического фонда впервые была затронута в работах таких лингвистов, как В.В. Виноградов, А.В. Кунин, А.Г. Назарян, И.И. Чернышова и др., которые в своих общих концепциях отводят сравнительным фразеологическим единицам отдельное место. В плане сопоставления изучались сравнительные фразеологизмы немецкого и русского языков [Неведомская 1973], русского и французского [Огольцев 1972], немецкого и украинского [Муница 1975], болгарского, сербского и словенского

[Кабанова 1986], русского и чешского [Мокиенко 1982], русского, украинского и сербохорватского [Кузнецова 1995] и других языков.

Сущность и место сравнения в системе философских и языковых категорий представляются не достаточно ясными, что вызывает немало трудностей при анализе языкового материала. Сравнение связано, прежде всего, с пониманием содержания, в частности, с пониманием интенсивности определенного качества. Изучение компаративных фразеологизмов правомерно, как с точки зрения разнообразия формальных средств выражения сравнения, так и с точки зрения синонимического варьирования семантики сравнения. Важное замечание по поводу компаративных фразеологизмов делает А.Ф. Артемова: «сравнительные фразеологические единицы, образность которых не выражена так имплицитно, как в метафорических, выполняют больше усилительную функцию. Иными словами, усилительная функция в них доминирует над также присутствующей эмоционально-оценочной» [Артемова 1991, 79]. По мнению польского фразеолога С. Скорупки, компаративные фразеологизмы находятся на границе фразеологических единиц и свободных сочетаний. Сравнение становится фразеологизмом в том случае, когда в установленном виде мы отмечаем какую бы то не было нерегулярность на синтаксическом или семантическом уровне.

Компаративные фразеологизмы – это устойчивые сравнения, которые строятся согласно схеме: «название качества или действия + сравнительный союз + метафорический интенсификатор этого качества или действия» [Виноградов 2004, 196]. Таким образом, мы попытались условно поделить все компаративные фразеологизмы на 1) номинативные – которые называют качество и 2) глагольные – называющие действие. Но, заметим, что нет четко обоснованного раздела сравнительных конструкций на глагольные и номинативные, этот раздел достаточно условен. Для каждого из обоих языков характерны «своеобразные метафорические интенсификаторы, которые, или уменьшают степень качества, или указывают на увеличение интенсивности действия» [Там же]. Компаративные фразеологизмы можно рассматривать как особый тип ФЕ, обладающий богатой системой средств выражения степени и сравнения. Компаративным оборотам присущи такие свойства фразеологизмов, как устойчивость, воспроизводимость, образная мотивированность, экспрессивность.

Целью нашего исследования было осуществить попытку сравнительного анализа глагольных и номинативных сравнений фразеологических единиц польского и украинского языков, а также определить особенности структуры фразеологических сравнений. Фактический материал был собран методом сплошной выборки из лексикографических источников (*Słownik frazeologiczny języka polskiego* pod red. S. Skorupki; *Mały słownik frazeologiczny języka polskiego* pod red. S. Bąby, J. Liberka; *Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski a rosyjsko-polski* pod red. J. Luksina; *Фразеологічний словник української мови* в 2-х тт. под ред. Л.С. Паламарчука, В.М. Билоноженко, В.О. Винника; *Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь* под ред. И.С. Олейника, М.М. Сидорченко).

Польская компаративная синтаксическая конструкция образуется при помощи следующего порядка элементов: элемент, который сравнивается + союз *jak* + элемент, с которым сравнивается: *dziewczyna jak z bajki, chłop jak tur, opływać we wszystko jak pączek w masle*. В украинском языке сравнительные фразеологизмы можно тоже поделить подобным образом, однако, в качестве сравнительного союза, кроме *як*, могут выступать и другие союзы: *мов, мовби, немов, немовби, мовбито, немовбито, наче, начебто, неначе, неначе б, ніби, ніж, гей, буцім, буцімто, що: живе, наче вареник у маслі плаває, як (мов) з хреста знятий*.

Рассмотрим классы компаративных фразеологизмов польского языка и попытаемся отыскать их украинские эквиваленты, определив, имеют ли они сходную структуру. Форма глагольных сравнений зависит, прежде всего, от коннотативных особенностей глагола – синтаксической основы сравнения. Глагол, который выступает в компоненте сравнения, и в компоненте, который сравнивает, имеют одинаковую коннотативную структуру. Отметим, что глагольные сравнения более многочисленны. Среди них можем выделить следующие классы:

1. Фразеологизмы, которые в качестве сравнения имеют предложения: фразеологизмы *bić (sprać, zlać) kogoś tak, że go (rodzona) matka nie pozna* – укр. *потовкати (помотлошити, поколошматити) кого; дати бобу (кладу) кому; полатати боки кому*. Украинский эквивалент не имеет сравнительной основы. *Coś ustaje (urywa się, kończy się) jak nożem (piżcem) wdrizaw (władaw)*. Данный украинский эквивалент отвечает грамматической структуре польского фразеологизма.
2. Фразеологизмы, у которых в качестве сравнения выступают причастие и деепричастие: *upaść (wyciągnąć się) jak długi* – украинский эквивалент: *розпластався (простягся) на весь (на цілий) зріст; витягся на (у) всю довжину*. В украинских эквивалентах в сравнительной части выступают существительные, а не прилагательные: *usiąść (stać, upaść, zwalić się) jak martwy – cieżki (стояти, впасти) як мертвий. Wyszedł (wrócił, poszedł) jak niepyszny* – украинские эквиваленты: *пішов, піймавши облизня (шилом патоки, вхопивши; пішов, облизавши макогона*. В данных эквивалентах выступает глагол, а не прилагательное, как в польском варианте. *Chodzić jak błędny, chodzić jak struty* – украинские эквиваленты: *як у воду опущений, тяжко засмучений (зажурений); геть знеохочений (до всього), як курча в воду впустив*. Мы видим, что среди украинских эквивалентов в сравнительной части может употребляться причастие (*опущений*). *Ktoś poszedł jak zmyty, ktoś wyszedł zawstydzony, upokorzony* – украинский эквивалент: *пішов, піймавши облизня (шилом патоки, вхопивши); пішов, облизавши макогона*. В данных эквивалентах в сравнительной части выступают деепричастие + существительное. *Kłamać jak najęty (kłamać z zapalem, bez wahania)* – украинские эквиваленты: *у живі очі брехати, брехати на всі заставки; брехати, аж куриться (аж курява встає, аж йому з-під носа куриться)*. В украинских эквивалентах деепричастия нет. *Ktoś wygląda jak z krzyża zdjęty (ktoś jest mizerny, wychudzony)* – украинские эквиваленты: *як (мов) з хреста знятий; як з того світу встав; сама тінь (снасть)*.

3. Фразеологизмы, которые в качестве сравнения имеют существительное в именительном падеже: *znać coś jak własną (swoją) kieszeń* – украинские эквиваленты: *знати як старі свої чоботи* (як чоботи на своїх ногах), *знати як свої (своїх) п'ять пальців* (пучок); *знати як облупленого* (як облуплену овечку). Все эквиваленты, кроме последнего, содержат в сравнительной части существительные: *як облупленого* – деепричастие.
4. Фразеологические единицы, у которых в качестве сравнения выступают подлежащее в косвенных падежах или словосочетание с предлогом: *czuć się jak (u siebie) w domu* – украинский эквивалент: *почувати себе як дома* (удома). Можем наблюдать полное грамматическое соответствие между польским и украинским эквивалентом. *Wierzyć w coś jak w ewangelię* – украинский эквивалент: *вірити усім (цирим) серцем*. *Ktoś na to jak na lato* – возможный перевод: *великий мисливець на щось*. Как видим, в украинском эквиваленте сравнение отсутствует.
5. Фразеологизмы, у которых в качестве сравнения выступает сочетание двух существительных в разных падежах: *pakować (wkładać) jak łopatą do głowy* – украинские эквиваленты: *вбивати (вкинути) кому в голову що; утовкмачувати, втовкмачити (задовбувати, задовбати, товкти) кому в голову*. *Bawić się (grać) z kim jak kot z myszką* – украинский эквивалент: *грається, як кіт з мишею*. *Nosić się jak kura z jajem* – украинский эквивалент: *носиться, як курка з яйцем* – такое же сочетание двух существительных в разных падежах.
6. Фразеологические единицы, у которых в качестве сравнения выступает инфинитив: *jak okiem sięgnąć*. В украинском эквиваленте тоже можем наблюдать инфинитив: *оком не змигнути* (не моргнути).

Среди номинативных сравнений выделяем следующие классы, которые в качестве сравнения имеют:

1. Предложения: фразеологизмы *taki jak go matka urodziła (zrodziła)* – укр.: *у чому (як) мати народила (спородила)*.
2. Существительное в именительном падеже: *Brzydki jak grzech śmiertelny (jak siedem grzechów (głównych))* – украинский эквивалент: *страшний як смертний гріх*.
3. Числительное: *prawda (rzecz oczywista, pewne) jak dwa a dwa cztery, jak dwa razy dwa (cztery)* – ясно як двічі (як два рази) по два; *як світ свінув кому*. Первый украинский эквивалент тоже содержит в сравнительной части числительное.

Таким образом, можем сделать вывод о том, что глагольные сравнительные фразеологизмы самая многочисленная группа. И номинативные, и глагольные компаративные фразеологизмы в качестве сравнения могут иметь предложения, а также существительное в именительном падеже. Только глагольные компаративные фразеологизмы имеют в качестве сравнения причастие и деепричастие, подлежащее в косвенных падежах, словосочетание с предлогом, сочетание двух существительных в разных падежах, а также инфинитив. Номинативные компаративные фразеологические единицы, в отличие от глагольных, могут иметь в качестве сравнения числительное.

Особое место в польском и в украинском языках занимают фразеологизмы, представляющие собой сравнительные обороты, которые состоят из прилагательного + сравнительный союз *jak* (в украинском языке *мов, мовби, немов, немовби, мовбито, немовбито, наче, начебто, неначе, неначе б, ніби, ніж, гей, буцім, буцімто, що*) + существительное. Фразеологические единицы, которые выражают элемент развернутой формы сравнения, характеризуются тем, что их общее фразеологическое значение оказывается связанным с фактом прямого сопоставления (сравнения) объектов. Эти фразеологизмы всегда включают в свой состав элемент, который специально указывает на факт сопоставления (сравнения). В нашем случае таким элементом выступает сравнительный союз. Прилагательное, которое входит в состав фразеологизма, обязательно стоит в форме именительного падежа.

Отметим, что в некоторых случаях эта структура в польском языке может расширяться. Такое расширение может происходить двумя способами: 1) путем добавления прилагательного: *głupi jak midasowe uszy, głupi jak stołowa noga, delikatny jak francuski piesek*; 2) путем добавления существительного-сравнения: *żwawy jak wół w pługu, głupi jak cielę na niedzielę, nudny jak flaki z olejem, śmiały jak baba za płotem*. Отметим, что некоторые фразеологизмы данного типа могут выступать как в чистом виде, так и в расширенном. Так, фразеологизму *głupi jak cielę* соответствует оборот *głupi jak cielę na niedzielę*; фразеологизму *nudny jak flaki* – *nudny jak flaki z olejem*. Можно также сделать и вывод о том, что добавочный элемент фразеологизма, в то же время, и ограничивает сравнение. Так, фразеологизм *śmiały jak baba za płotem* не допускает любого другого сравнения, кроме расширения путем добавления существительного *płot*. Таким образом, расширительный элемент выступает и ограничительным.

Анализ номинативных и глагольных сравнений в польской и украинской фразеологии продемонстрировал универсальность структурно-семантических моделей компаративных фразеологических единиц и в то же время их национальную специфику в каждом из сопоставляемых языков. В польском и украинском языках компаративные фразеологизмы демонстрируют значительное сходство, которое проявляется в общности структурной организации сопоставляемых фразеологизмов, в общности прямых и переносных значений генетических прототипов фразеологизмов и их компонентов. Фразеологический образ формируется на основе представлений человека о том или ином явлении или действии, причём это явление или действие последовательно связывается как с объектом, обладающим определенными свойствами, так и с его символическим значением. Это не случайно, так как весь окружающий человека мир воспринимался им сквозь призму мифологического мышления. Иногда жизненные наблюдения и традиции польского и украинского народов расходятся, что влечет за собой появление разноплановых фразеологических единиц (*znać co jak własną (swoją) kieszeń* – *знати як свої чоботи*). Также мы можем наблюдать многочисленные случаи совпадения компаративных фразеологизмов. Это объясняется давними и тесными связями между польским и украинским народами, общностью мифологических представлений

и интернациональных источников заимствования и, наконец, общностью явлений окружающего мира, схожестью фауны, которая окружает носителей языков (*chytry jak lis* – хитрий як лисиця, *pracowity jak pszczoła* – працюватий як бджола, *teru jak pień* – дурний як пень). Основные принципы структуризации польских компаративных фразеологизмов аналогичны украинским, хотя существуют примеры, когда грамматическая форма целого фразеологизма или его части не совпадает с грамматической категорией в эквивалентах украинского языка.

Библиография

- Артемова Анна. 1991. *Значение фразеологических единиц и их прагматический потенциал: Дис. д-ра филол. наук: 10.02.04.* Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И.Герцена.
- Кабанова Наталья. 1986. *Компаративные фразеологические единицы болгарского, сербского и словенского языков: Автореф. дис. канд. филол. наук.* Ленинград.
- Кузнецова Ирина. 1995. *Устойчивые сравнения русского языка (в сопоставлении с украинскими и сербохорватскими): Дис. канд. филол. наук.* Санкт-Петербург.
- Мокиенко Валерий. 1982. *Русская фразеология в сопоставлении с чешской.* В: *Современное состояние и основные проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы.* Москва: 233-239.
- Мокиенко Валерий. 1993. *О словаре русских народных сравнений.* В: *Вопросы теории и истории языка.* Санкт-Петербург: 174-179.
- Муница Сергей. 1975. *Адъективные компаративные фразеологические единицы в немецком и украинском языках: Автореф. дис. канд. филол. наук.* Киев.
- Неведомская Ольга. 1973. *Компаративные фразеологизмы немецкого языка в сопоставлении с русскими: Дис. канд. филол. наук.* Ленинград.
- Огольцев Василий. 1972. *Компаративные фразеологизмы русского языка в сопоставлении с французским.* В: *Вопросы семантики фразеологических единиц славянских, германских, романских языков. Ч. II.* Новгород: 112-123.
- Туранский Игорь. 1990. *Семантическая категория интенсивности в английском языке.* Москва: Высшая школа.

Summary

VERBAL AND NOMINAL COMPARISONS IN POLISH AND UKRAINIAN PHRASEOLOGY

Fixed comparisons are the source of idiomatic comparisons. Comparative phraseology demonstrates a wide range of culturally conditioned ideas of Poles and Ukrainians and the compositions of phraseological unit core components are embedded in culturally-rooted systems. The aim of this study was to identify intelligence and analyze Polish phraseological units with the comparison component and find their equivalents in the Ukrainian language. Basic principles concerning the structuring of Polish comparative phrases are similar to those in Ukrainian, although there are examples where the grammatical form of a phraseological unit or its part does not match the grammatical equivalent category in the Ukrainian language.

Kontakt z Autorką:
demnata@bigmir.net

Joanna Joachimiak-Prażanowska

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

O ZAPOŻYCZENIACH LEKSYKALNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W POLSZCZYŹNIE MIĘDZYWOJENNEJ. NA MATERIALE *TYGODNIKA ILUSTROWANEGO*

Key words: vocabulary, Russicisms, interwar period, the language of the press

Zagadnienie rosyjsko-polskich kontaktów językowych w dwudziestoleciu międzywojennym nie doczekało się jeszcze całościowej analizy. Opublikowane dotąd opracowania dotyczące tego okresu to m.in prace poprawnościowe A. Krasnowolskiego [1919] i A.A. Kryńskiego [1920] obejmujące jedynie pierwsze lata międzywojnia. O nieznacznym oddziaływaniu języka rosyjskiego na polszczyznę w okresie II Rzeczypospolitej – podobnie jak wyżej wymienieni autorzy – pisali także: S. Słoński [1934] i A. Brückner [1974].

Odmienne stanowisko w sprawie zapożyczeń rosyjskich w języku polskim zajęli znani językoznawcy: E. Klich [1929] i K. Nitsch [1935], podając liczne przykłady rusycyzmów używanych w polszczyźnie. O wspomnianej różnicy zdań na temat wpływów rosyjskich w języku polskim tak pisze H. Karaś:

Problematyka wpływów rosyjskich budziła zawsze emocje i wywoływała spory, gdyż język rosyjski postrzegano – w wyniku uwarunkowań historycznych – jako język wroga. Niechętny stosunek do rusycyzmów użytkowników polszczyzny i częste ujmowanie ich w aspekcie poprawnościowym w literaturze lingwistycznej sprawiły, że termin *rusycyzm* stał się także określeniem wartościującym. Opinie na temat wpływów rosyjskich w polszczyźnie były i są niejednokrotnie, również obecnie, rozbieżne [Karaś 2007, 25].

O udziale elementów pochodzenia rosyjskiego w terminologii polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym informuje jedynie słowniczek B. Ślaskiego [1934], poświęcony zapożyczeniom rosyjskim w słownictwie morskim.

Stosunkowo dobrze poznano rusycyzmy słownikowe z okresu zaborów napotkane w prasie warszawskiej w latach 1795-1918 [KarR]. W obronie polszczyzny przed zalewem wpływów języków państw zaborczych wydawano w II połowie XIX i początkach

XX wieku pierwsze poradniki językowe i zbiorki rusycyzmów¹. Polszczyzna XIX-wieczna pozostawała również w kręgu zainteresowań innych badaczy, którzy dali temu wyraz w licznych artykułach oraz w słowniku gwary warszawskiej².

Interferencja języka rosyjskiego na polski po II wojnie światowej – to z kolei przedmiot badań D. Buttler [ButN] i J. Bieleckiej-Latkowskiej [BieLat]. Studium pierwszej z wymienionych autorek wprowadza nas w problematykę z zakresu leksyki, związaną z typami zapożyczeń z języka rosyjskiego i drogami ich przenikania do polszczyzny. J. Bielecka-Latkowska zaś skupia się w swojej monografii na pożyczkach leksykalnych właściwych oraz kalkach wyrazowych, semantycznych i słowotwórczych, wyekscerpowanych ze słowników oraz powojennej prasy polskiej lat 1945-1985. Spośród prac o charakterze poprawnościowym³, które powstały w tym okresie, wymienić należy podręcznik akademicki opracowany przez D. Buttler, H. Kurkowską, H. Satkiewicz [1971-1982], zawierający wnikliwą ocenę i analizę rusycyzmów oraz artykuł J. Wawrzyńczyka, przedstawiający kilka wybranych kalk (rusycyzmów strukturalnych) z wydawnictw normatywnych.

O oddziaływaniu języka rosyjskiego na powojenną polszczyznę inteligencji wileńskiej dowiadujemy się z prac J. Mędelskiej [m.in. MędJP-II, MędJP-III], A. Nagórko [1992] i I. Masojć [1990].

Niedawno pojawiły się pierwsze opracowania najstarszych rusycyzmów z XVII-XVIII w. Należą do nich artykuły A. Pihan-Kijasowej [2002, 2003], w których badaczka analizuje m.in. pamiętniki XVII-wiecznych dyplomatów posługujących do Rosji oraz uczestników wojen polsko-rosyjskich, a także pamiętniki zesłańcze. Jak zauważa A. Pihan-Kijasowa:

Zapożyczenia rosyjskie, będące częścią zapożyczeń wschodniosłowiańskich, uznaje się w literaturze przedmiotu za najmłodsze ogniwo kontaktów językowych Polski ze wschodnią Słowiańszczyzną, ogniwo w pełni aktywne dopiero od dwóch stuleci [Pihan-Kijasowa 2002, 131].

Warto więc wyjaśnić, czy długotrwały wpływ języka rosyjskiego na polszczyznę, zwłaszcza w okresie zaborów, utrzymał się w języku polskim I połowy XX wieku.

Materiału językowego do analizy dostarczył mi *Tygodnik Ilustrowany*, periodyk społeczno-kulturalny o zasięgu ogólnopolskim. Wychodził w Warszawie od roku 1859, czyli już pod zaborem rosyjskim. Wydawano go także przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Czasopismo było wielkiego formatu i – podobnie jak inne gazety o dużych rozmiarach (np. *Kurier Warszawski*) – wytwarzało własne, nowoczesne formy układu graficznego. Zdecydowanie konkurowało pod tym względem z innymi pismami, wyróżniając się pięknym wyglądem [Gołka 1971: 301]. Zasadniczą część tekstów publikowanych w *Tygodniku* stanowiła literatura piękna w różnych jej odmianach, krytyka literacka i artystyczna. Rzadziej pojawiały się problematyka aktualna oraz reportaże krajowe

¹ Zob. Szczerbowicz-Wieczór 1881; Walicki 1886; Czarkowski [Czark]; Łętowski 1915.

² Zob. m.in. BieR, SGW.

³ Zob. także następujące opracowania z zakresu kultury języka: Klebanowska, Kochański, Markowski 1985; Podracki 1991; Podracki 1993; Bąba, Walczak 1992.

i zagraniczne. W badanym okresie (1918-1929) funkcję redaktora naczelnego *Tygodnika Ilustrowanego* pełnił znany poeta, publicysta i krytyk literacki Z. Dębicki.

Do prezentacji zostały wybrane rusycyzmy słownikowe (w tym tzw. sowietyzmy⁴) wyekscerpowane z najwcześniejszego rocznika *Tygodnika Ilustrowanego*, wydawanego w niepodległej Polsce, a mianowicie z 1918 roku. Są to następujące wyrazy i wyrażenia:

anty-bolszewicki ‘przym. od *antybolszewik* (przeciwnik komunizmu w Rosji)’:
Niech nas nie impresjonuje łączność (...) ruchu wojsk polskich z akcją anty-bolszewicką (...) – 7/76⁵ oraz 29-30/327; formę *антибольшевизм*⁶ notuje OSRJa; sowietyzm, ros.: *антибольшевистский*;

bezzrząd ‘brak rządu, bezład, anarchia’: *Bezzrząd polski był tylko nieistnieniem centralizmu władzy (...)* – 18/34/368; z polszczyzny okresu zaborów podaje KarR 286; notują: SL, SWil, SW, równoległy SIJP, powojenny SJPD; w języku prasy polskiej połowy XIX wieku rejestruje BiałS 89 i uznaje za kalkę rosyjską; ros.: *безвластие, безначалие* (SRJaO);

bieluga ‘gatunek jesiotra, żyjący w Morzu Czarnym i Kaspijskim’: (...) *wyprawa nie zarzuciła sieci u wybrzeży oceanowych po pewny a obfity połów (...) bielugi i śledzi (...)* – 18/29-30/328; wcześniejszy zapis w polszczyźnie pod zaborem rosyjskim w KarR 152; rejestrują: SW i SJPD (z ros.); w nowszej polszczyźnie etnicznej jako rusycyzm notuje BieLat 110; ros.: *белуга* (SRJaO);

bojar ‘magnat feudalny, członek wyższej klasy rządzącej w państwie Moskiewskim, w dawnej Rosji i na Wołoszczyźnie; na Litwie i Białej Rusi: szlachcic, rycerz posiadający dobra ziemskie; in. bojarzyn; (...) w dokumentach (...) z XV-go wieku spotykamy się z ich protoplastami, bojarami (...)’ – 10/110; wcześniejsze poświadczenia z Kresów północno-wschodnich w KurzW 336 i PihS 24 [równoległe w JoRwKW 125]; z powojennej polszczyzny etnicznej podaje BieLat 111; w SJPD (z ros.); zdaniem SWO – „od ros. *bojarin*, z tur. *bajar* ‘wielmoża, magnat’”; ros.: *боярин* [SRJaO];

bolszewicki ‘przym. od *bolszewik*’: (...) *kulturalna Europa za pośrednictwem tak poważnej instytucji, jak Komitet fundacji Nobla, uczciła ideały bolszewickie* – 3/32 (4 razy) oraz 34 przykłady⁷; w okresie zaborów notuje KarR 92 i 153, w dwudziestoleciu międzywojennym – SIJP⁸, w nowszym języku polskim – BieLat 111; sowietyzm, ros.: *большевистский* [SRJaO];

⁴ Terminem *sowietyzm* posługuję się tu w takim rozumieniu, jakie zaproponowała K. Sierocka [1963: 40].

⁵ Liczby w tym zapisie oznaczają kolejno: numer „Tygodnika Ilustrowanego”, stronę.

⁶ Według S. I. Ożegowa przedrostek *анти-* „образует существительные и прилагательные со знач. противоположности, враждебности, направленности против кого-чего-н., то же, что противно..., напр. *антидемократический, антихудоожественный, антивоенный (...)*” [SRJaO].

⁷ Zob. 20/236, 5/57, 6/69, 7/76 (4 razy), 9/103, 16/186, 21-22/258, 21-22/259, 27-28/309 (2 razy), 29-30/327, 29-30/328 (3 razy), 31-32/341, 31-32/345, 33/352, 37/405, 38/417, 39/427 (2 razy), 40/442 (2 razy), 41/460, 42/470, 46/532, 47/559, 49/588, 49/589 (2 razy), 49/590.

⁸ Słownik ten nie wynosi przymiotnika *bolszewicki* do rangi wyrazu hasłowego. Został on jednak użyty w haśle *bolszewizować*: ‘robić bolszewickim’ (o podobnych wypadkach, czyli wyrazach „ukrytych” w tekście SW, pisał J. Wawrzyńczyk [2009]).

bolszewik ‘komunista rosyjski, także potocznie Rosjanin – obywatel ZSRR’: *Bolszewicy roznamiętnili chłopów obietnicą ziemi* (...) – 16/186 (3 razy) oraz 47 poświadczeń⁹; znane z zaboru rosyjskiego [KarR 92 i 153] i polszczyzny powojennej [BieLat 111]; z międzywojnia poświadcza SIJP z wartą uwagi semantyzacją: ‘maksymalista, członek partii skrajnych rewolucjonistów rosyjskich pragnących bezzwłocznie wprowadzić ustrój komunistyczny’; SJPD, SWO, SWOiZO, MASWO wskazują na rosyjskie źródło wyrazu; sowietyzm, ros.: *большевик*¹⁰ [SRJaO];

bolszewizm ‘teoria i taktyka rewolucji proletariatu’: (...) *dziś próbuje panować i rządzić „bolszewizm” inteligencko-rewolucyjny* – 2/17 oraz 18 przykładów¹¹; z polszczyzny pod zaborem rosyjskim podaje KarR 92 i 153, z okresu międzywojennego – SIJP (w znaczn. ‘hołdowanie skrajnemu radykalizmowi, niemal anarchizmowi; partia polityczna, pragnąca wprowadzić ustrój komunistyczny’); z języka polskiego doby obecnej – BieLat 111; SJPD, SWO, SWOiZO wskazują na rosyjską genezę; sowietyzm, ros.: *большевизм* [SRJaO];

burżuj ‘reprezentant burżuazji, bogacz, kapitalista, wyzyskiwacz’: (...) *u właścicieli większych mieszkań lokowano (...) żołnierzy (...) głosząc (...), że jeden pokój powinien wystarczyć dla dwunastu burżujów* – 16/186 oraz 3/32, 13/148; wcześniejszy przykład z okresu zaborów [KarR 92 i 153], późniejszy – z polszczyzny powojennej [ButN 11]; na pośrednictwo rosyjskie wskazuje SWO (ros. z fr.); sowietyzm, ros.: *буржуа* [SRJaO];

car ‘dawniej: władca rosyjski, bułgarski, serbski (w Rosji nazwa była pierwotnie stosowana do chanów tatarskich)’: *Burżuazja (...) za rządów cara (...) uciekła od służby w wojsku* (...) – 23-24/271 oraz 16/188, 17/196, 23-24/270, 27-28/308, 29-30/326 (4 razy), 44/506, 48/566; w SJPD (z ros.); w SWOiZO (daw.) ‘władca Rosji (1547-1917), Bułgarii albo Serbii’; w nowszej polszczyźnie etnicznej poświadcza BieLat 112; ros.: *царь* [SRJaO];

carewicz ‘syn cara’: (...) *pozostał jeden pokój młodego carewicza* (...) – 16/188; rejestrują: SW, SJPD; z języka polskiego doby obecnej podaje BieLat 112; ros.: *царевич* [SRJaO];

caryzm ‘system rządów carskich, carat’: (...) *prowadził przez pustynię życiową, przez cierniste drogi caryzmu z rewolucyjną inteligencją Rosyi* – 1/4 oraz 41/453; pod zaborem rosyjskim rejestruje KarR 154; poświadcza SW i SJPD; ros.: *царизм* [SRJaO];

cerkiew ‘kościół obrządku wschodniego’: *Śparogi (...) widzimy (...) jako (...) na krzyż ułożone deski czołowe szczytów chat, cerkwi i ozdobnych wielkopańskich domów* – 6/66 oraz 1/4, 29-30/329, 31-32/340 (2 razy), 45/523 (2 razy); z pamiętników zesłańców podaje PihK 324; ros.: *церковь* [SRJaO];

⁹ Zob. 1/9 (2 razy), 1/10, 2/17, 2/18 (5 razy), 3/32 (5 razy), 4/45, 6/69, 9/103, 14/161, 20/236, 31-32/341 (3 razy), 34/367, 34/369 (10 razy), 35/378, 35/379, 39/429 (3 razy), 40/442 (4 razy), 44/503, 45/522, 48/532, 48/566 (2 razy).

¹⁰ Leksem *большевик* pochodzi od rosyjskiego wyrazu *большинство* ‘większość’ [KarR 153].

¹¹ Zob. 1/4, 14/161, 14/162, 15/176, 29-30/341, 38/417, 40/442, 41/453 (2 razy), 46/532 (4 razy), 46/539, 47/551, 48/566 (2 razy), 52/630.

cerkiewny ‘należący do cerkwi, jej właściwy, charakterystyczny dla niej’: (...) „oddzielenie” cerkwi od państwa – z wydzieleniem drogich kamieni ze sprzętów cerkiewnych (...) – 1/4; ros.: *церковный* [SRJaO – w haśle *церковь*];

chodynka ‘ścisk w tłumie, któremu towarzyszy kalectwo, ofiary (od nazwy Chodyńskiego Pola w Moskwie, gdzie w 1896 roku w takim tłoku zginęło wielu ludzi, którzy przyszli świętować koronację Mikołaja II)¹²’: (...) *niech nam wyobraźni do zbytku nie impresjonuje straszna katastrofa koronacyjna na moskiewskiej Chodynce* – 18/29-30/327; słowniki definicyjne języka polskiego nie notują; ros.: *ходынка* [SRJaO, BES¹³];

Czerwona Gwardya ‘zbrojna organizacja robotnicza’: *Jednego dnia górą jest kontrrewolucja, drugiego „czerwona gwardya” bolszewików zdobywa Kijów* (...) – 9/103 oraz 14/161, 19/196; pod zaborem rosyjskim notuje KarR 92 jako „pożyczkę typową dla nowego okresu”, która pojawiła się po rewolucji w Rosji w 1917 roku; sowietyzm, ros.: *Красная гвардия* [w SRJaO w haśle *гвардия*];

czerwono-gwardzista ‘żołnierz Czerwonej Gwardii, zbrojnej organizacji robotniczej’: (...) *u właścicieli większych mieszkań lokowano bez pardonu żołnierzy i czerwono-gwardzistów* (...) – 16/186 oraz 17/196; z okresu zaborów poświadcza KarR 92 i 286; z międzywojennej Wileńszczyzny – JoS 55 (*czerwonogwardzista*); zapis dopiero w powojennym SJPD; sowietyzm, ros.: *красногвардеец* [SRJaO];

czerwony ‘rewolucyjny, o przekonaniach socjalistycznych, lewicowych, postępowych; komunistyczny’: *Czerwony terror na kresach jako jedno ze swych zadań wytknął sobie walkę z Polakami* – 16/186; rejestruje SJPD; sowietyzm, ros.: *красный* [‘ts.’ SRJaO];

dekabrysta ‘uczestnik rosyjskiego szlacheckiego ruchu rewolucyjnego, skierowanego przeciwko absolutyzmowi cesarskiemu i państwu; ruch ten wywołał zbrojne powstanie w grudniu 1825 roku’: (...) *te zarządzenia (...) znajdują swoje wytłomaczenie w ideologii poprzedników, poczynając od Dekabrystów* – 1/4; pod zaborem rosyjskim poświadcza KarR 155; w dwudziestoleciu międzywojennym – SIJP i MASWO; w polszczyźnie powojennej – BieLat 115; rejestrują także SW, SJPD (*hist.*), SWO, SWOiZO wskazując na rosyjską genezę; ros.: *декабрист*¹⁴ [SRJaO];

Duma ‘instytucja doradcza, ograniczone w swoich prawach ciało ustawodawcze powołane w Rosji przez rząd carski w 1905 roku w wyniku rewolucji burżuazyjno-demokratycznej 1905-1907; parlament’: (...) *wyodrębnienie „zdawna rosyjskiej” ziemi chełmińskiej, owoc (...) zachłanności narodu, która znalazła wyraz w uchwale Dumy* – 19/218 oraz 7/76, 27-28/308, 29-30/327 (3 razy), 33/366 (2 razy), 34/367; używane pod zaborem rosyjskim [KarR¹⁵ 155-156]; za rusycyzm uznaje Czark 8 ‘izba państwowa’ (w Rosji); w polszczyźnie doby obecnej notuje BieLat 115; w SW – (w Rosji) ‘rada, sejm’; w SJPD – *hist.*; ros.: *Дума* [SRJaO];

¹² Definicję zaczerpnęłam ze słownika języka rosyjskiego [SRJaO].

¹³ Tu w znac. rozszerzonym: „Трагические события на Ходынском поле (в северо-западной части Москвы в начале современного Ленинградского проспекта) 18.05.1896 во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II. из-за халатности властей произошла давка, погибло 1389 человек, изувечено 1300”.

¹⁴ Nazwa utworzona od ros. *декабрь* ‘grudzień’ [ESRJa].

¹⁵ Wyraz *Дума* „odżył (...) obecnie po zmianach ustrojowych w Rosji” [KarR 156].

dziesięcina ‘miara powierzchni ziemi wynosząca ok. 1,1 ha’: (...) w *rękach polskich jest jeszcze [...] kilkanaście tysięcy dziesięcin ziemi* – 2/19 (2 razy); znane z okresu zaborów [KarR 251]; w SWil – *prow.*; w SW – *gw.*; w SJPD w znaczeniu ‘dawna rosyjska miara powierzchni ziemi (...)’; we wszystkich słownikach podkreśla się rosyjskie źródło takiego użycia wyrazu; ros.: *десятина* [SRJaO¹⁶];

es-er ‘członek ugrupowania socjal-rewolucyjnego’: (...) *Kiereński* (...) *jest heroldem es-erów (socyalnych rewolucjonistów) partii rządzącej* – 27-28/309 (3 razy) oraz 29-30/327; wcześniejszy przykład w formie *eser* pochodzi z języka polskiego pod zaborem rosyjskim [SGW z kwalif. *gw. part.* ‘socjalista-rewolucjonista rosyjski’], równoległy – z Kresów płn-wsch. [JoRwKW 126], późniejszy – z powojennej polszczyzny etnicznej [BieLat 116]; zapis w SIJP (*eser* ‘ts.’) z informacją: „skrót od S. R.”; w SJPD ‘zwolennik lub członek partii socjalrewolucyjnej w Rosji carskiej’ (z ros.); ros.: *эсер* – skrót od *социалист-революционер* [SRJaO];

etapowy ‘przym. od *etap*¹⁷ (więzienie dla aresztantów w czasie drogi na zesłanie): *W pociągach etapowych (...) żołnierze podczas mrozów rozniecają ogień na podłodze* (...) – 16/186; używane pod zaborem rosyjskim [KarR 229]; ros.: *этапный* [SRJaO – w hasle *эман*];

generalissimus ‘najwyższy tytuł wojskowy nadawany za szczególne zasługi wojenne, a także osoba nosząca ten tytuł’: *W sierpniu, trzeci z kolei generalissimus rosyjski* (...) – *ustąpił* – 7/81 oraz 6/69, 9/103, 46/532, 47/547; zapis w SW (*generalisymus*) i SJPD (z łac.); według ESRJa *generalissimus* funkcjonuje w języku rosyjskim od czasów Piotra I i jest pożyczką z niem.; w *Tygodniku Ilustrowanym* z ros.: *генералиссимус* [SRJaO¹⁸];

general-major ‘generał brygady’: *Za stołem: (...) 4) Kontr-admirał Altvater (...), 11) Gen.-major Hoffman* (...) – 1/9 oraz 11/129; ros.: *генерал-майор* [SRJaO];

gławnowierch ‘dowódca (wódz) naczelny’: (...) *czyn militarny polski, wzięcie do niewoli* (...) (*gławnowiercha*) *Rosyi bolszewickiej* (...) – *zelektryzował całe społeczeństwo polskie* – 6/69 oraz 31-32/340; por. ros. skrótowiec *главверх* = *верховный главнокомандующий* [TSJaS];

gubernia ‘wyższa jednostka administracyjna w Rosji carskiej’: (...) *odbyły się w Mileńszczyźnie, (...) i w innych guberniach kresowych, posiedzenia* (...) *Rad kresowych* (...) – 21-22/244 oraz 9/98, 38/417; z polszczyzny pod zaborem rosyjskim podaje KarR 158; z międzywojennej Wileńszczyzny – JoRwKW 127; w nowszej polszczyźnie etnicznej notuje BieLat 118; rejestrują SWil, SW i SJPD (dwa ostatnie wskazują na źródło rosyjskie); ros.: *губерния*¹⁹ [SRJaO];

¹⁶ Według S.I. Ożegowa w języku ros. jest to: „Старая русская мера земельной площади, равная 2400 кв. саженям или 1,09 гектара”.

¹⁷ Definicję podaje za słownikiem języka rosyjskiego [SRJaO].

¹⁸ S. I. Ożegow notuje w znaczn.: „Высшее воинское звание, присваиваемое за особо выдающиеся военные заслуги, а также лицо, носящее это звание” [SRJaO].

¹⁹ W ros. od czasów Piotra I; prawdopodobnie utworzone od *губернатор* na wzór *император*: *империя* [ESRJa].

junkierski ‘przym. od *junkier*²⁰: *Po ukończeniu (...) w Warszawie (...) junkierskiej szkoły piechoty (...) ukończył akademię sztabu generalnego w Petersburgu – 11/129; używane pod zaborem rosyjskim [KarR 125]; ros.: юнкерский [SRJaO];*

kadecki ‘przym. od *kadet*’: (...) *zdawało się, że sprawa kadecka przegrana na zawsze – 23-24/270; w polszczyźnie okresu zaborów rejestruje KarR 159; ros.: кадетский [SRJaO – w haśle *кадем*]; zob. *kadet*;*

kadet ‘w Rosji przed rewolucją październikową członek partii konstytucyjno-demokratycznej’: *Oto w gazecie Russkaja Wola (...) obszernie sprawozdanie ze zjazdu partyjnego kadetów – 23-24/270 oraz 7/76, 7/81, 29-30/327, 45/522; pod zaborem rosyjskim notuje KarR 159; w okresie międzywojennym – SIJP i MASWO; w SWO (hist.), SWOiZO, SJPD (hist.) ze wskazaniem na źródło rosyjskie; z języka polskiego doby obecnej podaje BieLat 120; ros.: кадем²¹ [SRJaO]; por. *kadecki*;*

kindżał ‘długi nóż obosieczny pochodzenia wschodniego; rodzaj sztyletu’: *A widząc, że żołnierz wciąż gołym kindżałem wymachuje, proponuję mu, aby włożyć go do pochwy – 34/367; wcześniejsze przykłady z polszczyzny pod zaborem rosyjskim w KarR 161; rejestruje SWil i SIJP; SW wskazuje na pośrednictwo rosyjskie (z pers.); w SJPD i SWOiZO – ros. z arab.; w SWO – ros. z tur. (może od arab.); wśród rusycyzmów w polszczyźnie etnicznej notuje BieLat 121; ros.: кинжал [SRJaO];*

kopiejka ‘drobna moneta rosyjska’: (...) *wówczas (...) na każdą głowę nie wypadaloby więcej niż jakiś drobny ułamek kopiejki – 3/32; w okresie zaborów poświadcza KarR 161; w dwudziestoleciu międzywojennym – SIJP; w polszczyźnie powojennej – BieLat 124; w SEJP (w haśle *kopja*) z uwagą: „Od ‘włóczni’ na monecie zwano i moskiewską kopijkę od 15. w., niegdyś w Warszawie dobrze znaną ‘dwugroszówkę’”; ros.: копейка [SRJaO];*

ochrana ‘tajna policja polityczna w carskiej Rosji’: *Ze spalonego archiwum ochrony ocalały cztery tomy „Dziennika” (...) – 23-24/270 oraz 20/236, 27-28/309 (2 razy), 29-30/327 (2 razy); wcześniejsze przykłady pochodzą z języka polskiego pod zaborem rosyjskim [KarR 165 i 232, SGW]; z międzywojennego Kuriera Wileńskiego podaje JoRwKW 131; z powojennej polszczyzny etnicznej – BieLat 130; zapis w równoległych SIJP i MASWO, a także w SJPD (hist.) i SWOiZO ze wskazaniem na rosyjską proveniencję; ros.: охранка [SRJaO];*

papacha ‘wysoka czapka futrzana noszona przez żołnierzy rosyjskich’: *Ma (...) na głowie siwą papachę z szafirowem dnem – 18/212; w polszczyźnie pod zaborem rosyjskim rejestruje KarR 166; w nowszej – BieLat 132, ButN 17; jako pożyczkę z języka rosyjskiego notują: SJPD, SIJP, MASWO, SWO; ros.: nanaxa [SRJaO];*

preobrażeniec ‘żołnierz pułku preobrażeńskiego’: (...) *zrewoltowali się Wołyniacy... za nimi Preobrażeńcy, za Preobrażencami pułk Litewski (...) – 20/236; w polszczyźnie*

²⁰ *Junkier*: 1. ‘podoficer pochodzenia szlacheckiego’; 2. ‘uczeń szkoły oficerskiej’.

²¹ Wyraz *кадем* pochodzi „od początkowych liter pełnej nazwy partii K.D. – Конституционные Демократы” [KarR 159].

okresu zaborów rzeczownik *преображений* ‘ts.’ notuje KarR 107 (jako okazjonalizm); ros.: *преображенец* (ROS)²²;

prospekt ‘aleja’: *Na prospeckie Litiejnym rozgrabiono arsenal – 20/236* oraz *23-24/270*; z okresu zaborów podaje KarR 253; ros.: *нпоспект* [SRJaO];

siga ‘sieja’: *Wyprawa nie zwracała najmniejszego baczenia na potężne lasy (...) niezliczone jeziora pełne najcenniejszych ryb, zwłaszcza sig (...)* – 29-30/328; wcześniejsze poświadczenie w polszczyźnie pod zaborem rosyjskim w KarR 140; w SW i SIJP z odsyłaczem do *sieja*; zapis w SJPD bez podania etymologii; w nowszym języku polskim rejestruje BieLat 140 (jako rusycyzm); ros.: *суз* [SRJaO];

sojuszник ‘sprzymierzeniec’: *Udało mu się umknąć – do najwierniejszego sojusznika, do hetmana kozaków (...)* – 7/81; wcześniejsze przykłady pochodzą z polszczyzny okresu zaborów [KarR 168], późniejsze – z języka polskiego doby obecnej [BieLat 142]; ros.: *союзник* [WSRP];

Sybir ‘Syberia’: *Zakończenie smutne: szubienica, Sybir, razy* – 4/39 oraz 10/109; w polszczyźnie XIX-wiecznej jako pojęcie martyrologiczne²³; równoległe poświadczenie z Kresów północno-wschodnich w JoRwKW 135; używane też w polszczyźnie pod zaborem rosyjskim [SGW]; notuje SWil, odsyłając do *Syberia*; w SO z informacją: „w stylu uroczystym”; ros.: *Сибирь* [WSRP];

szynel ‘płaszcz wojskowy specjalnego kroju z patkami z tyłu’: *Na Suchomlinowa w szynelu z oberwanemi epoletami (...) chciał tłum rzucić się* – 20/236 oraz 44/502; w polszczyźnie pod zaborem rosyjskim rejestruje KarR 169; w nowszym języku polskim – BieLat 146; notują: SWil, SW, SJPD i wskazują na rosyjską genezę; ros.: *шинель* [SRJaO];

wojenny ‘związany z wojskiem, wojskowy’: (...) *podręczny arsenal, obejmujący do 1.000 sztuk broni myśliwskiej i wojennej* – 8/90 oraz 46/532; z Kresów poświadczają: KurzW 449, SawP 103²⁴; za rusycyzm uznaje Czark 36; w języku polskim okresu zaborów rejestruje KarR 240²⁵; w powojennej prasie wileńskiej – MędJP-II 454; ros.: *военный* [SRJaO];

wszechrosyjski ‘odnoszący się do wszystkich Rosjan; ogólnorosyjski’: (...) *kwestia białoruska dojrzała (...) w gorącej atmosferze (...) rewolucji wszechrosyjskiej* – 15/174 oraz 29-30/327; z polszczyzny pod zaborem rosyjskim zapis w KarR 286; poświadcza tylko SW (w znaczn. ‘ogólnie rosyjski’); ros.: *всепоссуіцкуі* [SRJaO];

wślad za ‘po czymś’: – *Naturalnie, uchodzili wślad za ustępującą armią niemal wyłącznie chłopcy ruscy i Żydzi* – 2/19; z polszczyzny okresu zaborów notuje KarR 314 (w *ślad za*); ros.: *вслед за чем* [SRJaO].

²² Z informacją: „Преображенский полк”.

²³ Por. „W Polsce XIX w., w okresie zaborów, nazwa *Syberia*, *Sybir* funkcjonowała nie tyle jako pojęcie geograficzne, określające północno-wschodnią, azjatycką część imperium rosyjskiego, ale jako pojęcie martyrologiczne, wskazujące ogromne obszary odległych guberni Rosji, do których zsyłani byli Polacy przede wszystkim za działalność patriotyczną” [PihK 321].

²⁴ Z. Sawaniewska-Mochowa zalicza wyraz *wojenny* ‘wojskowy’ do rusycyzmów o zasięgu regionalnym pnkres.

²⁵ Według H. Karaś „bardzo liczne poświadczenia z prasy warszawskiej z całego okresu zaborów wskazują na (...) szerszy zasięg” (tego wyrazu).

Aneks. Cytaty

Zamieszczone tu rusycyzmy użyte są przez redaktorów w pełni świadomie, w charakterze tzw. cytatów. Są to wyrazy podawane w brzmieniu rosyjskim (czyli niezaadaptowane do polszczyzny). Mają na celu ubarwienie tekstu, uwiarygodnienie go. Dystansowanie się redaktorów od tej leksyki podkreśla ujmowanie jej w cudzysłów bądź podawanie jej po dwukropku sygnalizującym przytoczenie. Te swoiste wtrącenia dowodzą dobrego władania językiem rosyjskim przez redaktorów, a także – najprawdopodobniej – przez czytelników, do których badane teksty prasowe adresowano.

balszoi ‘duży, wielki’: *Co chwila słyhać – A Kierenskiej! a carski! Eto balszaja diferenca!* – 18/212; ros. *большой* (SRJaO);

barin ‘pan’: *Konwojujące kozaczyko, zezując ku fruującym tam i sam cegłom, westchnęło naraz (...).* – *Ech barin! – plocho. Modlą się i buntują...* – 10/120; w polszczyźnie pod zaborem rosyjskim notuje KarR 97; ros. *барин*²⁶ [SRJaO];

branyj ‘bojowy’: *„Branyj Gienierał” jak zwą Dowbora-Muśnickiego (...) zajmował w imieniu Rosyi cesarski pałac w Pekinie (...)* – 6/69; ros. *бранный* [WSRP];

czynownik ‘w Rosji carskiej urzędnik państwowy’: *Postać (...) „czynownika” nabrała niezwykle plastycznego wyrazu dzięki p. Frenklowi (...)* – 8/92 (2 razy); z polszczyzny okresu zaborów podaje KarR 118; ze współczesnej – BieLat 114; wcześniejsze poświadczenia z Kresów w KurzW 346, SawP 61; w SW z ostrzeżeniem: *niepopr.* (z cyt. z A. Mickiewicza); w SJPD (*daw.*); ros. *чиновник* [SRJaO];

eto ‘to’: *Co chwila słyhać – A Kierenskiej! a carski! Eto balszaja diferenca!* – 18/212; ros. *это* [SRJaO];

gradonaczalnik ‘naczelnik miasta niepodległy gubernatorowi, np. w Petersburgu’: *Cywilny „gradonaczalnik” prof. Jurewicz, zarządził przewiezienie wszystkich sreber i kosztowności do Banku Państwa* – 23-24/270 oraz 27-28/309; w języku polskim okresu zaborów notuje KarR 122; w powojennej polszczyźnie etnicznej poświadcza BieLat 171; ros. *градоначальник* [SRJaO];

grażdanin ‘obywatel’: *Po wszystkich gazetach biją zewsząd w oczy republikańsko-socjalistyczne alokucje: Grażdanie! (...)* – 23-24/271; w nowszym języku polskim notuje BieLat 118; ros. *гражданин*, l. m. *граждане* [SRJaO];

inorodiec ‘obcoplemieniec’: (...) *między urzędnikiem szkoły Murawjewa a obrońcą praw ludu z typu (...) Lenina nie ma różnicy, gdy chodzi o „inorodców”* – 21-22/246; używane pod zaborem rosyjskim [KarR 123 – *inorodcy*]; ros. *инородцы* [SRJaO];

katorżnik ‘więzień skazany na przymusową ciężką pracę (przeważnie na Syberii)’: (...) *widzimy (...) lasy krzyżów, pod którymi usnęli na krańcach świata nasi wygnańcy, nasi „katorżnicy”, nasi bohaterowie (...)* – 4/41 oraz 45/522; znane z zaboru ros. [KarR 160]; z powojennej polszczyzny etnicznej podaje BieLat 121; rejestrują SW, SJPD i wskazują na rosyjską proveniencję; ros. *каторжник* [SRJaO];

machorka ‘gorszy gatunek tytoniu’: (...) *dymy „machorki” mieszały się z przenikliwymi wyziewami miotającej się tłuszczy* – 33/366; zapis w polszczyźnie pod zaborem

²⁶ Jest to ściągnięte *боярин* [ESRJa].

rosyjskim (KarR 163); z międzywojennego *Kuriera Wileńskiego* [JoRwKW 129-130]; rejestrują: SW, SIJP, SJPD, SWO (ze wskazaniem na ros. genezę); jako zapożyczenie ros. w nowszym języku polskim notują: BieLat 127, ButN 7²⁷; z powojennej prasy wileńskiej podaje MędJP-II 312 i MędJP-III 348-349; ros.: *махорка*²⁸ [SRJaO];

niebłaganadiożnyj ‘niepewny, niegodny zaufania’: *Nazajutrz zlurowano kozaków dragonią, lecz i dragoni okazali się „niebłaganadiożnymi”* – 20/236; ros.: *неблагонадежный* [SRJaO, WSRP];

tundra ‘bezdzwenny obszar roślinności arktycznej’: (...) *brnąć trzeba błotnistemi i trzęsawiskowemi tundrami* – 29-30/328; z polszczyzny okresu zaborów podaje KarR 170; zapis w międzywojennym SIJP; notują: SWil, SJPD, SWO (ros. z fiń. ‘wysoka, łysa góra’); w języku polskim doby obecnej rejestruje BieLat 149; ros.: *мында* [SRJaO].

Wnioski

Z rocznika 1918 warszawskiego *Tygodnika Ilustrowanego* wyekscerpowano 54 zapożyczenia leksykalne z języka rosyjskiego. Są one poświadczone łącznie 216 użyciami. Najczęściej notowano następujące wyrazy: *bolszewik* (50 razy), *bolszewicki* (38 razy).

W zgromadzonym materiale językowym dominuje zdecydowanie rosyjska leksyka realioznawcza, której użycie w tekstach traktujących o Rosji jest w pełni uzasadnione i nieuniknione. Składają się na nią historyzmy, np. *bojar*, *car* (i pochodne), *dekabrysta*, *Duma*, *kadet*, *ochrana*, sowietyzmy, np. *bolszewik* (i pochodne), *Czerwona Gwardia* (i pochodne), *czzerwony* ‘rewolucyjny’, oraz inne wyrazy oznaczające rosyjskie realia, np. *cerkiew*, *dziesięcina*. Wyrazy te weszły na stałe do zasobu słownego polszczyzny.

W ekscerpcie zwraca uwagę słownictwo związane ze sferą administracji państwowej (np. *caryzm*, *czynownik*, *Duma*, *gradonaczalnik*) i wojskiem (np. *branyj*, *generalissimus*, *generał-major*, *junkierski*). Nowa leksyka (tzw. sowietyzmy), odzwierciedlająca realia życia w państwie rosyjskim po roku 1917, odnosi się głównie do polityki (np. *anty-bolszewicki*, *bolszewizm*, *burżuj*, *czwewono-gwardzista*, *czwewony*).

Dość licznie (27 jednostek) reprezentowane są te rusycyzmy, których obecność w polszczyźnie poświadczona została we wcześniejszym okresie, a mianowicie w dobie zaborów (m.in. *barin*, *bieluga*, *bolszewik*, *burżuj*, *caryzm*, *Duma*, *inorodiec*, *kadecki*, *katorżnik*, *kindżał*, *machorka*, *papacha*, *prospekt*, *sig*, *szynel*, *tundra*).

Jedną jednostkę (*cerkiew*) napotkano w pamiętnikach zesłańczych (XIX w.).

Trzydzieści wyrazów dostrzeżonych na łamach badanej gazety funkcjonowało w dwudziestoleciu międzywojennym w polszczyźnie etnicznej (m. in. *bezząd*, *bolszewizm*, *dekabrysta*, *kadet*, *kopiejka*, *ochrana*, *papacha*), a 5 innych jednostek (*bojar*, *gubernia*, *machorka*, *ochrana*, *Sybir*) – we wspomnianym okresie – na Kresach północno-wschodnich.

²⁷ Zdaniem D. Buttler wyraz *machorka* należy do grupy „pożyczek dziewiętnastowiecznych, funkcjonujących już niekiedy na prawach elementów swojskich”.

²⁸ W słownikach ros. od lat 40. XIX w., ale w użyciu od XVIII w. pochodzi od nazwy hol. miasta *Amersfoort*, w VIII w. słynącego z wyrobów tytoniowych. W językach słowiańskich (i kilku innych, np. franc.) pożyczka z ros. [IES].

Należy podkreślić, że w *Tygodniku Ilustrowanym* znalazło się 25 rusycyzmów zarejestrowanych w języku polskim doby obecnej (m.in. *bojar, bolszewicki, burżuj, car, carewicz, dekabrysta, grażdaniin, gubernia, kadet, sojusznik, tundra*). Świadczy to o ich silnym zakorzenieniu się w języku. Ponadto 2 leksemy (*machorka, wojenny*) znamy z powojennej polszczyzny wileńskiej.

Przedstawiony materiał leksykalny pozwala domniemywać, że język polski porobiorowej prasy warszawskiej szybko oczyszczał się z rusycyzmów. Słownictwo rosyjskie było zapewne zaledwie powierzchowną naleciałością w zasobie leksykalnym polszczyzny czasu zaborów. Procesowi eliminacji rusycyzmów z polszczyzny dopomogła walka językoznawców polskich o czystość i poprawność języka ojczystego. W walce tej szczególna rola przypadła licznie pojawiającym się w owym czasie poradnikom językowym.

Można zatem stwierdzić, że wieloletni wpływ języka rosyjskiego na polszczyznę (trwający nieprzerwanie 123 lata) pozostawił znikomy ślad, co znalazło potwierdzenie w języku redaktorów analizowanego czasopisma.

Bibliografia

- Bąba Stanisław, Walczak Bogdan. 1992. *Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny*. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Brückner Aleksander. 1974. *Wpływy języków obcych na język polski*. W: *Początek i rozwój języka polskiego*. Red. Karaś M. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Buttler Danuta, Kurkowska Halina, Satkiewicz Halina. 1971-1982. *Kultura języka polskiego*. T. I-II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Golka Bartłomiej. 1971. *Rozwój drukarstwa prasowego i układu graficznego prasy polskiej do roku 1939*. „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, X, nr 3: 277-302.
- Karaś Halina. 2007. *Rosyjskie zapożyczenia formalnosemantyczne w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza*, „Prace Filologiczne”, LIII: 281-292.
- Klebanowska Barbara, Kochański Witold, Markowski Andrzej. 1985. *O dobrej i złej polszczyźnie*. Warszawa: Wiedza Powszechna.
- Klich Edward. 1929. *Pożyczki ruskie w języku polskim* (Recenzja *Słownika etymologicznego* A. Brücknera). SO. VIII: 493-510.
- Krasnowolski Antoni. 1919. *Najpospolitsze błędy językowe zdarzające się w mowie i piśmie polskim*. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
- Kryński Adam Antoni. 1920. *Jak nie należy mówić i pisać po polsku*. Warszawa: Druk Straszewiczów.
- Łętowski Aleksander. 1915. *Błędy nasze. Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie*. Wilno: nakł. Księgarni Józefa Zawadzkiego.
- Masojć Irena. 1990. *O wpływie składni rosyjskiej na współczesną polszczyznę wileńską (na materiale „Czerwonego Sztandaru”)*. „Poradnik Językowy” nr 2: 123-128.
- Nagórko Alicja. 1992. *Wpływy rosyjskie na język polskiej inteligencji wileńskiej*. W: *Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR*. Red. Kubiak H., Paleczny T., Rokicki J., Wawrykiewicz M. Warszawa-Wrocław-Kraków: 139-147.
- Nitsch Kazimierz. 1935. *W sprawie rusycyzmów*. „Język Polski” XX: 136-139.
- Pihan-Kijasowa Alicja. 2002. *Z dziejów najstarszych wpływów języka rosyjskiego na polszczyznę*. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Studia Językoznawcze” IX (XXIX). Poznań: 131-145.

- Pihan-Kijasowa Alicja. 2003. *Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w polszczyźnie ostatniego dziesięciolecia XX wieku*. W: *Славянское слово в литературе и языке*. Архангельск: Поморский университет. 115-124.
- Polszczyzna plata nam figła*. 1991. Red. Podracki J. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji.
- Podracki Jerzy. 1993. *Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy*. Warszawa: Wydawnictwo Oświata.
- Sierocka Krystyna. 1963. *Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR („Kultura Mas” 1929-1937)*. Warszawa: Książka i Wiedza.
- Słoński Stanisław. 1934. *Historia języka polskiego w zarysie*. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas.
- Szczerbowicz-Wieczór Ludomir Ludwik. 1881. *O skażeniu obecnem języka polskiego w prasie*. Płock: nakładem Izzydora Wassermana Księgarza.
- Ślaski Bolesław. 1934. *Rusycyzmy naszych marynarzy*. Kępno: Druk.
- Walicki Aleksander. 1886. *Błędy nasze w mowie i piśmie ku szkodzie języka polskiego popełniane, oraz prowincjonalizmy*. Kraków-Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa.
- Wawrzyńczyk Jan. 1978. *O rusycyzmach w polszczyźnie współczesnej*. „Język Rosyjski” nr 5: 206-207.
- Wawrzyńczyk Jan. 2009. *Autosuplement do Słownika warszawskiego*. Poznań: Sorus.

Wykaz skrótów bibliograficznych

- BES *Большой энциклопедический словарь*. 2001. Ред. Горкин А.П. Москва: Большая российская энциклопедия.
- BiałS Białoskórska Mirosława. 1992. *Słownictwo prasy polskiej połowy XIX wieku. Zjawiska progresywne i recesywne*. Szczecin: Wydawnictwo UŚ.
- BieLat Bielecka-Latkowska Janina. 1987. *Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy powojennej (1945-1987)*. Kielce: WSP.
- BieR Bielecka Janina. 1979. *Rosyjskie zapożyczenia semantyczne w pismach Orzeszkowej*. „Slavia Orientalis” nr 3: 351-354.
- ButN Buttler Danuta. 1973. *Nowsze zapożyczenia rosyjskie w języku polskim*. „Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Filii UW w Białymstoku, VI. Humanistyka”. T. II. Białystok: 5-36.
- Czark Czarkowski Ludwik. 1909. *Słowniczek najpospolitszych rusycyzmów*. Wilno: J. Zawadzki.
- ESRJa Фасмер Макс. 1986-1987. *Этимологический словарь русского языка*. T. 1-4. Москва.
- JoRwKW Joachimiak-Prażanowska Joanna. 2010. *Rusycyzmy w „Kurierze Wileńskim” (1925-1939)*. „Acta Baltico-Slavica” XXXIV: 121-145.
- JoS Joachimiak-Prażanowska Joanna. 2004. *Sowietyzmy w polszczyźnie „Kuriera Wileńskiego” (1924-1939)*. „Acta Baltico-Slavica” XXVIII: 53-61.
- KarR Karaś Halina. 1996. *Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów*. Warszawa: „Elipsa”.
- KurzW Kurzowa Zofia. 1993. *Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w.* Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- MASWO Michała Arcta *Słownik wyrazów obcych*. 1939. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
- MędJP-II Mędelska Jolanta. 2000. *Język polskiej prasy wileńskiej (1945-1979)*. T. II: *Lata 1945-1959*. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
- MędJP-III Mędelska Jolanta. 2004. *Język polskiej prasy wileńskiej (1945-1979)*. T. III: *Lata 1960-1979*. Cz. 2. *Słowotwórstwo, wyrazy*. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
- OSRJa Орфографический словарь русского языка. 1991. Отв. ред. Лопатин В.В. Москва: Русский язык.
- PihK Pihan-Kijasowa Alicja. 2008. *Udział leksyki religijnej w słownictwie pamiątek zesłańców z XIX w.* „Prace Komisji Językoznawczej BTN” XVIII: 321-332.
- PihS Pihan Alicja. 1991. *Studia o języku J.I. Kraszewskiego*. Poznań: Wydawnictwo UAM.

- ROS *Русский орфографический словарь*. 1999. Ред. Лопатин В.В. Москва: Российская академия наук.
- SawP Sawaniewska-Mochowa Zofia. 1990. *Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej*. Słownictwo. Warszawa: Wydawnictwo UW.
- SEJP Brückner Aleksander. 1993. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa: Wiedza powszechna.
- SGW Wiczorkiewicz Bronisław. 1966. *Słownik gwary warszawskiej XIX wieku*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- SIJP *Michała Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego*. 1916. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
- SJPD *Słownik języka polskiego*. 1958-1968. T. 1-10. Red. Doroszewski W. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
- SO Szober Stanisław. 1937. *Słownik ortoepiczny. Jak mówić i pisać po polsku*. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
- SRJaO Ожегов Сергей И. 1990. *Словарь русского языка*. Москва: Русский язык.
- SW Karłowicz Jan, Kryński Adam Antoni, Niedźwiedzki Władysław. 1900-1927. *Słownik języka polskiego*. T. 1-8. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
- SWil Zdanowicz Aleksander i in.. 1861. *Słownik języka polskiego*. Wilno: Maurycy Orgelbrand.
- SWO *Słownik wyrazów obcych*. 1959. Red. Rysiewicz Z. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- SWOiZO Kopaliński Władysław. 2002. *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem*. Warszawa: MUZA.
- TSJaS Мокиенко Валерий М., Никитина Татьяна Г. 2005. *Толковый словарь языка Совпедии*. Москва: АСТ-Астрель.
- WSRP Mirowicz Anatol, Dulewiczowa Irena, Grek-Pabisowa Iryda, Maryniakowa Irena. 2001. *Wielki słownik rosyjsko-polski*. T. 1-2. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Summary

ON LEXICAL BORROWINGS FROM THE RUSSIAN LANGUAGE IN INTERWAR POLISH. ON THE BASIS OF *TYGODNIK ILUSTROWANY*

This article presents lexical borrowings from the Russian language, excerpted from *Tygodnik Ilustrowany*, a commonly known Warsaw-based weekly. The research analysis was conducted on the words excerpted from the earliest editions of this weekly published over one year, issued in the Republic of Poland, beginning with 1918 when the country regained independence. The author of the study aimed to investigate whether a long-term influence of the Russian language on Polish, particularly in the period of annexations, manifested itself in the Polish language of the first part of the 20th century. The author collected 54 Russicisms, evident in 216 examples. In the collected linguistic material Russian lexis is distinctly dominating. Its application in texts about Russia is fully justified and unavoidable. The lexis consists of historicisms, Sovietisms and other words referring to Russian reality, such as: *cerkiew* or *dziesięcina*, that entered Polish vocabulary.

Kontakt z Autorką:
jop@autograf.pl

Мария Калениченко

Институт Филологии Киевского национального университета
им. Тараса Шевченко

МОДАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ

Key words: impersonal sentence, predicate stem of the sentence, semantic parameters of impersonal sentence, modality

Современные синтаксические исследования в славянской лингвистике характеризуются, с одной стороны, расширением и уточнением объектов изучения и разработкой соответствующих методов для их описания. В центре внимания лингвистов-славистов находится предложение, как основной объект изучения, специфика его структуры и семантики, взаимодействие с другими синтаксическими единицами, функционирование отдельных типов предложения, непосредственно безличных, в истории славянских языков. Характерной особенностью современной лингвистики является максимальный интерес к смысловому аспекту языка, на первый план активно выступает функциональный анализ языковых явлений, которые обеспечивают условия для успешной коммуникации, отображая внеязыковую действительность в сознании человека. Это предполагает установление степени изоморфизма между структурированием процесса мышления и способами его вербализации, а также выявления способности языковых способов адекватно выражать многогранные отношения в объективной действительности.

В славянской лингвистике последней четверти XX века сместился акцент на контекстуальную организацию предложения. Значительный вклад в теорию семантической структуры предложения внесли научные работы американских и российских лингвистов Ч. Филлмора, У.Л. Чейфа, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Г.В. Валимовой, В.Г. Гака, М.М. Гурмана, С.Д. Кацнельсона, Е.Д. Падучевой, П.В. Чеснокова, Н.Ю. Шведовой и других. Украинское языкознание представлено работами таких исследователей семантики и синтаксиса, как И.Р. Выхованец, К.Г. Городенская, С.Я. Ермоленко, А.П. Загнитко, Н.Л. Иваницкая, В.И. Кононенко,

О.С. Мельничук, В.М. Русановский, К.Ф. Шульжук и других. В Чехии проблемы семантического синтаксиса исследовали Й.Ф. Андерш, Я. Бауер, Г. Беличова, Ф. Данеш, М. Докулил, М. Грелл, Я. Корженский, Р. Мразек, П. Сгалла, К. Свобода, С. Жажа и другие лингвисты.

Несмотря на длинный список исследователей данной проблемы на материале разных славянских языков в реферируемых работах не прослеживается однозначности взглядов синтаксистов. Более того, практически каждый из них по-своему рассматривает вопросы категориальных и понятийных признаков семантического синтаксиса, используя собственную методику исследования синтаксической семантики, учитывая сложный характер содержания предложения и определяя три уровня представления – денотативный, логико-семантический и языковой семантики. Если денотативный уровень предложения ученые соотносят с реальными ситуациями, реальными предметами и отношениями между ними, логико-семантический – с логическими структурами, понятиями и отношениями между ними, то уровень языковой семантики – с семантико-синтаксическими структурами, лексическими компонентами и отношениями между ними.

В современной лингвистике заинтересованность семантической организацией предложения объясняется желанием ученых глубже понять суть семантики языковых единиц. Активизация исследований смысловой стороны предложения определяется необходимостью изучить данную синтаксическую единицу с точки зрения единства формы и содержания, что вызвано необходимостью привлечения синтаксиса как одного из уровней языковой системы к общей проблеме «реальность – мышление – язык». Таким образом изучать семантику предложения возможно опираясь на какой-либо элемент триады, т.е. принимая во внимание смысловую сторону предложения возможно реализовать несколько направлений исследований [Адамец 1978; Андерш 1987; Арутюнова 1976; Мухин 1980].

Определение учеными трех уровней функционального синтаксиса в славистике (формально-синтаксического, семантико-синтаксического, коммуникативно-го) повлияло на то, что произошла переориентация исследований с формального аспекта на семантический, который базируется на тех элементах в содержании языковых форм, которые являются непосредственным отображением объективной действительности.

В нашем исследовании активно используется теория семантического синтаксиса чешских лингвистов (труды П. Адамеца, Г. Беличовой, Ф. Данеша, Р. Мразека), которые считают, что семантическая структура предложения должна учитывать предикат и его семантико-синтаксическую валентность, которая прогнозирует качественный и количественный состав левосторонних и правосторонних синтаксем.

Одним из основных принципов этой теории является утверждение Я. Бауэра о том, что семантическая структура безличного предложения в чешском языке определяется качественным уровнем безсубъектности: конструкции со значением отсутствия, невозможности лица, которое побуждает действие, образуют группу

так называемых собственно безличных конструкций, а конструкции со значением устранения лица образуют группу предложений, безличность которых возникла в результате языковой актуализации, реализации языковой семантики [Bauer 1972, 129-130].

Основоположным принципом теории чешского безличного предложения является тот факт, что первая группа конструкций является группой завершенной, а элементы, которые входят в ее состав, можно перечислить с определенной степенью достоверности; это единственная группа, которая базируется на безвалентности глагола, а вторая группа является величиной открытой, которая регулярно пополняется за счет действия в языке закона аналогии, а также в результате генетической специфики чешского языка (флективность, система падежей) [Mluvnice 1987, 171].

Отдельную группу представляют безличные предложения, предикативное ядро которых составляют модальные глаголы. В таких безличных предложениях (их количество в рассматриваемых текстах является 15,6% от общего числа) категория модальности, которая формально выражается собственно модальными глаголами, образует определенную часть развернутой модальной сферы предложения.

Следует отметить, что чешские синтаксисты, определяя модальность в широком смысле, рассматривают эту категорию как неперменный атрибут каждого предложения (даже если тематически это не выражается). В частности Е. Бенешова считает модальность грамматически выраженным отношением говорящего к действительности, т.е. определяет модальность как субъективно-объективную категорию, но в специфическом понимании: «субъективно» – потому что речь идет об отношении говорящего, «объективно» – потому что в действительности это отношение всегда выражается объективными и никогда субъективными средствами [Benešová 1971, 97].

Несколько иначе трактует эти понятия В. Шмилауэр, который говорит о так называемой «объективной» модальности, т.е. об отношении смысла высказывания к действительности, и о «субъективной» – отношении говорящего к смыслу высказывания (активная реакция на действительность) [Šmilauer 1966, 21-31].

Очень близкой является точка зрения Г. Беличевой, которая занимается исследованием этого вопроса и подчеркивает тот факт, что ядром модального значения является отношение между участниками речевой ситуации с точки зрения их существования во внеязыковой реальности [Běličová 1983, 4].

Такое толкование видов модальности нам представляется более обоснованным, поскольку Г. Беличова и В. Шмилауэр пытаются учесть специфику модальности именно безличных предложений.

В научной литературе утверждается, что модальные характеристики предиката в славянских языках фактически определяются модальными характеристиками глагола. При этом накладывание модальной характеристики на предикат предложения исключает возможность накладывания данной характеристики на предикат логический, который проявляется при членении предложения на тему и рему.

Обратим внимание, что для чешских безличных предложений этой группы компонент со значением пассивного субъекта является облигаторным, их семантика полностью соотносится с характеристикой человека, живого существа, а своеобразие заключается в том, что они передают отношение особы к какому-либо действию, состоянию или ситуации. Отношение же определяется не собственно особой, а внешними факторами и причинами, которые не зависят от воли особы.

Как показывают наши наблюдения, семантическая специфика безличных предложений данной группы создается соответствующим лексико-семантическим наполнением предикатов и падежным или инфинитивным оформлением синтаксисом. Например: *K vůli rodičů už bylo možno oko přimhouřit* (K. Sezima); *K jiné přípovědi však nebylo možno hocha pohnouti* (K. Sezima); *Je nutno s tím zacházet opatrně* (L. Vaculik); *Na to se musí brát ohled* (L. Vaculik).

В чешской лингвистике отмечается, что в зависимости от конкретного значения и от способа наполнения предикативного ядра безличные модальные предложения необходимо разделять на несколько подгрупп: конструкции со значением реальности и со значением нереальности, которые, в свою очередь, выражают возможность/невозможность определенного действия; желания/нежелания исполнения определенного действия; разрешение на исполнение; потребность; необходимость; принуждение исполнения того или иного действия [Benešová 1971, 97].

Принимая во внимание предложенные чешскими учеными-славистами принципы токсономии модальных безличных конструкций, считаем целесообразным определить следующие подгруппы предложений: модальные конструкции, выражающие возможность действия, ее положительную оценку; модальные конструкции, выражающие желание/нежелание, старание выполнения какого-либо действия; модальные конструкции, выражающие значение необходимости, принуждения; модальные конструкции, выражающие необходимость действия. Для всех вышеизложенных групп важным элементом теории остается тезис о том, что дательный падеж пассивного субъекта передает общее для всей группы значение пассивной реципиентности, вызванное лексико-семантическими особенностями предикатов.

Чаще всего (9,4% от общего числа исследованных безличных предложений) в чешском языке предикатами в конструкциях со значением возможности/невозможности выполнения действия выступают безлично-предикативные слова *možno*, *lze* и безличные глаголы соответствующей семантики, которые передают дополнительные оттенки одного и того же модального значения, например: *Jak bylo možno jíti v náhlém šeru* (V. Dyk); *K vůli rodičů už bylo možno oko přimhouřit* (K. Sezima); *Zdálo se mi, že zablouditi nemožno* (V. Dyk); *A nebylo lze nabídnout mládeži hrdinu mládežnicktějšího než Julka Fučíka* (P. Tigrid); *Je mi nemožno zde žít, nemožno prožít zde ještě jeden den a snad i noc* (R. Jesenská); *Lze krást, lze rabíjet, ale jenom opatrně* (V. Dyk); *Kéž by bylo možno zapomenuti* (J.K. ze Lvovic).

В большинстве случаев модальное значение возможности/невозможности действия сопровождается фоновым значением пассивности: возможность осуществления действия предоставляется субъекту извне, не зависит от его воли или

желания и поэтому субъект получает значение объекта предоставленного действия. Особенно ярко эта особенность проявляется при сопоставлении безличной пассивной конструкции и ее личного активного корелята: *Je mu dovoleno se koupat* (B. Hrabal) – *Dovolili se mu koupat*; *Bylo jí řečeno, aby šla spat* (B. Hrabal) – *Řekli jí, aby šla spat*.

Важным элементом реализованной теории безличных предложений является факт, что семантическая глубина таких односоставных конструкций определяется природой предиката, поскольку модальные слова *možno/nemožno* в чешском языке непосредственно соотносятся с личными глагольными формами *možno/moc*, например: *je mu možno... – můž*. Поэтому на основе предикатов с таким модальным значением образуются специальные конструкции с обобщенным значением пассивности [Benešová 1971, 110,124].

Безличные модальные предложения с устраненным лицом такого плана нельзя считать компрессивами, поскольку они передают общее значение пассивности, например: *Je mi nemožno zde žít, nemožno prožít zde ještě jeden den a snad i noc* (R. Jesenská) – *Nemůžu zde žít, nemůžu prožít zde ještě jeden den a snad i noc*; *Jež bylo možno mysliti* (V. Dyk) – *Mohla mysliti*.

В то же время чешские безличные глаголы с частицей *se* непосредственно не соотносятся ни с одной личной глагольной формой [Běličová 1982, 109], и потому сопоставимое с ними значение может передаваться приблизительно. При этом возвратный модальный глагол может заменяться глаголом *dá se*, который имеет идентичное модальное значение, например: *Můž se to opět opakovat* (B. Hrabal) – *Dá se to opět opakovat*; *Na dvou židlích se sedět nedá* – *Na dvou židlích se sedět nemůž*; *Dalo se čekat* (K. Čapek) – *Mohlo se čekat*.

Следующий семантический подтип модальных безличных предложений чешского языка составляют конструкции со значением желания/нежелания (2,5% от общего числа проанализированных структур). Предикативный центр таких предложений составляют рефлексивные глаголы соответствующей семантики *chtít*, *zamyšlet* и другие. Предикативную структуру составляют также облигаторный компонент со значением пассивного субъекта и инфинитив. Например: *Nechtělo se vám ani žít, ani zemřít* (J.K. ze Lvovic); *Nechce se mu svůj příběh rozvíjet nazpátek* (B. Říha); *Chtělo se mi plakat a smát se* (Mája Z.); *Chtělo se mi spát* (O. Bočková); *Chtělo se mu totiž dřít* (K. Čapek).

Семантическая специфика таких чешских безличных конструкций заключается в том, что они эмоционально окрашены и передают модальное значение как состояние, которое субъект ощущает подсознательно, как результат психологических, внутренних причин. Таким образом семантически такие предложения очень близки к безличным конструкциям со значением состояния человека (лица). Такая семантическая близость способствует и структурной схожести – наличие рефлексивного глагола-предиката и дательного падежа пассивного субъекта, например: *Nějaký čas nechtělo se mu než vegetovat* (K. Sezima); *Nechtělo se mu do toho* (P. Tigrid); *Nechtělo se vám ani žít, ani zemřít* (Jiří K. ze Lvovic); *Nechtělo se mi tomu věřit* (O. Bočková).

Приведенные выше конструкции являются одним из возможных результатов модального оформления экстралингвистической ситуации. Во многих случаях прослеживаются и другие типы корреляционных связей безличных предложений с личными двусоставными конструкциями, где одно и то же состояние передается уже как осознанное, т.е. с помощью активного залога. Например: *Chtělo se mu spát – Chtěl spát, Chtělo se mu dřímat – Chtěl dřímat.*

Следующую семантическую группу модальных безличных конструкций чешского языка составляют предложения, которые выражают модальное значение необходимости исполнения действия (1,9% от общего числа). Предикативное ядро таких предложений учитывает специфику значения необходимости исполнения действия. В безличных предложениях данной группы видим употребление модального глагола *muset, mít*, безлично-предикативных слов *nutno, třeba* в сочетании с инфинитивом, например: *Bylo nutno odejít* (J.K. ze Lvovic); *Nebylo možné to pozvání nepřijmout* (L. Vaculik); *Jak by se mělo říkat holčičce od surovce?* (K. Čapek); *Nutno začítí zpředu* (P. Kles).

Стоит отметить, что конструкции данного типа передают значение необходимости, которую пассивный субъект в форме дательного падежа воспринимает как данность продиктованную извне, не зависимо от его воли. Такие предложения, как один из возможных вариантов волеизъявления, соотносятся с личными двусоставными предложениями, где безлично-предикатному слову отвечает глагол *muset*, например: *Je nutno jít – Musíš jít*. Например: *Bylo mu uloženo...* (V. Dyk) – *Někdo mu uložil...* (*musí to udělat*); *Nutno začítí zpředu* (P. Kles) – *Musí začítí zpředu*; *Je nutno jít za svým osudem* (J.K. ze Lvovic) – *Musíš jít za svým osudem*.

В чешском языке такие конструкции выражают пассивность субъекта по отношению к необходимости осуществить какое-либо действие, указывают на внешний, не зависящий от воли исполнителя характер необходимости [Běličová 1983, 110]. При этом в модальной категории необходимости заложено сему невозможности альтернативного решения, т.е. абсолютно исключается возможность действовать наоборот, например: *Na to se musí brát ohled* (L. Vaculik); *Od trestání muselo být upuštěno* (K. Ptáčník); *Bude nutno o ní pojednat zvlášť* (K. Čapek).

Специфика лексико-семантического наполнения и категориально-морфологическое оформление предикатов в таких безличных конструкциях чешского языка придает им не только значение пассивности, но и определяет источник действия. Теоретически указание на такой источник действия может проследиваться в структуре предложения в виде творительного падежа, например: *Bylo mi uloženo* (kým?) – *Bylo mi uloženo ředitelem*.

Как показывают результаты исследований других лингвистов, в чешских безличных предложениях творительный падеж субъекта практически не употребляется, опускается. Такая специфика, возможно, и разрешает определить в конструкциях данной подгруппы еще и неопределенно-личное значение, например: *Bylo mu uloženo vyplatit oslovenému dvacet korun* – *Uložili mu vyplatit oslovenému dvacet korun*; *Bylo mi uloženo* – *Uložili mu*.

Таким образом, значение безличных предложений в чешском языке мотивируется семантикой предикативного ядра. Если собственно-безличные предложения со значением *impersonalia tantum* или состояния одушевленного предмета в чешском языке являются воплощением максимальной семантической безличности, результатом смысловой (пропозиционной) невозможности субъекта, то в конструкциях, предикативное ядро которых составляют личные глаголы, употребленные в безличном значении, безличность функционирует как результат языковой актуализации.

Количество облигаторных компонентов, входящих в структуру предикативного ядра чешских безличных предложений, находится в обратной зависимости от степени выражения безличности, т.е. чем меньшее количество компонентов принимает участие в образовании безличной конструкции, тем выше степень ее безличности. Также обязательность использования дополнительных распространителей в безличных предложениях зависит от лексико-семантических характеристик предиката и демонстрирует четкую закономерность: чем определеннее является значение личного глагола, употребленного в безличном значении, тем более абстрактной является денотативная природа имени, с которым он соотносится, тем меньше является обязательность распространителей.

Библиография

- Адамец Пржемысл К. 1978. *К вопросу о синтаксической парадигматике*. В: *Языкознание в Чехословакии. Сборник статей 1956-1974*. Ред. Широкова А.Г. Москва: Прогресс: 203-215.
- Андерш Йозеф Ф. 1987. *Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською*. Киев: Наукова думка.
- Арутюнова Нина Д. 1976. *Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы*. Москва: Наука.
- Мухин Анатолий М. 1980. *Синтаксемный анализ и проблема уровней языка*. Ленинград.
- Bauer Jaroslav. 1972. *Syntactica slavica*. Brno: Univerzita J.E. Purkyně.
- Běličová Helena. 1982. *Semantická struktura věty a kategorie pádu*. Praha: Academia.
- Běličová Helena. 1984. *Ke vztahu tzv. povrchových a hloubkových větných významů*. W: *Čs. Rusistika*. № 4: 148-157.
- Běličová Helena. 1983. *Modální báze jednoduché věty a souvětí (K porovnávací syntaxi češtiny a ruštiny)*. Praha: Ústav pro jazyk český.
- Běličová-Křížková Helena. 1980. *Semantická struktura věty, tzv. hlubková struktura a intence slovesného děje*. W: *SaS*: 265-273.
- Daneš František. 1973. *Práce o sémantické struktuře věty: Přehled a kritický rozbor*. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV.
- Mluvnice češtiny. Díl 3. Skladba*. 1987. Praha: Academia.
- Mrázek Roman. 1965. *K otázce českých větných schémat a typů*. B: *SaS*. Praha: 177-181.
- Paněnová Jarmila, Benešová Eva, Sgall Petr. 1971. *Čas a modalita v češtině*. Praha: Univ. Karlova.
- Šmilauer Vladimír. 1966. *Mluvnice češtiny*. Praha: Stát. ped. Nakl-ství.

Summary**MODAL CHARACTERISTICS OF THE SEMANTIC STRUCTURE
OF IMPERSONAL SENTENCES IN THE CZECH LANGUAGE**

This article is devoted to the analysis of sentence modality. Modality is interpreted as a constructive element of the sentence in any function. The main attention is paid to the analysis of the semantic features that compose the complex and multi-layered representation of modality.

Kontakt z Autorką:
m.kalenichenko@yandex.ru

Tatiana Kwiatkowska

Uniwersytet Śląski

GRAMATYCZNA KATEGORIA LICZBY DLA SŁÓW OBCEGO POCHODZENIA W UJĘCIU KONFRONTATYWNYM POLSKO-ROSYJSKIM

Key words: borrowings, category of number, grammatical adaptation of borrowings

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba porównania adaptacji gramatycznej – a konkretnie kategorii liczby – słów obcego pochodzenia (rzeczowników) zachodząca w systemie języka polskiego oraz rosyjskiego. Celem badania będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy oba języki słowiańskie w podobnym stopniu przyporządkowują danym przejmowanym przez nie rzeczownikom kategorię liczby czy też można zaobserwować w tym aspekcie różnice. Jeśli tak, spróbujemy wskazać czynniki powodujące owe rozbieżności. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy kategoria liczby przejmowana jest automatycznie i zgodna z liczbą w języku będącym dawcą zapożyczenia. Punktem wyjścia dla tych badań jest system (polski i rosyjski) i jego cechy charakterystyczne w obrębie kategorii liczby.

Kategoria liczby, jak podaje *Лингвистический энциклопедический словарь*, to „грамматическая категория, выражающая количественные характеристики предметов мысли. Грамматическое число – одно из проявлений более общей языковой категории количества наряду с лексическим проявлением («лексическое число»)» [*Лингвистический энциклопедический словарь* 1990]. Interesujące i szerokie określenie kategorii liczby znajdujemy w rozprawie doktorskiej Ł. Szalkiewicza, mianowicie: „liczba rzeczownika jest to kategoria fleksyjna, syntaktycznie niezależna, determinująca, nominatywna (ale i tekstowa). Fleksyjna, gdyż rzeczowniki odmieniają się przez liczbę. Syntaktycznie niezależna, gdyż jej wartość nie zależy od innych form wyrazowych w zdaniu, lecz od odniesienia do rzeczywistości pozajęzykowej. Determinująca, gdyż wyznacza wartość kategorii liczby syntaktycznie zależnego przymiotnika i czasownika. Nominatywna, gdyż odnosi się do rzeczywistości pozajęzykowej” [Szalkiewicz 2013, 17].

Kategoria liczby pełni funkcję semantyczną. Odzwierciedla ona bowiem realne stosunki między zjawiskami, przedmiotami, pozwala je klasyfikować i przyporządkować

do leksyko-gramatycznych klas (zbiorowe, materialne i in.). Znaczenie słowa jest decydujące w nadaniu kategorii liczby. Kategoria gramatyczna liczby opiera się na opozycji jednostkowości i wielości. Tę opozycję posiadają rzeczowniki żywotne. Wśród nieżywotnych mają ją adaptowane do systemu rzeczowniki konkretne. Zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim wszystkie rzeczowniki dzielimy na takie, które mają liczbę pojedynczą i mnogą, takie, które posiadają tylko liczbę pojedynczą (*singularia tantum*) oraz mające tylko liczbę mnogą (*pluralia tantum*). Opozycję jednostkowość–wielość posiadają tylko rzeczowniki policzalne [Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2006, 198]. Wyłącznie formę liczby pojedynczej mają rzeczowniki zbiorowe, tzw. *collectiva*, nazwy substancji, nazwy abstrakcyjne oraz nazwy własne. Formę liczby mnogiej natomiast posiadają nazwy przedmiotów parzystych (narzędzi, części ciała, ubioru), nazwy gier, pieniędzy. Języki rosyjski i polski mają wiele wspólnych *singularia tantum* i *pluralia tantum*, choć w języku polskim są to nieliczne grupy [Maryniakowa 1993, 27]. Wykładnikiem liczby mnogiej w obu językach jest fleksja¹.

Adaptacja wyrazów obcych na poziomie gramatycznym, a konkretnie w ramach kategorii liczby, wydaje się procesem mało złożonym, bowiem zasadniczo wyraz przenoszony jest w liczbę pojedynczej. Ponieważ jednak, jak już zostało powiedziane, liczba rzeczownika zależy w dużym stopniu od znaczenia, przyjrzymy się, czy występują w tym aspekcie jakieś wahania czy też zmiany. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytania, czy kategoria liczby jest tożsama dla zapożyczonych do języków polskiego i rosyjskiego leksemów oraz czy *pluralia tantum* i *singularia tantum* funkcjonują podobnie w językach będących „dawcami” i „biorcami” zapożyczeń.

Badania w obrębie kategorii liczby wymagały brania pod uwagę użycia danego rzeczownika, a nie tylko formy wyjściowej (mianownik, I. poj.), okazało się bowiem, że część z analizowanych leksemów posiada liczbę pojedynczą, lecz jest ona niejako wtórna do liczby mnogiej. W słownikach jako wyjściowa obecna jest forma liczby mnogiej, dlatego w prezentowaniu materiału będę uwzględniać także ten aspekt. Zazwyczaj, co udowadnia także w swojej pracy M. Wójtowicz, rzeczowniki zapożyczane są w liczbie pojedynczej, co nie znaczy, że w liczbie pojedynczej funkcjonowały również w języku, z którego zostały zapożyczone [Вуйтович 1973, 151].

W niniejszym artykule prezentowany materiał podzielony został według modeli symetrycznych i niesymetrycznych, odzwierciedlających jedynie grupy prezentujące określone powtarzające się tendencje, z pominięciem tworzenia regularnej liczby mnogiej według schematów charakterystycznych dla omawianych języków. Dlatego też głównym obiektem naszego zainteresowania były grupy ekwiwalentne (bądź też nieekwiwalentne) w zakresie obecności liczby mnogiej i pojedynczej lub tylko mnogiej, lub tylko pojedynczej. W toku prowadzonych badań okazało się, że zarówno w leksemach już zasymilowanych w obu językach, jak i najnowszych można wyodrębnić powtarzające się

¹ Obszerne informacje dotyczące podejść badawczych w obrębie kategorii liczby w języku rosyjskim (przede wszystkim A.A. Zalizniaka i A.A. Reformatskiego) można znaleźć w opracowaniu O.N. Laszewskiej. Badaczka omawia szczegółowo znaczenie kategorii liczby oraz jej użycia we współczesnym języku rosyjskim [Ляшевская 2004].

tendencje, np. regularną depluralizację anglicyzmów, a także różnice w zapożyczaniu prowadzące do asymetrii kategorii liczby. Regularne jest zapożyczanie z języka angielskiego (np. *cakes*) oraz włoskiego (np. *spaghetti*) liczby mnogiej w znaczeniu liczby pojedynczej oraz pozostawienie liczby, która jest w języku bezpośredniego zapożyczenia (jak w przypadku języka francuskiego). A jednak badania wskazały również grupy asymetryczne – spróbujemy pokazać na konkretnym materiale, w czym tkwią te różnice oraz jakie są ich przyczyny.

Modele ekwiwalentne w zakresie kategorii liczby²

MODEL 1: *l. poj. (ros.) – l. poj. (pol.)*

Regularny model w obrębie kategorii liczby oznacza zapożyczanie rzeczowników w liczbie pojedynczej oraz tworzenie liczby mnogiej już na gruncie rodzimym poprzez dodanie odpowiedniej fleksji. Zazwyczaj rzeczowniki zapożyczane są w liczbie pojedynczej. Ta grupa jest grupą najliczniejszą i najbardziej oczywistą. Zilustruję ją kilkoma przykładami rzeczowników żywotnych i nieżywotnych występujących w różnych językach:

ros. ДЖЕНТЕЛЬМЕН [англ. gentleman] – pol. DŻENTELMEN [ang. gentleman]³

ros. МИТИНГ [англ. meeting] – pol. MITING [ang. meeting]

ros. КАРЬЕРА [фр. carrière] – pol. KARIERA [fr. carrière]

ros. КАНТАТА [ит. cantata] – pol. KANTATA [wł. cantata]

ros. ПРЕСТИЖ [фр. prestige] – pol. PRESTIŻ [fr. prestige]

ros. ТЕНОР [ит. tenore] – pol. TENOR [wł. tenore]

ros. ДЕСПОТ [нем. Despot] – pol. DESPOTA [niem. Despot]

ros. НОМЕР [нем. Nummer] – pol. NUMER [niem. Nummer]

Liczba mnoga będzie sformułowana z użyciem rodzimych form fleksyjnych w następujący sposób: *джентельмен – джентельмены/dzentelmen – dzentelmeni*⁴; *митинг – митинги*⁵/*miting – mitingi*; *карьера – карьеры/kariera – kariery*; *кантата – кантаты*

² Analizowany materiał został podzielony na grupy, w których występuje symetria w zakresie kategorii liczby, oraz takie, w których mamy do czynienia z asymetrią. W ramach obu grup sformułowane zostały modele, które ilustrują odpowiedniość tej kategorii. W przypadku różnych możliwości pochodzenia podaję, zgodnie z informacjami leksykograficznymi, możliwe drogi zapożyczenia. W grupach symetrycznych nie analizuję szczegółowo przypadków odpowiedniości liczby, jest ich bowiem bardzo wiele, gdyż tendencja do zachowywania liczby (szczególnie pojedynczej) jest dla obu języków – polskiego i rosyjskiego – wiodąca.

³ Źródła materiału podano w bibliografii.

⁴ W języku polskim końcówka *-i* w mianowniku l. mn. występuje w rzeczownikach osobowych, *-y* – w nieosobowych.

⁵ Uwagi odnoszące się do tzw. „ingowych” rzeczowników znajdujemy w monografii E.W. Marinowej. Badaczka odnosi się do wcześniej sformułowanych stanowisk dotyczących rzeczowników z tym członem, zgodnie z którymi są to rzeczowniki najwyraźniej ilustrujące amerykańską ekspansję językową i przynależą do grupy *singularia tantum*. Materiał zebrany przez Marinową (nasz materiał również to potwierdza) pozwala wysnuć wniosek przeciwny, a mianowicie, że „ingowe” rzeczowniki tworzą regularną liczbę mnogą, np. *treningi/тренинги*, *parkingi/паркинги*, *monitoringi/мониторинги*, i proces ten jest paralelny w obu językach. Badaczka tłumaczy to czynnikiem analogii do modeli tworzenia liczby mnogiej rzeczowników rodzimych ze względu na semantykę liczby mnogiej [Маринова 2008, 194–202].

kantata – kantaty; престиж – престижу/prestiž – prestiże; тенор – теноры/tenor – tenory; десно́т – десно́ты/despota – despoci; номер – номера/numер – numery.

MODEL 2: *singularia tantum* (ros.) – *singularia tantum* (pol.)

Rzeczowniki posiadające tylko liczbę pojedynczą (*singularia tantum* – ST) lub tylko liczbę mnogą (*pluralia tantum* – PT) w tradycji rosyjskiej są nazywane *дефектными существительными*⁶. Gramatyki⁷ wydzielają dla ST określone grupy rzeczowników – są to nazwy przedmiotów niepoliczalnych: *ры́з – риз, повітря – воздух*; określenia pojęć abstrakcyjnych: *дума – гордость, міло́сть – любовь*; nazwy geograficzne: *Пари́ж – Париж, Мисси́сипі – Мисисипи*; nazwy zbiorowe: *мло́dzieж – молодёжь* i inne. W zakresie zapożyczonych *singularia tantum* niezależnie od źródła zapożyczenia obserwuje się dużą regularność, która wynika z semantyki tych rzeczowników – w obu językach są to pojęcia abstrakcyjne, nazwy gier, substancji, rzeczowniki zbiorowe, np.

ros. ЖЕЛАТИН [фр. gelatine] – pol. ŻELATYNA [fr. gelatine]

ros. ВАНИЛЬ [фр. vanille] – pol. WANILIA [fr. vanille]

ros. БИЛЛОН [фр. billon] – pol. BILON [fr. billon]

ros. РЕНЕССАНС [фр. renaissance] – pol. RENESANS [fr. renaissance]

ros. САБОТАЖ [фр. sabotage] – pol. SABOTAŻ [fr. sabotage]

ros. ЖАНДАРМЕРИЯ [фр. gendarmerie] – pol. ŻANDARMERIA [fr. gendarmerie]

ros. ФОЛЬКЛОР [англ. folklore] – pol. FOLKLOR [ang. folklore]

ros. КОМФОРТ [англ. comfort] – pol. KOMFORT [ang. comfort]

ros. ХОККЕЙ [англ. hockey] – pol. HOKEJ [ang. hockey]

ros. ФАЛЬШЬ [нем. Falsch] – pol. FAŁSZ [niem. Falsch]

oraz inne typu: *import – импорт, eksport – экспорт, камуфляж – камуфляж, serwis – сервис* i inne.

Przeważającą grupę wśród zapożyczonych ST przedstawiają nazwy abstrakcyjne oznaczające procesy.

MODEL 3: *pluralia tantum* (ros.) – *pluralia tantum* (pol.)

Pluralia tantum (PT), czyli rzeczowniki nieposiadające liczby pojedynczej szczególnie licznie występują w języku rosyjskim. Dotyczą one w głównej mierze *pluralia tantum* nieosobowych, zdeterminowanych słowotwórczo i semantycznie leksemów [Stefańczyk 2007, 41-42]. W przypadku zapożyczeń są to leksemy charakteryzujące się formami o zakończeniach na *-i, -y, -a, -e* oraz desingularne formy rzeczowników greko-lacińskiego pochodzenia zakończone w l. poj. na *-um*. Kryterium semantyczne pozwala wydzielić: nazwy ubiorów, potraw, niektórych instrumentów muzycznych, nazwy funkcji oraz izolowane wyrazy.

⁶ Podobnie określa je w polskiej literaturze R. Laskowski: „leksykalnie nacechowane jako mające (...) tylko formy liczby pojedynczej, mają klasyfikującą kategorię liczby; leksemy te są niezupełne ze względu na przysługującą rzeczownikowi fleksyjną kategorię liczby” [Laskowski 1999, 131].

⁷ Jest to podział tradycyjny, uproszczony, w literaturze spotykamy bardziej rozbudowane podziały ST na różne szczegółowe typy i podtypy [np. Habrajska 1995; Ляшевская 2004].

Dużą i ekwiwalentną grupę stanowią rzeczowniki greko-łacińskie zakończone w języku polskim na *-a*, w rosyjskim na *-uu*, zapożyczone zazwyczaj w liczbie mnogiej za pośrednictwem języka niemieckiego (w którym również funkcjonują w liczbie mnogiej), np.

- ros. ГЕНИТАЛИИ [лат. genitalia]⁸ – pol. GENITALIA⁹ [łac. l. mn. od genitalis]
 ros. ХИМИКАЛИИ (ед. химикалия) [нем. Chemikalien < греч.] – pol. CHEMIKALIA [niem. Chemikalien, z ang. chemicals]

Podobnie ekwiwalentne grupy to:

- ros. РЕАЛИИ [нем. Realien < лат. Realis] – pol. REALIA [niem. Realien l. mn. < p.-łac. realis l. mn.]
 ros. ИНСИГНИИ [лат. insignia] – pol. INSIGNIA [łac. insignia l. mn.]
 ros. МАРГИНАЛИИ [нем. Marginale < фр. marginale < лат. marginālis] – pol. MARGINALIA [niem. Marginalien, l. mn. < łac. l. mn. marginalis]

a także *uniwersalia* – *универсалии* itp. W tej podgrupie można zaobserwować wiele rozbieżności. W języku polskim w słownikach wszystkie z powyższych wyrazów oprócz *insygnia*¹⁰ są opatrzone kwalifikatorem *blp*, w języku rosyjskim występuje większa rozbieżność w źródłach słownikowych. Na przykład w *Толковом словаре иноязычных слов* Крысина wyrazy obce *гениталии* oraz *химикалии* są w formie wyjściowej w liczbie mnogiej, natomiast *реалии*, *инсигнии* i *маргиналии* – chociaż częściej używane są w liczbie mnogiej – w formie wyjściowej w liczbie pojedynczej: *реалия*, *инсигния*, *маргиналия* [por. Крысин 2008]. Podaje je jednakże w tej grupie ze względu na użycie oraz analogiczny sposób tworzenia liczby mnogiej. Podobne wahania występują również dla następujących par wyrazów, używanych znacznie częściej w liczbie mnogiej w obu językach, zapożyczonych albo w liczbie mnogiej, albo pojedynczej:

- ros. БАКТЕРИИ, БАКТЕРИЯ [нем. Bakterie < гр. bakteria] – pol. BAKTERIA, BAKTERIE [fr. bacterie]
 ros. ИНИЦИАЛЫ, ИНИЦИАЛ [фр. initial < лат. initialis] – pol. INICJAŁ, INICJAŁY [niem. Initial]
 ros. ЛИАНЫ, ЛИАНА [фр. lianes] – pol. LIANA, LIANY [fr. lianes]

Ekwiwalentne *pluralia tantum* dotyczą także zapożyczeń na przykład z włoskiego, w których również są w liczbie mnogiej:

- ros. ГРАФФИТИ [ит. graffiti] – pol. GRAFFITI [wł. graffiti]
 ros. ТОРТЕЛЛИНИ [ит. tortellini] – pol. TORTELLINI [wł. tortellini]
 ros. РАВИОЛИ [ит. ravioli] – pol. RAVIOLI [wł. ravioli]¹¹

Specyfiką wymienionych przykładów jest ich występowanie w języku włoskim przede wszystkim w formach pluralnych oraz brak adaptacji pod względem formalnym [Borejszo 2007, 71].

⁸ Mogą posiadać liczbę pojedynczą, ale w słownikach forma wyjściowa to liczba mnoga (ГЕНИТАЛИИ ед. гениталия).

⁹ W WSWO opatrzone komentarzem *blp* (bez liczby pojedynczej).

¹⁰ W WSWO *insygnia* występuje w formie wyjściowej liczby pojedynczej *insygnium* z komentarzem „zwykle lm”.

¹¹ W źródłach leksykograficznych rosyjskich i polskich opatrzone kwalifikatorem *blp*.

Różnice formalne wyrażenia liczby mnogiej spotyka się w analogicznych i ekwiwalentnych grupach zapożyczeń z języka angielskiego oraz francuskiego (przejęcie w liczbie mnogiej z języka bezpośredniego zapożyczenia):

ros. ФИНАНСЫ [фр. finances] – pol. FINANSE [fr. finances]

ros. ШОРТЫ [англ. shorts] – pol. SZORTY [ang. shorts]

ros. ДЖИНСЫ [англ. jeans] – pol. DŻINSY [ang. jeans]

ros. НОТАБЛИ [фр. notables] – pol. NOTABLE [fr. notables]

ros. ЧИПСЫ [англ. chips] – pol. CHIPSY [ang. chips]

Przedstawione powyżej przykłady stają się rzeczownikami liczby mnogiej analogicznie do rodzimych, typu: *spodnie*. Niektóre z tych zapożyczeń wskazują na zjawisko zwane depluralizacją¹². Chodzi mianowicie o zapożyczenie jako formy wyjściowej liczby mnogiej danego rzeczownika i tworzenie na gruncie rodzimym odpowiedniej do niej formy wyrazu. Szczególnym i najbardziej rozpowszechnionym przypadkiem są zapożyczenia z języka angielskiego, w którym formalnym wykładnikiem liczby mnogiej jest morfem *-s*, w takich rzeczownikach jak na przykład: *chips, jeans, keks, koks, klips, komiks*. Depluralizacja jest najnaturalniejszym i tradycyjnym rozwiązaniem przejścia tematu, do którego wchodzi morfem *-s*¹³:

ros. ЧИПСЫ [англ. chips] – pol. CHIPSY [ang. chips]

ros. ЛЕГГИНСЫ [англ. leggings] – pol. LEGGINSY [ang. leggings]

ros. ТИПСЫ [англ. tips] – pol. TIPSY [ang. tips]

W niektórych przypadkach, lecz w zgromadzonym materiale znacznie rzadszych, występuje w języku rosyjskim substytucja morfemu *-es* (w języku polskim – depluralizacja):

ros. БРИДЖИ [англ. breeches] – pol. BRYCZESY [ang. breeches]

lub substytucja w obu językach:

ros. ПИКУЛИ [англ. pickles] – pol. PIKLE [ang. pickles]

Depluralizacja zachodzi również w obu językach dla niektórych italianizmów, które w języku włoskim posiadają liczbę mnogą, jednak zapożyczone do języka polskiego i rosyjskiego są używane w znaczeniu liczby pojedynczej, w obu językach w rodzaju nijakim, nieodmienne, np.

ros. КОНФЕТТИ [ит. confetti] – pol. CONFETTI [wł. confetti]

ros. САЛЯМИ [ит. salame] – pol. SALAMI [wł. salame]

ros. СПАГЕТТИ [ит. spaghetti] – pol. SPAGHETTI [wł. spaghetti]

Modele nieekwiwalentne w zakresie kategorii liczby

Należące do tej grupy przykłady zostały pogrupowane w dwa podstawowe modele; jako liczniejszy występuje model, w którym rzeczowniki w języku rosyjskim są w liczbie mnogiej (tylko i wyłącznie lub częściej, choć liczba pojedyncza również jest możliwa,

¹² Tym terminem posługują się w swoich pracach m.in. M. Altbauer, J. Fisiak, M. Wójtowicz, K. Luciński.

¹³ E.W. Marinowa nazywa to zjawisko „desemantyzacją formantu *-s*” [por. Маринова 2008, 193].

ale pojawia się rzadziej), a w języku polskim w pojedynczej, i drugi model – odwrotny. W przypadku obydwu modeli czynnikiem decydującym o kategorii liczby jest formalna cecha słowa oraz analogia znaczeniowa do słów rodzimych występujących w systemie.

MODEL 1: PT (ros.) – l. poj. (pol.)

W tym modelu występują formy *pluralia tantum* następujących rzeczowników w języku rosyjskim:

ros. ДЕБАТЫ [фр. débats] – pol. DEBATA [niem. Debatte, ang. debate]

ros. КАДРЫ [фр. cadres] – pol. KADRA [fr. cadre]¹⁴

ros. ДЕЗИДЕРАТЫ¹⁵ [лат. desiderata] – pol. DEZYDERAT [niem. Desiderat, łac. desidero]

ros. ДЖУНГЛИ [англ. jungle] – pol. DŻUNGLA [niem. Dschungel]

ros. ТРОПИКИ [гр. trópickos] – pol. TROPIK [fr. tropique < gr. trópickos]

ros. МАКАРОНЫ [фр. macaroni < ит. maccheroni] – pol. MAKARON [fr. macaron]

ros. МЕМУАРЫ [фр. mémoires]¹⁶ – pol. MEMUAR [fr. mémoire]

Jak ilustrują przykłady, trudno wskazać jeden czynnik decydujący o różnicy w kategorii liczby, może nim być analogia jak w przypadku *джунгли* (*заросли*), różnica w źródle (*макароны*) bądź obecność pośrednika zapożyczenia lub zapożyczanie liczby mnogiej, a nie pojedynczej jak w języku polskim (*memuar* – *мемуары*). W kolejnych przykładach można dostrzec podobne przyczyny asymetrii:

ros. АПАРТАМЕНТЫ [фр. appartement] – pol. APARTAMENT [wł. appartamento]

ros. ДИВИДЕНДЫ [фр. dividende] – pol. DYWIDENDA [niem. Dividende, fr. dividende]

ros. КОНСЕРВЫ [фр. conserve] – pol. KONSERWA [niem. Konserve, fr. conserve]

ros. КУРАНТЫ [< фр. courante] – pol. KURANT [fr. courante]

W językach bezpośredniego zapożyczenia, jak wskazują na to słowniki, leksemy występowały w liczbie pojedynczej i prawdopodobnie również tak zostały zapożyczone, zatem liczba mnoga stała się dla nich charakterystyczna już na gruncie rodzimym języka rosyjskiego, została utworzona regularnie jak dla rzeczowników rodzimych.

MODEL 2: l. poj./ST (ros.) – l. mn./PT (pol.)

Drugi z modeli prezentowany jest mniej licznie, można tu wyróżnić dwa główne warianty rozbieżności: pierwszy to opozycja: *język polski (pluralia tantum)* – *język rosyjski (rzeczownik zbiorowy)*, np.:

¹⁴ W tej parze słów chodzi o zestawienie następujących znaczeń: КАДРЫ [< фр. cadre]. '1. Состав работников той или иной отрасли деятельности, производства. 2. Постоянный состав войск в мирное время'. KADRA [fr. cadre] (a nie potoczne KADRY) 'podstawowy zespół wykwalifikowanych, aktywnych pracowników instytucji, przedsiębiorstwa, organizacji, działu pracy'.

¹⁵ Rzadko: *ед. дезидерат*.

¹⁶ W słowniku Kryszyna posiada ono komentarz: *ед. устар. или упрон. мемуар* [Крышин 2008].

ros. ПАССИВ [лат. *passivus*] – pol. PASYWA¹⁷ [łac. *passivus*]

ros. ПЕРИФЕРИЯ [мн. нет., фр. *périphérie*] – pol. PERYFERIE [fr. *périphérie*]

ros. КОСМЕТИКА [нем. *Kosmetik* < фр. *cosmétique*] – pol. KOSMETYK, KOSMETYKI [niem. *Kosmetik*]¹⁸

ros. ПАРФЮМЕРИЯ [мн. нет., фр. *parfumerie*] – pol. WYROBY PERFUMERYJNE, PERFUMERIA [fr. *parfumerie*]¹⁹

ros. ПЕРИПЕТИЯ [фр. *péripétie*] – pol. PERYPETIE [fr. *péripétie*]²⁰

W przedstawionych przykładach można zauważyć, iż o ile dla języka rosyjskiego możliwa jest tylko liczba pojedyncza, o tyle w języku polskim może to być liczba mnoga lub obydwie liczby (w niektórych przypadkach zależy to również od znaczenia), nie zależy to od liczby rzeczownika języka bezpośredniego zapożyczenia, może natomiast zależeć od formy zapożyczenia (*perypetie* oraz *peryferie* mogą być graficznym zapożyczeniem z języka francuskiego do polskiego).

Druga charakterystyczna opozycja to *wielość–jednostkowość* (opozycja wyrażona w formie liczby, ale nie zawsze również w semantyce²¹):

ros. БИНОКЛЬ [фр. *binocle*] – pol. BINOKLE [fr. *binocle*]

ros. РЕГАТА [ит. *regatta*] – pol. REGATY [fr. *régates*]

ros. ОРГАН [польск. *organ* < лат. *Organum*] – pol. ORGANY [niem. *Organ*]²²

ros. ГЕМОРОЙ [нем. *Hämorrhöe* < лат. *haemorrhoides*] – pol. HEMOROIDY [łac. *haemorrhoides*]

Omawiana kategoria liczby jest kategorią w obu językach regularną, najwięcej rzeczowników ma obie liczby – pojedynczą i mnogą. Ciekawe rozbieżności zaobserwować można dla rzeczowników *pluralia tantum* w obu badanych językach, są one na tyle wyraziste, że utworzyły regularne modele, które ilustrują zauważone podobieństwa i różnice. W obu językach występuje zjawisko depluralizacji, czyli przejmowania rzeczowników liczby mnogiej do liczby pojedynczej, a także szereg rozbieżności, dla których trudno znaleźć jedną przyczynę warunkującą inną liczbę. Najważniejsze z nich to forma wyrazu, analogia formalna oraz semantyczna wśród leksemów rodzimych.

¹⁷ W WSWO opatrzone kwalifikatorem *blp*.

¹⁸ Dla lepszej ilustracji opozycji porównajmy znaczenia (dla języka rosyjskiego to zawsze liczba pojedyncza): КОСМЕТИКА [нем. *Kosmetik* < фр. *cosmétique* < греч. *kosmētikḗ* искусство украшать]. '1. мн. нет. Искусственное придание красоты лицу, телу, поддержание их здорового состояния, свежести. 2. собир. Средства для придания свежести, красоты лицу, телу'. 1. КОСМЕТЫК / 1. мн. КОСМЕТЫКИ [niem. *kosmetisch*] 'środek służący do upiększania ciała (róż, szminka, puder, tusz, lakier itp.)'. 2. КОСМЕТЫКА [niem. *Kosmetik*] 'sztuka upiększania i pielęgnacji skóry, włosów, paznokci itp.'

¹⁹ Podobnie jak w przypadku poprzedniej pożyczki, mamy do czynienia z różnymi formami i znaczeniami w języku polskim (PERFUMERIA 'sklep z perfumami i kosmetykami', WYROBY PERFUMERYJNE), natomiast w języku rosyjskim dwa znaczenia: ПАРФЮМЕРИЯ '1. Ароматические и косметические изделия (духи, одеколон, помада и т. п.), а также отрасль промышленности, изготавливающая такие изделия. 2. Магазин, торгующий такими изделиями'.

²⁰ W WSWO opatrzone komentarzem: *zwykle lm*.

²¹ Por. np. РЕГАТА 'традиционно проводимые большие гонки спортивных судов' oraz REGATY 'zawody wioślarskie, żeglarskie'.

²² W znaczeniu 'instrument muzyczny' słownik pod red. Doroszewskiego podaje komentarz: *dziś tylko w lm* [por. SJPD]. Jest to więc forma współczesna, dawniej funkcjonowała podobnie jak w języku rosyjskim (zapożyczona za pośrednictwem polskiego) forma liczby pojedynczej.

Bibliografia

- Apanowicz Franciszek, Nesterowicz Bogdan. 2005. *Polsko-rosyjski słownik wyrazów obcych*. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- Wielki słownik wyrazów obcych PWN* [WSO]. 2003. Red. Bańko M. Warszawa: PWN.
- Borejszo Maria. 2007. *Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie*. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Długosz-Kurczabowa Krystyna., Dubisz Stanisław. 2006. *Gramatyka historyczna języka polskiego*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- Habrajska Grażyna. 1995. *Collectiva w języku polskim*. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- Laskowski Roman. 1999. *Podstawowe pojęcia fleksji*. W: *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia*. T. 1–2. Red. Grzegorzczkova R., Laskowski R., Wróbel H. Warszawa: PWN. 125–150.
- Maryniakowa Irena. 1993. *Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem*. Warszawa: Sławistyczny Ośrodek Wydawniczy: „Omnitech Press”.
- Multimedialny słownik wyrazów obcych PWN*. 2006 [CD-ROM]. Wydawnictwo: PWN.
- Nesterowicz Bogdan, Skupińska-Dybek Elżbieta. 2002. *Rosyjsko-polski słownik wyrazów obcych*. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- Słownik języka polskiego* [SJPd]. 2014. Red. Doroszewski W. W: <http://doroszewski.pwn.pl> [Dostęp: 20 II 2014].
- Szałkiewicz Łukasz. 2013. *Singularia tantum w języku polskim. Analiza słownikowo-korpusowa*. W: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/200/ST_Lukasz_Szalkiewicz_doktorat.pdf?sequence=1 [Dostęp: 3 IV 2014].
- Wielki multimedialny słownik rosyjsko-polski polsko-rosyjski PWN*. 2006. Warszawa: PWN [CD-ROM].
- Большой словарь иностранных слов в русском языке*. 1998. Москва: издательство “Большая Российская энциклопедия”.
- Большой толковый словарь русского языка* [BTC]. 2004. Red. Кузнецов С.А. Санкт-Петербург: Норинт.
- Вуйтович Мариан. 1973. *Об английских именах существительных множественного числа, заимствованных русским языком*. „Studia Rossica Posnaniensia” nr 4: 151-156.
- Крысин Леонид П. 2008. *Толковый словарь иноязычных слов*. Москва: Эксмо.
- Крысин Леонид П. 2012. *Современный словарь иностранных слов*. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА.
- Лингвистический энциклопедический словарь*. 1990. Red. Ярцева В.Н. Москва: «Советская энциклопедия».
- Ляшевская Ольга Н. 2004. *Семантика русского числа*. Москва: Языки славянской культуры.
- Маринова Елена В. 2008. *Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI в.: проблемы освоения и функционирования*. Москва: изд-во «Эллипс».

Summary

GRAMMATICAL CATEGORY OF NUMBER IN WORDS OF FOREIGN ORIGIN FROM THE COMPARATIVE POLISH-RUSSIAN PERSPECTIVE

This paper attempts to demonstrate symmetry and asymmetry in the adoption of foreign origin units in the linguistic systems of Polish and Russian. The in-depth analysis is dedicated to the category of number. Beginning with characteristic ending exponents of the number of nouns in both languages, certain similarities as well as differences in the ordering of borrowings into appropriate categories are indicated. The analysis concerns two aspects with respect to the research on the category of number: the first one is the adaptation of foreign nouns to a new system and the second one is the comparison of such an adaptation in Russian and Polish. The presented research findings demonstrate a diversity of factors influencing equivalence and its absence with regards to this grammatical category.

Kontakt z Autorką:
tatiana.kwiatkowska@us.edu.pl

Павло Мирошниченко

Институт журналистики

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УКРАИНОЯЗЫЧНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ В УКРАИНЕ

Key words: Communicative efficacy, Ukrainian radio, Ukrainian language, language policy, survey

Вопрос полноценного функционирования украинского языка в Украине, как бы парадоксально это ни звучало, является одним из острейших в глоттополитике государства вот уже на протяжении 25 лет. Любая попытка масс-медиа подключиться к ретрансляции основных проблем, связанных с языковым вопросом, и способов выхода/ выходов из них традиционно сопряжена с политическим контекстом и подтекстом. Закономерно, что само состояние и развитие языковой политики в Украине крайне нестабильно, поскольку зависимо от изменчивой «моды» на язык в среде украинских политиков. Об излишней заполитизированности вопроса государственного языка в Украине свидетельствую и результаты многочисленных социологических исследований. Так, совсем недавно Киевский международный институт социологии обнародовал итоги массового опроса на тему «Социально-политическая ситуация в Украине: июль 2015», в котором 47,7% респондентов ради мира готовы придать русскому языку статус второго государственного в стране [Соціально-політична ситуація в Україні: липень 2015]. Правда, высоким остается процент тех, кто против этого статуса для русского языка в Украине – 38%, как и тех, кому сложно определиться с отношением к этой проблеме – 12,6% [Соціально-політична ситуація в Україні: липень 2015]. Но не только сложные, часто трагические, свежие общественно-политические события в стране влияют на обострение языкового вопроса.

Как любому постколониальному обществу, украинскому характерно обостренное восприятие несправедливости в отношении к национальному языку со стороны носителей языка колонизатора. По мнению известного социолингвиста Л. Масенко, «характерной чертой современной языковой ситуации Украины является распространение на ее территории двух языков – украинского и русского, а также разных форм украинско-русского билингвизма и диглоссии» [Масенко 2010, 96].

Ассиметрия двуязычия в Украине – тема крайне актуальная в возродившихся не так давно в стране социолингвистических исследованиях. Термином «диглоссия» «обозначают одновременное существование в обществе двух языков (...), которые используются в разных функциональных сферах. В отличие от билингвизма, диглоссия подразумевает сознательную оценку со стороны носителей языка своих языков по шкале «высокое – низкое» [Масенко 2010, 101]. В современном украинском социуме, согласно социологическим и социолингвистическим исследованиям, все еще сильны тенденции восприятия представителями некоторых слоев общества русского языка как символа престижа, власти, а украинского, по сравнению с ним, как низшего, непрестижного, маргинального. Хотя приблизительно с 2006 года исследователи фиксируют возрастание социального престижа украинского языка в разных социальных и этнических группах в Украине. Так, по данным массового опроса 2006 года, на вопрос, престижно ли сегодня в Украине говорить на украинском языке, 72,3% опрошенных ответили положительно. Достаточно высоким является престиж русского языка – 64,7% респондентов выбрали вариант «престижно» [Масенко 2010, 114–115].

В любом современном обществе средства массовой коммуникации оказывают прямое влияние на осознанность восприятия государственного языка как социально престижного, необходимого для плодотворной социализации, важной составляющей которой является и этническая (национальная) идентификация. В украинском информационном пространстве не так давно наметилась и активно продолжает воплощаться в теле- и радиоэфире странная тенденция к смешиванию украинского и русского языков в рамках одной передачи, одного канала, одного отрезка вещания. Подобная практика отрицательно сказывается прежде всего на украинских детях и подростках, переживающих сложный процесс формирования «идиоэтнической (лингвокультурной) личности» [Манакин 2012, 27]. Ю. Бестерс-Дильгер заметила, что «для этих типов аудитории язык телерадиовещания имеет значительно высший престиж, нежели тот, которому их обучают в школе (...) Одним из особенных признаков украинского телевидения и радио является смешивание языков. Нет телевизионных станций, которые бы вели трансляцию лишь на украинском языке; также нет ни одной радиостанции, которая бы вела передачи исключительно на русском языке в результате установленного законом требования транслировать рекламу на украинском языке. Из-за этого у подростков складывается впечатление, будто бы они живут в двуязычном мире, в котором разграничение двух языков является хаотичным, а поэтому часто приводит к их смешиванию» [Бестерс-Дильгер 2010, 247].

Одним из последних массовых опросов об отношении к использованию языка/ языков украинскими СМК является исследование, проведенное сотрудниками Института украинского языка Национальной академии наук Украины в сентябре-октябре 2013 года. Было обработано около 1,5 тысячи анкет. Респондентами выступили студенты факультетов журналистики украинских вузов. По мнению авторов опроса, такая структура выборки позволила получить более достоверную инфор-

мацию об отношении к языковой политике масс-медиа будущих специалистов. По результатам исследования, «меньшинство опрошенных является гармоничными билингвами, которым одинаково комфортно общаться на двух языках и они активно используют их в повседневном общении» [Соколова 2014, 75]. В рамках опроса был проведен сравнительный анализ данных о реальном и желаемом потреблении медиа-продукции только на украинском, только на русском или на двух языках. Оказалось, что «для радио и телевидения желание потреблять сугубо украинский продукт в полтора-два раза превышает такое предложение во всех регионах (...) Спрос на восприятие радио- и телепередач на двух языках в центральных, западных, северных регионах и г. Киеве приблизительно вдвое меньше, чем предложение, тогда как на востоке, юге и в Крыму наблюдаем практически паритетные соотношения двуязычного радиовещания, меньшую, чем есть, потребность в сугубо русскоязычном продукте и нехватку украиноязычного» [Соколова 2014, 76–77]. Ученые констатируют, что лишь треть опрошенных во всех городах Украины обращает внимание на проблему двуязычия СМК. Вместе с тем, «отношение к дублированию источников информации на двух языках лояльнее, чем к смешиванию украинского и русского в одном издании, теле- и радиопередаче» [Руда 2014, 91]. Вследствие того, что среди билингвов с различной компетентностью в двух языках и доминированием либо украинского, либо русского практика смешивания в одном источнике информации двух языков не получила поддержки, авторы исследования пришли к выводу, что такая продукция вовсе не предназначена для двуязычных граждан. По мнению исследователей, такой информационный продукт «вызывает скорее раздражение и препятствует повышению компетенции в каждом из языков. Его (информационного продукта – авт.) поддержка в восточных областях и Крыму связана с желанием потребителей видеть больше русского языка в СМК» [Руда 2014, 92]. Таким образом, информационная политика современных украинских СМК направлена на поддержание устойчивости известного с советских времен массового стереотипа схожести украинского и русского языков и миф о «благоприятном» влиянии на развитие украинского русского языка, насыщая теле- и радио-эфиры двуязычной продукцией, немыслимой для любой полиэтнической страны, имеющей, к тому же, несколько государственных языков. В связи с постоянным распространением этого явления в среде украинских лингвистов все чаще поднимается тема так называемой «языковой шизофрении», навязываемой украинскими СМК массовому потребителю [Шевчук 2015]. В целом, этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, а здесь выступает лишь одной из граней сложной языковой проблемы украинского государства.

В свете глоттополитики государства особый исследовательский интерес вызывает проблема коммуникативной эффективности украинского радиовещания, украиноязычного в частности. Тем более, что замеры аудиторного интереса к радиопроодукции в Украине проводятся регулярно и достаточно профессионально. Вот уже на протяжении нескольких лет сбором такой информации в стране занимается компания GfK, используя надежный инструментарий. Правда, информация

о языковых предпочтениях радиослушателей, к сожалению, не отображается в этих рейтинговых исследованиях.

Разговор о коммуникативной эффективности масс-медиа скорее всего надо начинать с информации о приоритетности конкретных СМК для представителей массовой аудитории. Стоит заметить, что по данным социологических исследований, цель которых – выявить самые авторитетные для разных возрастных групп населения Украины масс-медиа, радио ни в одной из них не является приоритетным. Так, среди молодежи до 30 лет телевидение выступает лидером в информировании (84%), на втором месте – интернет-сайты (40%), значительно больше среди молодежи и тех, кто использует в качестве источника политической информации социальные сети, прежде всего Facebook (14%). Представители самой взрослой возрастной группы – старше 60 лет – приоритетным для себя источником политической информации считают телевидение (95%), на втором по значимости месте – местная пресса (45%), а на третьем – радио. В целом, для большинства украинцев радиовещание по приоритетности в информировании занимает третье место (29%) после телевидения и прессы [Свобода слова в Україні: загальнонаціональне й експертне опитування 2013]. Здесь стоит отметить, что такие невысокие показатели украинского радиовещания как источника политической информации закономерны, так как, согласно последним исследованиям GfK, особую популярность у радиослушателей получили развлекательные коммерческие станции [Четверта хвиля дослідження радіослухання в містах 50 тис.+, жовтень-грудень 2014]. Тем более, число серьезных информационных вещателей в Украине не превышает трех, что также может свидетельствовать о распространении массового стереотипа о радио как средстве развлечения.

Итак, последние социологические и социолингвистические исследования, связанные с языковым вопросом в украинском обществе вообще, и в медиасфере в частности, вдохновили автора на попытку провести собственный опрос на тему «Языковая ситуация в украинском радиовещании» в социальной сети Facebook. Основная цель исследования – выяснить коммуникативную эффективность украиноязычного радиовещания, а именно осознанность восприятия языка радиопрограммы слушателями, уровень удовлетворенности такими программами их информационных и психоэмоциональных потребностей, соотношение реального и желаемого в потреблении продукции радио в целом, и украиноязычных радиопрограмм в частности. Сопоставив полученные результаты с данными других исследований, можно судить о действенности современного украинского радиовещания, уровне удовлетворения потребностей массовой аудитории и степени его влияния на культурно-языковое сознание общества.

Онлайн-опрос был проведен с 20 по 28 марта 2015. Анкета состояла из 45 вопросов разного типа и функционального назначения, позволяющих респонденту дать исчерпывающий ответ, а исследователю сделать более или менее объективные выводы. Выборка стихийная. Всего в опросе приняло участие 111 человек.

По данным опроса, из 111 опрошенных радио слушает 103 респондента (92,8%). При этом, обращаются они к радиовещанию более или менее постоянно: каждый день – 37,8% опрошенных, несколько раз в неделю – 36,9%. На вопрос «Программы каких радиостанций Вы слушаете чаще всего?», 75% респондентов, то есть большинство, предпочитают передачи всеукраинских коммерческих FM-станций.

Чрезвычайно важным среди вопросов, непосредственно связанных с темой данного исследования, было следующее: «Обращаете ли Вы внимание на язык радиопрограмм?» Среди респондентов 47,7% положительно ответили на этот вопрос. В то же время совокупная доля тех, кто выбрал вариант «нет» (28,8%), а также – «На задумывался / не задумывалась над этим» (18%) равна количеству опрошенных, выбравших вариант «да». Наверное, такой результат можно объяснить тем, что в эфире всеукраинских музыкально-развлекательных радиостанций мы имеем дело с преобладанием музыкального потока над вербальным. К тому же, украинский и русский языки настолько быстро сменяют друг друга в эфире, даже в звуковом образе одной программы, что осознать, на каком языке слушатель потребляет информацию в определенный отрезок эфирного времени, достаточно сложно. Здесь мы сталкиваемся с тем присущим современным украинским электронным медиа «заболеванием», которое называется «языковая шизофрения» и речь о котором шла выше.

В то же время на вопрос: «На каком языке радиопрограмму Вы скорее всего предпочтете?» 56,8% опрошенных выбрали вариант «украинский», 8,1% – «русский». Остальные респонденты отдали предпочтение варианту «другое». Среди сформулированных самими опрашиваемыми ответами преобладают «не имеет значения», «безразлично», «все равно». Меньшее число респондентов высказалось «главное, содержание программы», «важно, чтобы программа была интересна, познавательна». И только 2 опрошенных заявили, что предпочитают англоязычные программы. Итак, среди участников опроса подавляющее большинство предпочитает украиноязычные радиопрограммы. Возможно, такой результат связан с тем, что львиная доля респондентов состоит из людей в возрасте от 16 до 35 лет включительно, для которых украинский язык является более привычным и функциональным, чем для людей старшего возраста. Стоит заметить, что контрольные вопросы, призванные выявить искренность и правдивость ответов опрашиваемых, в том числе и на этот вопрос, стабильно свидетельствовали о приоритетности для слушателей прежде всего украиноязычных программ.

Респондентам также было предложено выявить уровень собственного согласия или несогласия с определенными распространенными утверждениями о формально-содержательных характеристиках звукового образа радиопрограмм, украинского радиовещания в целом. Опрашиваемые должны были рассмотреть как положительные, так и отрицательные стереотипные представления, поданные в форме косвенных вопросов. Это позволило снять с респондентов ответственность за якобы формирование или распространение определенных стереотипов, повысив искренность и правдивость оценок.

Так, с утверждением, что в Украине достаточно радиопрограмм на украинском языке респонденты больше не соглашались (36,9%), совсем не согласны (26,9%). Соответственно, с утверждением, что в Украине преобладают русскоязычные радиопрограммы, большинство опрошенных соглашается полностью или в основном (84,6%). 84,7% респондентов считают, что в эфире FM-станций недостаточно интересных радиопрограмм на украинском языке, а 80,2% опрошенных признали, что интересный программный продукт на этих радиостанциях преимущественно русскоязычный.

Почти поровну распределились мнения респондентов относительно утверждения «Радиоведущие говорят на правильном, литературном украинском языке, который может быть образцом для всех. Их речь хорошая, приятная». 53,2% согласных с этим утверждением против 46,8% тех, кто имеет определенную несогласие. В то же время утверждение «Радиоведущие часто говорят на «странном» украинском языке, далеком от норм литературного языка. Часто их украинский звучит искусственно и неприятно» вызвало такое распределение голосов за и против: 34,2% в разной степени не согласны с этим утверждением, а остальные, то есть большая часть, согласна с ним. Возможно, такое различие в ответах на эти вопросы связано с тем, что рядовым респондентам крайне сложно сформулировать понятие «литературный язык», «нормативный язык». Часто они путают такие понятия, как «литературный язык» и «национальный язык». По крайней мере, это утверждает С. Ермоленко [Ермоленко 2013]. В конце концов, для того, чтобы выяснить, насколько знакомы с этими вопросами респонденты, или какие собственные определения этих понятий они могут предложить, стоит провести отдельное, качественное исследование.

Опрос дал возможность убедиться в том, что для значительного большинства респондентов стереотипа о том, что украинский язык используют, в том числе и в эфире, в основном пожилые люди, не существует. Так, около 60% опрошенных не согласны с этим утверждением, что дает основания признать увеличение демографической мощности украинского языка. Вместе с тем, почти 67% респондентов в разной степени, но соглашались с утверждением, что «Молодые радиоведущие, которые говорят на украинском языке в эфире, часто делают ошибки, слабо им владеют». Объяснить такие данные можно пониманием природы отношения к литературному языку, поданным С. Ермоленко: «Отношение к литературному стандарту, или кодифицированному литературному языку как социально престижной форме национального языка, меняется в зависимости от образования, территориального происхождения говорящих, их профессионального, культурного уровня, социального статуса» [Ермоленко 2013, 256-257]. В пользу этого объяснения свидетельствует и то, что с утверждением «Лучше украинским языком владеют ведущие государственного радио. Их всегда можно отличить от радиоведущих FM-станций» соглашается более 80% опрошенных. К тому же, журналисты, авторы и ведущие программ являются законодателями так называемой «языковой моды», которая расшатывает прагматическую языковую норму, делает ее слабой. Так, по мнению исследовательницы, «соблюдение общепринятой литературной нормы

способствует взаимопониманию между автором и читателем. Но там, где вступает в действие языковая мода, не заботятся о взаимопонимании, доступности информации, а имеют целью удивить читателя, слушателя необычностью, оригинальностью высказывания» [Срмоленко 2013, 291].

По мнению М. Бугайского, языковедам, особенно специалистам в области культуры языка, давно уже пора обратить внимание на активное развитие такой лингвистической системы, как «язык масс-медиа»: «(...) социальные изменения, которые произошли за последние 2 десятка лет, приводят к выделению новой разновидности языка, которую можно назвать языком медиа или медийным языком, более того, этот язык оказывает огромное влияние на коммуникативное поведение. Он отличается заметной функцией влияния, которая естественным образом тянет за собой эмоциональную функцию, а обе они активизируют функцию, заключающуюся в поддержании языкового контакта между говорящим и слушателем. Так происходит потому, что цель медийных ораторов – втянуть в круг коммуникации как можно больше слушателей, то в свою очередь приводит к упрощению средств передачи, а впоследствии – к стиранию видовых и стилистических различий между отдельными видами передачи. Таким образом, постепенно теряет или уже утратило смысл понятие литературного языка» [Бугайски 2010, 218]. То есть, на повестке дня у исследователей культуры и стилистики языка новый предмет научного интереса – формирование, развитие медийного языка и его влияние на речевую культуру, языковую компетенцию массовой аудитории. В любом случае, рассматриваем мы язык медиа как репрезентацию литературного языка или самостоятельную систему, надо ответить на вопрос: как к нему относятся и как его оценивают пользователи СМК?

На вопрос: «Обращаете ли Вы внимание на речевые ошибки ведущих?» – подавляющее большинство респондентов (84,4%) выбрало вариант «да». А что больше всего раздражает радиослушателей в речи ведущих? Почти по 30% опрошенных выбрали варианты «суржик» (смесь украинского и русского языков) и «трудности при подборе слов». Интересно, что среди ответов на этот вопрос, сформулированных респондентами самостоятельно, преобладал вариант «все перечисленное», то есть, кроме суржика и трудностей при подборе слов, это акцент, неправильное ударение слов, слова-паразиты. Вместе с тем, большинство участников опроса (почти 90%) признало, что радиоведущий должен хорошо владеть украинским языком. Эти результаты коррелируют с данными исследования Института украинского языка НАН Украины, согласно которым до 30% опрошенных отрицательно оценили качество языка СМК, особенно на радио и телевидении, «где, кроме подготовленных и отредактированных текстов, много спонтанной речи» [Соколова 2014, 83].

Также опрашиваемым было предложено оценить собственный уровень владения украинским и русским языками от «очень хорошо» к «очень плохо». Согласно результатам, лишь один респондент плохо владеет украинским, остальные опрошенные выбрали варианты от «очень хорошо» к «удовлетворительно», однако количество тех, кто очень хорошо владеет русским языком, оказалась несколько больше, чем число тех, кто так же знает украинский язык: 44,1% против 28,8%.

Наверное, такое соотношение можно объяснить распределением участников опроса по месту жительства, ведь территориальный фактор влияет на уровень владения не собственно литературным, а национальным языком. К тому же, уровень владения устной и письменной формами языка так же может отличаться. Среди респондентов подавляющее большинство составляют жители юга и востока Украины (61,2%). Остальные проценты приходятся (по убыванию в выборке) на жителей центра, севера, запада страны. Вполне вероятно, что из территориальных особенностей выборочной совокупности исследования следует, что на вопрос «какой язык используете чаще всего?», 54,1% опрошенных выбрали вариант «русский». Доля тех, кто чаще общается на украинском, составила 38,7%. По месту жительства большинство респондентов – горожане, с высшим образованием.

Подводя итоги исследования, следует признать, что современное украинское радиовещание функционирует без точной информации о языковых потребностях и предпочтениях слушателей. Эфиры радио и телевидения насыщены русскоязычным программным продуктом, несмотря на возрастающее желание аудиторного большинства использовать украиноязычные источники информации. Также активно украинские электронные СМК эксплуатируют прием смешивания языков (украинского и русского) в одной передаче, одном эфирном отрезке, что, по мнению специалистов, не может положительно влиять на повышение языковой компетенции ни русскоговорящих, ни украиноязычных потребителей информации. Это один из мощных манипулятивных инструментов, требующий отдельного исследования.

В целом, результаты онлайн-опроса коррелируют с данными последних авторитетных социолингвистических исследований. Они свидетельствуют, что не смотря на пробуксовку официальной глоттополитики государства, отдельные случаи дискриминации украинского языка в деятельности СМК, которые руководствуются в своей работе устаревшей информацией о потребностях и предпочтениях аудитории, отрицательные стереотипы об украиноязычном радиовещании как низкокачественном, малоинформативном, неактуальном и т. д. отсутствуют в сознании большинства современных пользователей медиа. Вопреки распространенному мнению, будто бы радиовещание является источником лишь развлекательной информации, опрос подтвердил гипотезу, что прослушивание радиопередач – осознанная деятельность. Соответственно, украиноязычное радиовещание, потребность в котором доказана, может и должно скорректировать функциональную нагрузку языков в радиопространстве Украины, повышая качество, расширяя тематическую наполненность и целевую направленность программного продукта на государственном языке. Качество языка украинского радиовещания должно повышаться, поскольку граждане Украины до сих пор рассматривают язык медиа как пример добротного, полноценного, коммуникативно эффективного языка, способного влиять на языковую компетенцию пользователя СМК.

Бібліографія

- Бестерс-Дільгер Юліане. 2010. *Мовна політика у засобах масової інформації*. В: *Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації*. Ред. Бестерс-Дільгер Ю. Київ: Видавництво Києво-Могилянська академія: 234-277.
- Бугайски Мариан. 2010. *Язык коммуникации*. Харьков: Издательство Гуманитарный центр.
- Єрмоленко Світлана. 2013. *Літературна норма і мовна практика*. Ніжин: Видавництво Аспект-Поліграф.
- Манакін В. 2012. *Мова і міжкультурна комунікація*. Київ: Видавництво Академія.
- Масенко Лариса. 2010. *Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз*. В: *Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації*. Ред. Бестерс-Дільгер Ю. Київ: Видавництво Києво-Могилянська академія: 96-131.
- Масенко Лариса. 2010. *Нариси з соціолінгвістики*. Київ: Видавництво Києво-Могилянська академія.
- Руда Олена. 2014. *Двомовність засобів масової комунікації в оцінках майбутніх журналістів*. „Українська мова” № 3: 84-92.
- Свобода слова в Україні: загальнонаціональне й експертне опитування. В: <http://dif.org.ua/ua/polls/2013-year/fiwivirvihvirhvuhv.htm/> [Доступ 21 IV 2015].
- Соколова Світлана. 2014. *Мова засобів масової комунікації очима майбутніх журналістів*. „Українська мова” № 3: 71-83.
- Соціально-політична ситуація в Україні: липень 2015. В: <http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=540&page=1/> [Доступ 22 VII 2015].
- Четверта хвиля дослідження радіослухання в містах 50 тис.+, жовтень-грудень 2014. В: <http://www.telekritika.ua/rinok/2015-02-03/103287/> [Доступ 21 IV 2015].
- Шевчук Юрій. *Мовна шизофренія – нова, потужна форма русифікації*. В: http://zik.ua/ua/analytics/2015/07/08/yuriy_shevchuk_movna_shyzofreniya_nova_potuzhna_forma_rusyfikatsii_605587/ [Доступ 22 VII 2015].

Summary

COMMUNICATIVE EFFICACY OF THE RADIO IN THE UKRAINIAN LANGUAGE IN UKRAINE

This article investigates the problem of communicative efficacy of the Ukrainian radio. Special attention is paid to the perception of the radio in the Ukrainian language in a difficult bilingual situation that can be observed in Ukraine. This paper deals with a comparison and interpretation of the data of social and sociolinguistic studies. The author additionally discusses data of his own online survey concerning the communicative efficacy of the Ukrainian radio.

Kontakt z Autorem:
pavlo_mirosh@ukr.net

Teresa Pluskota

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

WPŁYW JĘZYKA URZĘDOWEGO NA SYSTEM
NAZEWNICZY MIESZKAŃCÓW PARAFII
PRAWOSŁAWNEJ W BIAŁOWIEŻY NA PRZEŁOMIE
XIX I XX WIEKU ORAZ W OKRESIE
MIĘDZYWOJENNYM (NA PODSTAWIE ZAPISÓW
W KSIĘGACH METRYKALNYCH)

Key words: anthroponomy, Białowieża, official language, 19th and 20th centuries

Nazewnictwo Białowieży i jej okolic stanowi interesujący obiekt badań dla onomasty, ponieważ przez długie stulecia rozwijało się ono na wielokulturowym pograniczu, a onimy odzwierciedlają w wyrazisty sposób wzajemne wpływy językowe. O złożonej historii Białowieży i o jej parafiach pisałam już we wstępie do wcześniejszych artykułów [Pluskota 2010, Pluskota 2015], tematyka poniższego opracowania wymaga jednak podania i w tym miejscu najważniejszych faktów historycznych, które wpływają na zmiany w antroponimii badanego obszaru i pokazują ich przyczyny.

Dzisiejszą Białowieżę utworzyły założone na początku XVIII wieku wsie: Zastawa, Stoczek, a w późniejszym okresie Podolany i Krzyże [Bajko 2001, 25-26]. W 1795 roku, po III rozbiorze Polski, wieś wraz z Puszcą Białowieską przeszła pod rządy carskie. Kolejne wydarzenia historyczne też wpływały na losy mieszkańców. Wieś została zniszczona w czasie kampanii napoleońskiej w 1812 roku. Po klęsce powstania listopadowego Polacy zostali zmuszeni do wyjazdu, a władze sprowadziły Rosjan, którzy zastąpili byłych powstańców w administracji leśnej [Bajko 2001, 35, 55]. Szybki rozwój osady nastąpił po 1888 roku, gdy Białowieża została włączona do dóbr carskich. W tym okresie (1889-1894) na życzenie cara Aleksandra III zbudowano tu murowany pałac, myśliwską rezydencję carów [Bajko 1994: 6]. Wokół pałacu powstał kompleks innych budynków.

Niezależnie od różnych grup ludności napływowej „(...) w Białowieży przeważała ludność ruska, którą w II połowie XIX wieku zaczęto określać Białorusinami” [Bajko 2001, 55].

Pierwszych osiedleńców, pochodzących głównie spod Brześcia i Kamieńca Litewskiego, wyznawców prawosławia [Bajko 2001, 53], zmuszono do przejścia w XVII wieku do Kościoła greckokatolickiego [Bajko 1994, 11], następnie białowieżanie wskutek planowanej akcji nawracania unitów na prawosławie, która rozpoczęła się po drugim rozbiórze Polski [Dylągowa 1993, 280], powrócili do prawosławia (po 1839 roku). Na badanym obszarze przymusowe zmiany przynależności religijnej odbywały się bez większych problemów [Bajko 1994, 12].

Mieszkańcy Białowieży początkowo (w XVII i XVIII wieku) nie mieli swojej parafii, należeli do Cerkwi prawosławnej w Szereszewie, następnie w Suchopolu. Odrębna, wówczas unicka, parafia powstała na początku XIX wieku. Nowa murowana cerkiew została zbudowana dopiero w 1895 roku, wcześniej były już tu 2 cerkwie drewniane: z 1793 i 1853 roku, pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. W tym okresie do parafii prawosławnej należały wsie: Prybudki (dzisiaj Budy Prybudki), Stoczek, Zastawa, Krzyże, Podolany, Pogorzelce, Teremiski¹. Wymienione wsie zamieszkiwała przede wszystkim ludność chłopska. Antroponimia tej właśnie parafii była obiektem moich zainteresowań.

Parafia w Białowieży liczyła na przełomie wieków 2315 prawosławnych. Po zmniejszeniu się liczby parafian wskutek przymusowych wyjazdów mieszkańców w głąb Rosji w czasie I wojny światowej stopniowo zwiększała się liczba wiernych (w 1939 było ich około 5000). Wzrost liczby parafian spowodowały powroty miejscowej ludności i osiedlanie się w Białowieży ukraińskich emigrantów politycznych, żołnierzy z armii gen. Bułak-Bałachowicza, Peremykina i in. [Bajko 2001, 72, 91].

Oprócz prawosławnej parafii w Białowieży od 1926 roku istnieje parafia katolicka (w 1924 roku 1200 wiernych [Bajko 2001, 71]). W Białowieży mieszkali też Żydzi, którzy w 1903 roku stanowili 13% wszystkich mieszkańców w Puszczy Białowieskiej [Bajko 1994, 26].

Do przygotowania poniższego opracowania zainspirował mnie artykuł L. Dacewicz: *Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metrykalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru rosyjskiego* („Slavia Orientalis” 2015, nr 2). Chciałam zobaczyć, jak zmienia się system nazewniczy w parafii prawosławnej. Ponieważ opracowałam już wcześniej imiona i nazwiska prawosławnych z białowieskiej parafii, łatwiej było mi porównać onimy w różnych okresach historycznych. Wspominałam już wówczas o niektórych procesach w systemie nazewniczym, ale problem zmian nazw pod wpływem języka urzędowego jest na tyle ważny i złożony, że wymaga przedstawienia go w odrębnym opracowaniu.

Do badań wykorzystałam księgi metrykalne, czyli księgi chrztów, ślubów i zgonów w Cerkwi prawosławnej w Białowieży z końca lat 90. XIX wieku (lata 1889 i 1890) i początków XX wieku (1903 r.)², przechowywane w Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Były to roczne księgi tabelaryczne, które zawierają

¹ W XX wieku w nieznacznym stopniu zmienia się obszar parafii, w jej skład wejdzie m. in. wieś Chwojnik.

² Archiwum Państwowe w Białymstoku. Dział: IV: Akta stanu cywilnego; IV. 2: Parafie prawosławne. Parafia prawosławna w Białowieży: Метрические книги на 1889, 1890, 1903 годы.

uporządkowaną informację. W aktach chrztu odnotowane są data urodzenia i data chrztu; imiona chrzczonych dzieci; stanowisko, imię, imię odojcowskie i nazwisko rodziców, ich wyznanie, miejsce zamieszkania; stanowiska, imię, imię odojcowskie i nazwisko świadków zgłoszenia dziecka, wieś, z której pochodzą; nazwisko udzielającego chrztu. Wspominam o tym, aby podkreślić, że były to wystarczające informacje dla stwierdzenia, czy jest to ta sama osoba, czy też podobne imiona i nazwiska dotyczą 2 różnych osób, w kontekście zmian w zapisach ta analiza okazała się istotna. Wynotowałam nazwiska ponad 1000 osób.

Językiem urzędowym w końcu XIX wieku był język rosyjski, który został wprowadzony do urzędów kościelnych od 1834 do 1836 roku [Tichoniuk 2000, 8], czyli po upadku powstania listopadowego. W takiej formie zasady prowadzenia akt stanu cywilnego obowiązywały przez XIX wiek i w pierwszych latach okresu międzywojennego, kiedy to w metrykach chrztów do 1923 roku imiona zapisywano cyrylicą, po 1924 roku – alfabetem łacińskim. Nazwiska po odzyskaniu przez Polskę niepodległości notowane są alfabetem łacińskim. Językiem urzędowym jest więc język polski. Okres międzywojenny służy mi do porównania, materiał tu nie jest tak szczegółowy; zebrała go i napisała wiele lat temu pod moim kierunkiem pracę magisterską Elżbieta Sikorska, mieszkanka Białowieży³.

Pewne wątpliwości może budzić wymowa cyrylickich zapisów, głównie imion. Czy można je wymawiać zgodnie z białoruskim wariantem wymowy, czy rosyjskim? Cyrylickie *z* należy wymawiać jako *h*, czy też wymowa zachowuje *g*. W związku z tym, że inne cechy białoruskie, czy rzadziej ukraińskie, nie są w księgach odnotowywane, przejawiają się one sporadycznie, o czym piszę poniżej, rosyjskie są struktury nazewnicze i wiele form imion, uznaję, że wymowa jest również rosyjska tym bardziej, że urzędnicy starali się nie odbiegać od przyjętych norm nazewnictwa rosyjskiego. O tym, że imiona białoruskie funkcjonowały w systemie, świadczą zapisy w latach 90. XIX wieku imion biologicznych rodziców i rodziców chrzestnych narodzonego dziecka: *Ефрасія, Уласъ, Трафім, Францъ*; pewne cechy zachowane też są w formach odojcowskich i w nazwiskach, np. *Гуліановъ*. Bardzo liczne białoruskie i ukraińskie warianty notuje też na tym obszarze Bazyli Tichoniuk w monografii: *Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839* [Tichoniuk 2000].

Struktura nazewnicza odnotowana w księgach składa się z 3 członów: imienia, imienia odojcowskiego i nazwiska. Już więc taki wzorzec nazewniczy spowodowany jest wpływem rosyjskim. Trójczłonową strukturę stosuje się w odniesieniu do miejscowej ludności, ale też osób spoza Białowieży, niekiedy innej narodowości: *Іосифъ Вильгельмовичъ Неврли, Елизавета Войттеховна Миллеръ* z Narewki, *Іосифина Ксаверіевна Волосевичъ, Казиміръ Францевъ Добринскій*. Należy podkreślić, że do 1839 roku Bazyli Tichoniuk notuje przede wszystkim dwuczłonowe struktury nazewnicze, niekiedy z określeniem, czym synem była dana osoba: Daniło Kaniewski, Iluta Puszczewicz, Tytus syn Pachonia Ostapczuka.

³ E. Sikorska. *Nazewnictwo osobowe gminy Białowieża w I połowie XX wieku* (niepublikowana praca magisterska, Bydgoszcz 2004).

Bardzo rzadko, przy powtarzającym się i bardzo znanym nazwisku, mogą wystąpić na przełomie XIX i XX wieku 2 członki, sporadycznie notowany jest inicjał imienia przy nazwisku, odnosi się to do inteligencji białowieskiej: lekarza, nauczycielki i diaka: *Эдуардъ Валленбургеръ/ Э. Валленбургеръ, Николай Яковлевичъ Подкатовъ/ Н. Подкатовъ, сельскій врачъ*. Model nazewniczy dotyczy więc osób znanych, które wcześniej już były odnotowane w dokumencie, nie ma problemu z identyfikacją nosiciela nazwiska. Sporadycznie strukturę dwuczłonową mają osoby spoza parafii *Сигизмундъ Грушевскій* (mieszczanin z Prażan), niekiedy innego wyznania: *Елько Штейбергъ* (Żyd).

Szczegółowiej przyjrzymy się poszczególnym członkom modelu. Imiona ochrzczonych dzieci są prawie konsekwentnie przytaczane i zapisywane zgodnie z kanonami cerkiewnymi: *Антоній, Аггей, Димитрій, Іоаннъ, Јосифъ, Захарій, Симеонъ, Стефанъ, Елисавета, Екатерина*⁴, w systemie nazewniczym rodziców, świadków, nowożeńców imiona występują w formie zaadaptowanej: *Димитрій, Иванъ, Остапъ, Федора*, przy czym niektóre z nich występują w jednym miejscu jako cerkiewne, w innym mają rosyjską formę: *Елисавета/ Елизавета, Стефанъ/ Степанъ, Симеонъ/ Семень, Федоръ/ Феодоръ*. Oczywiście, niekiedy białoruska forma w wariantcie pisanym nie różni się od rosyjskiej, jednakże brak cech białoruskich w innych formach, potwierdzenie podobnych zapisów w innych dokumentach świadczy, o czym już wspomniałam, na korzyść rosyjskiego wariantu.

Odnotowałam wyżej, że prawie konsekwentnie są notowane kanoniczne formy imion, albowiem sporadycznie zapisane są w imionach nowo narodzonych dzieci również formy zaadaptowane. Przykładem może być *Iosif*, notowany obocznie z *Oсunом* (rzadziej). W formach odojcowskich *Oсun* и *Јосиф* tworzą zbliżone liczebnie grupy. *Димитрій* mamy na początku XX wieku dla ochrzczonego dziecka oraz *Димитрій* i *Дмитрій* w imionach rodziców.

Należy podkreślić, że w księgach ślubów i chrztów w imionach rodziców lub chrzestnych występują sporadycznie białoruskie warianty: *Іуліанъ* jako *Гуліанъ, Іустинъ, Іустина* jako *Густинъ, Густина, Гуліанія*. Notowane są one również w formach patronimicznych: *Гуліановна*. W okresie międzywojennym zmniejsza się liczba tych imion. Sporadycznie pojawiają się one na chrzcie i w formach odojcowskich. Zostały zastąpione imionami *Іуліанія*⁵, *Іуліанъ, Іустинъ, Іустина, Уляна*. Pozbywanie się tych wariantów imion następuje zapewne pod wpływem języka urzędowego lub zmieniającej się mody nazewniczej. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na różne zapisy imion tej samej osoby, np. *Степанъ Григорьевъ Сикорскій, Стефанъ Григорьевъ Сикорскій*.

Analiza materiału z okresu międzywojennego pozwoliła mi porównać po wielu latach zapis i formę imion, ponieważ na początku lat dwudziestych imiona notowane były grażdanką. Występują one w formie kanonicznej i narodowym wariantcie imion. Stosowane teraz częściej warianty wschodniosłowiańskie imion rodziców i chrzestnych notowane są równolegle z formami kanonicznymi: *Гаврил/Гавріил, Иван/ Іоанн, Симеонъ/ Семень* [Петровскій 2000, Суднік 2005]. Liczniejsze są imiona z utraconym końcowym *-ij*:

⁴ Formy imion cerkiewnych podaje według przedwojennego spisu imion [Spis prawosł. 1936].

⁵ Zachowuję zapis źródłowy imion.

Кондрат, Назар, Порфир, Тарас. Niektóre imiona nie występują już w kanonicznej formie. Mamy tylko: *Дмитрій, Фёдор*, ale zachowane jest wiele starych imion: *Антоній, Алексій, Иоаким, Иоанн, Сергій* [Петровский 2000, *Spis prawosł.* 1936]. Pojawiają się nowe dwuczłonowe imiona słowiańskie, np. *Мирослав, Владислава, Людмила*, i w polskim zapisie *Wiacesław* (wcześniej był *Владимир, Казимір, Станиславъ*) [Malec 1983, Skulina 1973]. Został rozszerzony inwentarz imion o nowe formy: *Ироида, Кира, Любовь, Леонида, Лилия, Раиса, Тамара* i w polskim zapisie *Zoja*. Są pojedyncze rzadkie imiona, które nie występowały wcześniej: *Агнija, Трофима*. Pod wpływem kalendarza katolickiego jest więcej imion pochodzenia łacińskiego: *Максимилиан, Фабиан, Фелициан, Павлина, Урсула, Доминика, Сабина*.⁶

Transformacja imion na język polski w okresie międzywojennym spowodowała kolejne zmiany; wystarczy zaznaczyć, że imiona z początkowym rosyjskim *e* są zapisywane z *je-* i *e-*: *Jelena, Jewgienija, Jewgienij, Еwстафij, Еkaterina*. Rosyjskie *z* zastępowane jest polskim *g*: *Genadij, Glafira, Galina, -jo-* w śródgłosie ma przekaz *-io-* lub *-e-*: *Fiodor, Fedor*. Różne sposoby adaptacji imion nie odbiegały od stosowanych norm w nazewnictwie; szczegółowo przedstawił je w swojej monografii Bazyli Tichoniuk [Tichoniuk 2000, 38].

Wpływy rosyjskich form mamy w wariantach imion w otczestwach i ich sufiksach. Patronimy występują na badanym obszarze zwykle z suf. *-овъ, -овиъ, -овиць*, a dla kobiet *-овна*, przy czym *-овиць* ograniczone jest w zasadzie do urzędników, nauczycieli, żołnierzy, zwykle Rosjan. Pod wpływem rosyjskim pojawiają się oboczne formy odojcowskie: dwa razy zapisany *Иванъ Романовъ Байко* z Podolan w kolejnym miejscu w księgach odnotowany został jako *Иванъ Романовиць*. Formant *-овиць* zapisano jeszcze w kilku innych patronimach: *Лука Стефановиць, Павелъ Степановиць*. Powoduje to pewne zamieszanie w nazwach, ponieważ na badanym obszarze występują licznie nazwiska z suf. *-овиць*.

W formach odojcowskich rzadko występują oficjalne cerkiewne formy: *Димитриевна Симеоновна*. Zwykle są to adaptacje imion: *Ивановъ, Ивановна, Ивановичъ, Францовна, Вадимовиць, Степановъ*. Forma imienia w patronimie zależy niekiedy od miejsca, w którym został on zapisany. Świadkowie, pełniący ważną rolę w akcie ślubu, zwykle zachowują formę cerkiewną imienia. W roli świadka jest np. *Анна Стефановна*, a w zapisie rodziców ochrzczonego dziecka – *Анна Степановна*. Zapisana jako matka i żona *Евфимія Степановна* ze Stoczka, gdy wystąpiła w roli świadka, zanotowana została jako *Евфимія Стефановна Байко*. Warto zwrócić też uwagę na przykłady zastępowania podobnych imion: *Нукита Симоновъ Подлацикъ, Нукита Симеонъ Подлацикъ*.

Nazwiska w największym stopniu zachowały miejscowe cechy, świadczą też o tym, że cechy białoruskie zdążyły się już wcześniej zakorzenić w nazewnictwie, np. pokazują imiona w białoruskim lub kresowym ich wariantach: *Охрицюкъ, Олихверъ, Пилиховская*. Nazwiska zachowują też, sporadycznie, inne cechy białoruskie: dzekanie, cekanie, akanie:

⁶ Biorę pod uwagę również wpływ polski, ponieważ jest to okres kształtowania się państwa polskiego, wprowadzania języka polskiego jako języka urzędowego.

Дзедзикъ, Кацюба, Казак. Licznie notowane są w nazwiskach sufiksy: *-ovič*, *-uk*, *-ko*: Дацкевичъ, Лицкевичъ, Смоктуновичъ, Степанюкъ, Гречко, Грицюкъ, Пилипчукъ. Wpływ języka urzędowego przejawia się w pojawianiu się wariantów nazwisk: *Охрицюк/Офритюк*.

W okresie międzywojennym, podobne jak w imionach, są problemy z przekazem nazwisk osób prawosławnych w języku polskim: *je-* i *e-* (*Elizarow*, *Jewstafij*) mamy na miejscu nagłosowego rosyjskiego *e*, polskie *g* zastępuje *z* z graždanki: *Grygoriew*, *Ganczuk*, *Gorpynicz* (tylko *Harasim* ma początkowe *h*). Rosyjski znak *e* w śródgłosie też ma różne warianty zapisu: *Mojsiejuk*, *Niemierowicz*, *Tarasiewicz*, *Tiszczenko*, *Wasiliew*, ale *Fedorow*, *Klepko*, *Nazarewicz*, *Omelianczyk*, *Perszko*, *Podłaszczyk*, *Roszczenko*, *Rubel*, *Sawczenko*, *Szerszenowicz*; *u* jest przekazywane jako polskie *i* lub *y*: *Lickiewicz*, *Sidorczyk*, *Szirobokow*, *Łyczko*, *Tyszko*. W latach 20. mamy również w tym członie nazewniczym pojedyncze przykłady dzekania i cekania: *Szlachciuk*, *Fiedziukiewicz*. Nazwiska z sufiksem *-укуи* notowane są z końcowym *-ski*: *Wołkowyski*. W związku z różnym przekazem znaków cyrylickich pojawiają się warianty tego samego nazwiska *Ochrytiuk/Ochryciuk*, *Pritulczyk/Pritulczik*. Ponadto wytworzyły się hybrydy językowe, zwykle jest to sufiks polski i rdzeń ruski: *Ławendówna*, *Nikodówna*, *Iluczek*, ale może też być odwrotnie, por. *Równiejko*. Należy podkreślić, że w powojennym okresie nazewnictwo mieszkańców Białowieży i okolic zostało poddane dalszej polonizacji. Chcę tylko podkreślić, że wówczas panuje pewien chaos w zapisie antroponimów, chociaż cechy białoruskie przejawiają się w większym stopniu. Wiele zależało od narodowości sporządzającego taki dokument oraz od jego wykształcenia czy raczej orientacji w możliwości przekazu cyrylickich nazw alfabetem łacińskim.

Podsumowując, rosyjski język urzędowy wpływał na formę imion, stosowanie trójczłonowego modelu nazewniczego, występowanie sufiksu *-ovi* w formach odojcowskich, obecność w miejscowym systemie imienniczym niektórych rosyjskich form imion, pojawianie się wariantów nazwisk. Kolejna transformacja systemu nazewniczego na język polski spowodowała dodatkowe problemy, dochodzi bowiem przekaz nazewnictwa innym systemem znaków, z którym spisujący dokument nie zawsze sobie radził. Powstawały nie tylko warianty nazw, funkcjonowały imiona z innego systemu nazewniczego, nie było możliwości przekazania w dokumentach charakterystycznych białoruskich cech, powstawały też typowe dla pogranicza hybrydy.

Transformacja antroponimów mogła wpływać na różne zapisy imienia i nazwiska tej samej osoby, najpierw wskutek rusyfikacji, następnie wskutek polonizacji antroponimii w okresie międzywojennym i powojennym. Proces zmian w systemie nazewniczym w Białowieży doprowadził do tego, że w jednej rodzinie mogły istnieć dwa różnie zapisywane nazwiska, np. nazwisko *Ochryciuk* w oficjalnych dokumentach urzędowych na przełomie XIX i XX wieku zapisane zostało w 2 wariantach, a kolejne 2 wersje ma też w okresie międzywojennym: *Офрицюк*, *Охрицюкъ/Ochryciuk*, *Ochrytiuk*.

Bibliografia

- Bajko Piotr. 1994. *Cerkiew i parafia prawosławna w Białowieży*. Białystok: Parafia prawosławna św. Mikołaja.
- Bajko Piotr. 2001. *Białowieża. Zarys dziejów do 1950 roku*. Białowieża: Białowiecki Ośrodek Kultury.
- Dylągowa Hanna. 1993. *Kościół Unicki na ziemiach Rzeczypospolitej 1596–1918. Zarys problematyki*. Przegląd Wschodni, t. II, z. 2 (6): 257-287.
- Malec Maria. 1982. *Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Skulina Tadeusz. 1973. *Staroruskie imiennictwo osobowe*. T. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Spis prawosł. 1936 – *Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim, uzgodniony z Ministerstwem Wyznań i Oświecenia Publicznego*. Warszawa: Drukarnia Synodalna.
- Tichoniuk Bazyli. 2000. *Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839*. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.
- Петровский Никандр А. 1980. *Словарь русских личных имен*. Москва: Русский язык.
- Суднік Міхаіл Р. 2005. *Слоўнік асабовых уласных імён*. Ред. Лукашанец А.А. Мінск: Беларуская навука.

Summary

THE INFLUENCE OF OFFICIAL LANGUAGE ON THE ONOMASTIC SYSTEM OF THE RUSSIAN ORTHODOX PARISH IN BIAŁOWIEŻA AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES AND IN THE INTERWAR PERIOD (BASED ON ENTRIES IN REGISTERS OF CERTIFICATES)

This paper discusses the problems associated with the cultural frontier where Białowieża and its vicinity have been situated for many centuries. The analysis focused on anthroponyms in the Russian Orthodox parish in Białowieża. Russian was the official language at the turn of the 19th and 20th centuries, whereas Polish was the official language in the interwar period. A detailed analysis demonstrated linguistic influences on the onomastic system. Under the Russian influence, a 3-element onomastic model was in use (first name, father-derived name, surname), as well as Russian national name variants, especially in the names of parents and godparents. Father-derived names with the *-ovič* suffix were also employed, along with first name and surname variants. The Polish official language in the interwar period affected the emergence of a greater number of names of Latin origin, first name and surname variants, which appeared as a consequence of, inter alia, various ways of transferring anthroponyms with a different alphabet. All these changes resulted in the situation when one person had different variants of the first name and surname in various official documents.

Kontakt z Autorką:
pluster@wp.pl

Robert SzymulaInstytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet w Białymstoku

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (СФЕРА-ИСТОЧНИК «ТЕАТР»)

Key words: Russian political discourse, theatrical metaphors, metaphorical transfer, press discourse

Особенностью русского политического дискурса новейшего периода является довольно значительное число семантических неологизмов. В настоящем исследовании представлен один из способов формирования новых производных значений лексических единиц – метафорический перенос, в основе которого лежит сходство предметов и явлений в широком смысле этого слова.

А.А. Потебня, считая метафорический перенос важнейшим способом развития языковой семантики, отмечал: «Все значения в языке по происхождению образны. Оба состояния слова, образность и безобразность, равно естественны» [Потебня 1976, 293]. По мнению Н.Д. Арутюновой, в основе метафорического осмысления действительности лежит не только способность человека идентифицировать объекты и улавливать сходство между областями, воспринимаемыми разными органами чувств, но и способность улавливать общность между конкретными и абстрактными объектами, материей и духом [Арутюнова 1990, 9]. Согласно когнитивной теории метафоры, которая в современной науке получила широкое распространение, метафора – это «феномен не лингвистический, а ментальный: языковой уровень лишь отражает мыслительные процессы. Метафорические значения слов – это не украшение мыслей, а лишь поверхностное отражение концептуальных метафор, заложенных в понятийной системе человека и структурирующих его восприятие, мышление и деятельность» [Будаев, Чудинов 2008, 41]. В.Н. Телия описывает метафору как микромодель, выражающую микрокосмос индивидуально-авторского видения мира [Телия 1990, 174]. Как замечает Н.Ф. Крюкова, метафора – это не столько способ выражения мысли и украшения текста, сколько основная ментальная операция, способ познания, структурирования, оценки и объяснения мира.

Она возникает в результате когнитивных процессов, состоящих в концептуальном переносе из сферы-источника в сферу-мишень с последующей проекцией на ментальное пространство, в результате чего формируются новое понятие и новый взгляд на предмет или явление [Крюкова 2000, 10]. Понятийные сферы образно описываются метафорическими моделями, которые используют лексику, относящуюся в первичном значении к совсем иным сферам. По мнению Дж. Лакоффа, метафорические модели – это модели перехода от структур одной семантической области к соответствующим структурам другой области [Лакофф 1988, 13]. А.П. Баранов и Ю.Н. Караулов понимают под этим понятием существующее в сознании носителей языка типовое соотношение семантики находящихся в отношениях непосредственной мотивации первичных и вторичных значений, являющееся образцом для возникновения новых вторичных значений [Баранов, Караулов 1994, 15].

Одной из наиболее частотных в русском политическом дискурсе сфер-источников, на базе которой происходит метафорический перенос, является сфера-источник «Театр». Проблему театральной метафоры языка политики изучали такие ученые, как А.Н. Баранов и Ю.Н. Караулов [Баранов, Караулов 1991; Баранов, Караулов 1994], О.Ж. Григорьева [Григорьева 2001], А.А. Каслова [Каслова 2003], Дж. Лакофф и М. Джонсон [Лакофф, Джонсон 1990], Ю.Б. Феденева [Феденева 1997], А.П. Чудинов [Чудинов 2001; Чудинов 2003; Чудинов 2006], Е.И. Шейгал [Шейгал 2000], Н.Г. Шехтман [Шехтман 2003] и др. Следует, однако, подчеркнуть, что метафорические модели могут подвергаться изменениям под влиянием политической, общественной и экономической ситуации в данной стране. Могут появляться новые модели или новые фреймы известных уже моделей, некоторые фреймы могут исчезать, может изменяться частотность использования лексем, соответствующих той или иной модели и т.д.

Настоящая статья содержит анализ новейшего газетного материала (статьи из 4 газет: «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Известия», «Комсомольская правда», номера за годы 2010-2015). Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть тезис о том, что метафорический перенос на базе сферы-источника «Театр» продолжает быть продуктивным способом формирования новых производных значений лексических единиц из данной области.

Проанализированный нами лексический материал образует несколько тематических групп. Лексические единицы, которых производные вторичные значения связаны со сферой-источником «Театр», мы условно подразделили на следующие блоки:

1. Виды театрализованных представлений (*театр, шоу, цирк, балаган, маскарад* и т.п.).
2. Жанры театрализованных представлений (*комедия, драма, фарс, мелодрама, мыльная опера, трагикомедия* и т.п.).
3. Здание и реквизит (*сцена, арена, эстрада, кулисы, бутафория, маска, грим, занавес* и т.п.).

4. Работники театра и зрители (*режиссер, актер, кукловод, марионетка, клоун, дирижер, первая скрипка, комик, статист, сценарист, публика* и т.п.).
5. Элементы представления (*акт, антракт, смена декораций, выход на сцену, эпизод, хеппи-энд* и т.п.).

В настоящей работе сосредоточим внимание на первой группе – «Виды театрализованных представлений». Центральное место в этом блоке занимает лексема *театр* («1. Род искусства, художественное отражение жизни посредством сценического представления, осуществляемого актерами перед зрителями; 2. Учреждение, организация, занимающиеся устройством представлений; 3. Здание, в котором происходят представления; само представление, спектакль» [*Большой толковый словарь русского языка* 1998, 1309]). Данная лексическая единица выступает в политическом дискурсе во вторичном значении для обозначения политических действий. Ее использование (также в составе словосочетания *политический театр*) может вызывать у адресатов отрицательные эмоциональные коннотации: может создаваться ощущение, что политическая деятельность – это несерьезное, искусственное отражение реальной жизни. Приведем примеры:

«Российский политолог, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малащенко также призывает не искать в приезде американцев признаков заговора. «Маккейну сам бог велел там быть, странно, что его так давно не было. Как же Майдан без Маккейна, нашего главного врага? – шутит эксперт. – Ему, наверно, в Кремле купили билет, чтобы он туда поехал. Это уже театр» [Аргументы и факты, 16.12.2013].

«Сам Олланд и его партнерша по «нормандской четверке» канцлер Германии Ангела Меркель занимают достаточно сдержанные позиции в отношении отмены санкций. Например, визит в Россию нового премьера Греции Алексиса Ципраса в окружении глав стран Евросоюза журналистам назвали „политическим театром, нежели важным с геополитической точки зрения событием» [Известия, 13.04.2015].

Благодаря сравнению мира политики с театром, политики – субъекты политического процесса – сравниваются с работающими в театре актерами, которые действуют напоказ, которых работа направлена не на решение существенных (в случае политиков – общественных) задач, а на произведение положительного впечатления на зрителей:

«Немцов обожал давать интервью и красоваться на экране телевизора. Политическую жизнь он воспринимал как театр, а себя – как главного в нем актера. Мне всегда казалось, что в его негативном отношении к Владимиру Путину был немалый элемент ревности» [Московский комсомолец, 1.03.2015].

«А тут ещё и последние выборы, неожиданно продемонстрировавшие, что не только в кино, но и в политическом театре занавес раздвигается всё шире и шире и на сцену выходят новые герои, звучат соблазнительные слова» [Аргументы и факты, 25.09.2013].

Лексема *театр*, использованная во вторичном значении, может вызывать особенно сильные отрицательные ассоциации в составе словосочетаний *кукольный*

театр и *театр марионеток*. В данном случае субъекты политической жизни сравниваются с куклами («фигура человека или животного из дерева, тряпок и т.п. в специальных театральных представлениях» [*Большой толковый словарь русского языка* 1998, 478]) и марионетками («театральная кукла, управляемая сверху посредством нитей или металлического прута актером-кукловодом» [*Большой толковый словарь русского языка* 1998, 521]), что может вызывать ощущение, что рядовые политики не действуют самостоятельно, работая для блага граждан страны, которые их выбрали, а являются лишь орудием в руках кого-то более влиятельного (власти, лидеров политических партий и т.п.), подчиняясь его воле. Приведем примеры:

«Если называть вещи своими именами, то вся бурная политическая жизнь Украины – это не что иное, как кукольный театр Карабаса Барабаса, где любую, даже самую яркую персону невидимый кукловод может отправить в сундук» [Аргументы и факты, 20.08.2014].

«Александр Якоб снова стал сити-менеджером Екатеринбурга. Теперь он останется единственным главой администрации, через пять лет эту должность упразднят. В гордуме за его кандидатуру проголосовали почти все депутаты. Народно избранные выбирали сити-менеджера города под рассказ о Вильгельме де Геннине и острые выпады в сторону вице-мэра Владимира Тунгусова. Этого зама главы Екатеринбурга называли „кукловодом“, а весь парламент – «кукольным театром» [Московский комсомолец, 23.10.2013].

«Но Суркову не откажешь ни в политическом мужестве, ни в умении вести собственную игру. Бывший верховный кукловод российской публичной политики отказался играть роль заведомого лузера в театре марионеток Владимира Путина» [Московский комсомолец, 12.05.2013].

Сильные отрицательные ассоциации может вызывать также использование в политическом дискурсе лексической единицы *театр* в составе словосочетания *театр абсурда*. Метафорическое сравнение политической жизни с течением в драматургии, изображающим мир лишенный логики, может производить впечатление бессмысленности деятельности политиков. Приведем примеры:

«Лидер партии Михаил Прохоров неожиданно для всех объявил о выходе из неё, вместе с ним заявления написали многие делегаты съезда. Накануне, по словам Прохорова, на партию была предпринята рейдерская атака: «...захватили мандатную комиссию, какие-то левые люди попали в списки, и они провели сфальсифицированный съезд. Участвовать в этом театре абсурда, в этой шутовской партии я не намерен» [Аргументы и факты, 21.09.2011].

«Или вот мое окно в севастопольский двор. На двойном борде – кандидаты с говорящими, как писал Чехов, фамилиями. Один был в Партии регионов, другой – в «Нашей Украине»; теперь оба они – в одной партии, с одними, стало быть, идеалами. Цирк? Театр абсурда? Да, а еще – издевка над севастопольцами» [Известия, 12.09.2014].

«А здесь, слава богу, все иначе. И согнанный в Лужники народ – а что согнанный, секрет Полишинеля – обычная массовка на самодеятельном уровне, да и Путин не только никакой не вождь, но и вождя играет из рук вон плохо, и даже свою десятиминутную речь не смог произнести на уровне, путаясь в словах и неся околесицу. Театр одного актера. И одновременно: театр абсурда» [Комсомольская правда, 28.02.2012].

Политическая жизнь сравнивается с театрализованными представлениями также при помощи лексемы *шоу* («зрелище, представление» [*Большой толковый словарь русского языка* 1998, 1503]). Политическая жизнь характеризуется в данном случае как деятельность напоказ, что-то несерьезное, рассчитанное на внешний эффект, на развлечение публики, что может способствовать появлению отрицательных коннотаций. Приведем примеры:

«Значит, если не трогать Конституцию, устроить парламентские выборы на три месяца раньше срока можно, лишь организовав весной 2016 года шоу с досрочным роспуском Госдумы» [Московский комсомолец, 20.05.2015].

«А вообще, эти мысли о труде и его пользе в майские праздники приходят невольно, сами по себе. Когда посмотришь на Первомайское политическое шоу и сравнишь его с действительностью, то в Первомай сделаешь выбор в пользу труда – на даче, например» [Московский комсомолец, 6.05.2015].

«Политическое шоу становится все более забавным, к полному недоумению городских властей» [Комсомольская правда, 29.10.2010].

Особенно сильные отрицательные ассоциации может вызывать использование в политическом дискурсе лексической единицы *цирк* («вид театрального искусства, включающий акробатику, эквилибристику, жонглирование, клоунаду, дрессировку животных и т.п.» [*Большой толковый словарь русского языка* 1998, 1464]) во вторичном значении. Сравнение политической жизни с цирком (а в связи с этим политиков с работающими в нем клоунами) может производить впечатление, что деятельность политиков – это что-то смешное, нелепое, несуразное, предназначенное больше для детей, чем для взрослых:

«Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал цирком предстоящие переговоры госсекретаря США Джона Керри с украинским оппозиционером Виталием Кличко и певицей Русланой, он посоветовал позвать на встречу еще и Верку Сердючку» [Аргументы и факты, 19.01.2014].

«Что это такое было: политический цирк, или человек не справился со своими обязанностями? – спросил коллег депутат Игорь Моляков» [Московский комсомолец, 23.12.2014].

«Пробиться сквозь муниципальный фильтр на выборах глав регионов смогли лишь те, в ком власть не увидела реального конкурента. Это не выборы, а цирк! В нынешнем виде политическая реформа не заслужила даже двойки, – считает политик, которому было отказано в регистрации на выборах мэра Москвы и губернатора Подмосковья» [Известия, 5.09.2013].

Похожее ощущение может производить использование в политическом дискурсе существительного *балаган* («в России 18 – начала 20 в.: народное театральное представление (обычно на ярмарках), состоящее из комических сценок, цирковых номеров и т.п.» [*Большой толковый словарь русского языка* 1998, 56]) во вторичном метафорическом значении. Данная лексема сравнивает мир политики с шутовством, дурачеством. Приведем примеры:

«Балаган, устраиваемый Жириновским в Госдуме и на крупных политических мероприятиях, позволяя немного оттянуть голоса у коммунистов и националистов» [Аргументы и факты, 19.04.2014].

«Остальные выступающие, кажется, были с ним согласны. «Как на ярмарке – развернут свой яркий балаган, с которым нам придется иметь дело уже в ближайшее время», – предрекал Додатко, говоря про 26 отделений новых партий, зарегистрированных в Красноярске. Что характерно, системную оппозицию партийцы не помянули ни полусловом, словно на политическом поле теперь только грязные критиканы и «Единая Россия» [Московский комсомолец, 5.12.2012].

«Говоря о дебатах, надо четко представлять себе, что они – дебаты – отнюдь не неотъемлемая часть избирательного процесса и не неперемный атрибут демократии. Дебаты – это новинка, связанная с изобретением телевидения. Первые теледебаты – это соревнование Кеннеди с Никсоном в 1960-м с печальным результатом для второго. С настолько печальным, что на 16 лет о дебатах забыли. Реально теледебаты вернулись в большую политику США и стали ее важным фактором в 1976 году, когда президент Форд опозорил себя в диалоге с Картером, сказав, что Польша не является частью Восточного блока. Развитие дебатов – это ТВ. Это – массовая политика, это – балаган» [Известия, 13.08.2013].

Метафоричность политического дискурса – это одно из средств воздействия политиков на граждан. Как отмечают А.П. Чудинов и Э.В. Будаев, «метафоры помогают нам преобразовать существующую в сознании адресата языковую картину мира, ввести новую категоризацию в представление хорошо известных феноменов и дать им новую эмоциональную оценку» [Будаев, Чудинов 2008, 5].

Лексические единицы, образованные путем метафорического переноса, широко представлены в газетных текстах, что обусловлено, наверное, их экспрессивностью и образностью. Проведенный нами анализ новейшего газетного материала показал, что сфера-источник «Театр» остается одной из продуктивных сфер-источников для возникновения вторичных значений слов, используемых в современном русском политическом дискурсе. Собранный материал позволяет также утверждать, что лексемы, составляющие анализируемую группу «Виды театрализованных представлений», эмоционально описывают отношения среди политиков, носят оценочный характер и могут вызывать у адресата отрицательные ассоциации. Мир политики сравнивается с театром, цирком, шоу – т.е. чем-то искусственным, далеким от реальной жизни. Политики в таком контексте выступают в роли актеров, клоунов, кукол в кукольном театре или марионеток. У адресатов может появляться ощущение, что субъекты политической жизни делают все напоказ, дурачатся вместо конкретно

работать, не принимают решений самостоятельно, а подчиняются воли власти или лидеров партий. Их деятельность под влиянием таких ассоциаций может казаться несерьезной, смешной, несуразной.

Театральность политического дискурса обусловлена, наверное, спецификой коммуникации между политиками и гражданами данной страны. По мнению Е.И. Шейгал, граждане в большинстве случаев выполняют роль не прямого адресата, а аудитории, которая следит за политическими событиями [Шейгал 2000, 92]. Они участвуют в мире политики в основном как наблюдатели, получая информацию о нем через средства массовой информации. Граждане воспринимают политические события как своего рода разыгрываемое для них представление. В связи с этим политики постоянно стараются произвести на них впечатление, воспринимая их как своего рода зрителей.

Следует заметить, что театральная метафорика политического дискурса связана также, наверное, с ролью, которую играют в нем СМИ – основной в наше время канал осуществления политической коммуникации. СМИ воздействуют на адресата, могут убеждать его перейти на желаемые позиции. Н.А. Безменова и Н.Н. Белянин, анализируя речевое воздействие на адресатов информации, выделяют несколько его типов: концептуальное воздействие (изменение отношения субъекта к некоему объекту, перестройка категориальной структуры индивидуального сознания введением в нее новых категорий, проявляющихся в классификации, формах упорядочивания объектов, событий окружающей предметной и социальной действительности), эмоциональное воздействие (формирование общего эмоционального настроения реципиента), манипулятивное воздействие (изменение сформированных стереотипных представлений) [Безменова, Белянин 1990, 79]. Для реализации своего коммуникативного намерения и оказания воздействия на читателей журналисты используют определенные языковые средства. К числу таких средств принадлежат в первую очередь лексические единицы с оценочным компонентом значения. Оценка может соответствовать существующим стереотипным представлениям адресата и может быть направлена на модификацию старых и создание новых стереотипов. Несомненно, оказание воздействия на читателей реализуется также при помощи экспрессивности языковых средств. Экспрессивность достигается за счет разнообразных лексических единиц, к числу которых принадлежат также лексемы с вторичным метафорическим значением. Используемые в русском политическом дискурсе слова, вторичное значение которых появилось путем метафорического переноса на базе сферы-источника «Театр», характеризуются высокой степенью экспрессивности, сопровождаются отрицательной коннотацией, могут вызывать ощущение искусственности, нереальности описываемых событий. В сознании читателей может образоваться впечатление, что к такой политике не стоит относиться серьезно, что она не заслуживает уважения в связи с неискренностью ее субъектов.

Библиография

- Арутюнова Нина. 1990. *Метафора и дискурс*. В: *Теория метафоры: сб. ст.*. Ред. Арутюнова Н. Д., Журина М. А. Москва: Прогресс: 5-32.
- Баранов Анатолий, Караулов Юрий Н. 1991. *Русская политическая метафора. Материалы к словарю*. Москва: Ин-т русского языка АН СССР.
- Баранов Анатолий, Караулов Юрий Н. 1994. *Словарь русских политических метафор*. Москва: Помовский и партнеры.
- Безменова Наталья, Белянин Валерий. 1990. *Оптимизация речевого воздействия*. Москва: Наука.
- Большой толковый словарь русского языка*. 1998. Ред. Кузнецов С.А. Санкт-Петербург: Норинт.
- Будаев Эдуард, Чудинов Анатолий. 2008. *Метафора в политической коммуникации*. Москва: Флинта, Наука.
- Григорьева Ольга. 2001. *Политический театр современной России (взгляд филолога)*. Интернет-журнал «Полемика» № 9.
- Каслова Анастасия. 2003. *Метафорическое моделирование президентских выборов в России и США (2000 г.): Дисс. .. канд. филол. наук*. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.
- Крюкова Наталья. 2000. *Метафоризация и метафоричность как параметры рефлексивного действия при производстве и рецепции текста. Дисс. ... докт. филол. наук*. Тверь: ТГУ.
- Лакофф Джордж. 1988. *Мышление в зеркале классификаторов*. В: *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 23: 12-35.
- Лакофф Джордж, Джонсон Марк. 1990. *Метафоры, которыми мы живем*. В: *Теория метафоры*. Москва: Прогресс: 387-415.
- Потебня Александр. 1976. *Из записок по теории словесности (Фрагменты)*. В: *Эстетика и поэзия*. Москва: Искусство: 286-461.
- Телия Вероника. 1990. *Метафора как модель словопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция*. В: *Метафора в языке и тексте*. Москва: Прогресс: 173-204.
- Феденева Юлия. 1997. *Моделирующая функция метафоры в агитационно-политических текстах 90 гг. XX века: Дис....канд. филол. наук*. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.
- Чудинов Анатолий. 2001. *Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000)*. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.
- Чудинов Анатолий. 2003. *Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: Монография*. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.
- Чудинов Анатолий. 2006. *Политическая лингвистика*. Москва: Флинта.
- Чудинов Анатолий, Будаев Эдуард. 2008. *Метафора в политической коммуникации*. Москва: Наука.
- Шейгал Елена. 2000. *Театральность политического дискурса. В: Единицы языка и их функционирование: Межвуз. сб. науч. тр., Вып. 6*. Саратов: СГАП: 92-96.
- Шехтман Наталия. 2003. *Сопоставительное исследование театральной и спортивной метафоры в российском и американском политическом дискурсе: Дисс. .. канд. филол. наук*. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т.
- Электронный ресурс:
Аргументы и факты, 21.09.2011, <http://www.aif.ru/society/27998> [Доступ 21 V 2015].
Аргументы и факты, 25.09.2013, <http://www.aif.ru/society/932492> [Доступ 21 V 2015].
Аргументы и факты, 16.12.2013, <http://www.aif.ru/euromaidan/prediction/1066760> [Доступ 21 V 2015].
Аргументы и факты, 19.01.2014, <http://www.aif.ru/euromaidan/uanews/1085828> [Доступ 21 V 2015].

- Аргументы и факты, 19.04.2014, <http://www.aif.ru/politics/opinion/1151560> [Доступ 21 V 2015].
- Аргументы и факты, 20.08.2014, <http://www.aif.ru/society/opinion/1320505> [Доступ 21 V 2015].
- Известия, 13.08.2013, <http://izvestia.ru/news/555382> [Доступ 21 V 2015].
- Известия, 5.09.2013, <http://izvestia.ru/news/556543> [Доступ 21 V 2015].
- Известия, 12.09.2014, <http://izvestia.ru/news/576663> [Доступ 21 V 2015].
- Известия, 13.04.2015, <http://izvestia.ru/news/585087> [Доступ 21 V 2015].
- Комсомольская правда, 29.10.2010, <http://www.msk.kp.ru/daily/24583/753137/> [Доступ 21 V 2015].
- Комсомольская правда, 28.02.2012, <http://www.msk.kp.ru/daily/25842/2814063/> [Доступ 21 V 2015].
- Московский комсомолец, 5.12.2012, <http://kras.mk.ru/articles/2012/12/05/783167-medvedi-i-balagan.html> [Доступ 21 V 2015].
- Московский комсомолец, 12.05.2013, <http://www.mk.ru/politics/2013/05/12/852699-kak-prezident-obelsya-ministrami-ili-politpeyzazh-posle-uhoda-curkova.html> [Доступ 21 V 2015].
- Московский комсомолец, 23.10.2013, <http://eburg.mk.ru/article/2013/10/23/934906-pervyyi-i-posledniy.html> [Доступ 21 V 2015].
- Московский комсомолец, 23.12.2014, <http://cheb.mk.ru/articles/2014/12/23/chuvashskie-deputaty-chistyat-ryady-i-deformiruyut-mestnoe-samoupravlenie.html> [Доступ 21 V 2015].
- Московский комсомолец, 1.03.2015, <http://www.mk.ru/politics/2015/03/01/vystrel-v-rossiyu.html> [Доступ 21 V 2015].
- Московский комсомолец, 6.05.2015, <http://chel.mk.ru/articles/2015/05/06/pervomayskoe-politicheskoe-shou-zastavlyayet-delat-vybor-v-polzu-truda.html> [Доступ 21 V 2015].
- Московский комсомолец, 20.05.2015, <http://www.mk.ru/politics/2015/05/20/duma-bez-ognya-ne-byvaet-shou-s-dosrochnym-rospuskom.html> [Доступ 21 V 2015].

Summary

METAPHORICAL TRANSFER IN MODERN RUSSIAN POLITICAL DISCOURSE (PRIMARY FIELD "THEATRE")

Metaphorical transfer (primary field "Theatre") is one of the productive ways for creating new meanings of lexical units, used in modern Russian political discourse. The lexical material collected by the author (press articles from 4 Russian newspapers) demonstrates that this phenomenon may be connected with a strong impact on the receiver's emotions. The analyzed lexical units may create a negative image of the political world in the receiver's mind. Politicians' activity is shown as something unserious or even funny, rather than real work for the community.

Kontakt z Autorem:
rszymula@interia.pl

Светлана Ваулина
Екатерина Магдалинская

МОДАЛЬНОСТЬ НЕОБХОДИМОСТИ КАК СМЫСЛОВАЯ ОСНОВА ТЕКСТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ

Key words: modal means of expressing necessity, official style, modal modifiers, explicators of modal signification of necessity, comparative analysis.

Модальность необходимости, являясь одним из структурно-содержательных компонентов функционально-семантической категории модальности «обозначает отношения, устанавливаемые между субъектом и содержанием высказывания, которое мыслится как необходимое под влиянием разнообразных факторов: социальных норм, обстоятельств, жизненных законов и др.» [*Теория функциональной грамматики* 1996, 142-143]. Как замечает Е. Загородская, «концептуальное значение необходимости – неизбежность, обязательность реализации какого-либо действия – получает специфическое звучание в каждом конкретном высказывании» [Загородская 2001, 213]. Именно поэтому анализ конкретных типовых структур, служащих актуализации модального значения необходимости, дает возможность определить разнообразие смысловых оттенков необходимости и языковых средств их выражения.

Модальное значение необходимости реализуется в ситуациях, при которых «перед субъектом стоит проблема не выбора, а, скорее, согласования собственной воли с «волей» объективных обстоятельств, не позволяющих ему проявлять инициативу, направляющих его деятельность в строго определенное (единственно возможное) русло» [Кочеткова 1998, 15]. Таким образом, в большинстве своем условия, устанавливающие соответствующие связи субъекта и действия, определяются какими-либо общественными, юридически оформленными законами, что наиболее ярко реализуется в текстах официально-делового характера.

Официально-деловой текст «направлен на создание прагматического эффекта, определяемого как специфический вид воздействия, заключающийся в побуждении

адресата к совершению определенного действия» [Комлева 2003, 5], а также передает «определенные нормы поведения, рекомендации и запреты», «воплощает волеизъявление законодателя в языке» [Сологуб 2009, 226]. При этом многими исследователями неоднократно отмечалось, что смысловой основой текстов официально-делового стиля является именно модальность необходимости [Гребнева 2004; Комарова 2000; Руберт 1996]. Ряд польских лингвистов также указывает на особую роль модального значения необходимости в официально-деловых документах [Grzelak 2010; Ziemiński 1994; Wronkowska, Ziemiński 2001].

Среди языковых средств, эксплицирующих модальность необходимости в официально-деловых текстах русского и польского языков, выделяется широкий пласт лексических модификаторов, выступающих в сочетании с зависимым инфинитивом. В русском языке это безличные глаголы *следует*, *надлежит*, *рекомендуется*, прилагательные *должен*, *обязан*, предикативное наречие *необходимо*, глагольно-именные сочетания с лексемой *необходимость*. В польском языке модальное значение необходимости реализуется с помощью глагола *zaleca*, безличного глагола *należy*, прилагательного *powinien*, страдательного причастия (*z*)*obowiązany*, глагольно-именных сочетаний с лексемой *konieczność*.

Примеры реализаций модального значения необходимости, выявленные нами путем сплошной выборки из официально-деловых документов в русском и польском языках, показали, что в русских текстах наиболее регулярно представлены прилагательное *должен*, представленное в толковых словарях в значении 'обязан делать что-л., обладать каким-л. качеством', 'вынужден, принужден' (МАС)¹, и глагол *следует* 'нужно, должно, полагается' (МАС) как экспликатеры частного модального значения вынужденности, а в польских текстах наиболее продуктивными являются прилагательное *powinien* 'быть обязанным, быть должным выполнить что-либо' (SJP) и безличный глагол *należy* 'нужно, должно, стоит, подобает' (Sł. Doroszewskiego), также реализующие частное значение 'быть вынужденным выполнить действие' и эквивалентные вышеуказанным русским экспликаторам.

Следует отметить, что русское прилагательное *должен* и польское *powinien* исторически связаны с представлением о общественно-правовых отношениях. Так, например, *должен* образован от существительного *долг*, в семантической же структуре «однокоренных слов в кельтских языках значение 'долг', как указывает Л. Дронова, коррелирует со значением 'закон', 'право', т. е. здесь в понятии долга акцентируется правовая регламентация аспекта социальных отношений» [Дронова 2008, 274]. Э. Хорынь, рассматривая существительное *powinność*, однокоренное с *powinien*, указывает, что оно «относится к самому древнему слою польского языка» и «было связано с общественными отношениями» [Ногуй 2009, 65]. Л. Дронова, также отмечая архаичность польской лексики *powinien*, обращает внимание на то, что данное прилагательное синкретично выражает не только понятие 'поступок, вина', но и 'ответственность за поступок' [Дронова 2008, 266].

¹ Полные названия словарей даются в конце статьи.

В современных официально-деловых текстах русского и польского языков прилагательные *должен* и *powinien* в сочетании с инфинитивом актуализируют значение вынужденности, связанной с обязательностью выполнения общепринятых законов юридического характера. Например: «Если несовершеннолетний состоял или состоит на учете в психоневрологическом диспансере либо материалы в отношении его рассматривались комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, суд *должен* при наличии к тому оснований *решить* вопрос об их явке» (РГ, 11.02.11)²; «Суды *не должны назначать* уголовное наказание несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных статьей 90 УК РФ» (Там же); «*Правопреемник* аккредитованного лица *должен соответствовать* критериям аккредитации, в установленные настоящим Федеральным законом сроки проходить процедуру подтверждения компетентности, соблюдать иные требования законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации» (РГ, 28.12.13). – «W piśmie *powinien wskazać*, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody» (DU, 27.10.2010); «*Podmiot upoważniony oraz występujący o upoważnienie powinien*: 1) *posiada* kadre techniczną zapewniającą prawidłowy nadzór nad jachtami morskimi oraz zdolność podmiotu do doskonalenia i rozwoju przepisów technicznych i zasad nadzoru technicznego» (DU, 20.01.12); «Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednak *pełnomocnik powinien powołać się* na pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87» (DU, 16.09.11).

Своеобразие безличных предложений, в целом характерных для официально-деловых текстов, проявляется «в отвлечении действия от деятеля, признака от его носителя» [Бабайцева 2004, 74]. Частотное употребление безличных глаголов *следует* и *нależy* в русских и польских официально-деловых документах соответственно позволяет объективировать высказывание, подчеркнуть его нейтральность и безэмоциональность. Ср.: «Судам *следует иметь в виду*, что статья 425 УПК РФ предусматривает обязательное участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого...» (РГ, 11.02.11); «При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду *следует исходить* из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица» (Там же); «*Следует иметь в виду*, что компенсация морального вреда в порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не предусмотрена» (РГ, 18.03.11). – «Na drugiej stronie legitymacji *należy umieścić* wyraz „Duplikat”, a na dole trzeciej strony dodać wyrazy „oryginał podpisał” i wymienić ministra...» (DU, 19.01.12);

² Полные названия источников даются в конце статьи.

«Jeżeli dane o karalności podejrzanego pochodzą sprzed 6 miesięcy, *należy zażądać* ich ponownie» (DU, 03.01.12); «Dane o osobie podejrzanego, o których mowa w art. 213 § 1–2a k.p.k., *należy ustalić* niezwłocznie po wydaniu w stosunku do niego postanowienia o przedstawieniu zarzutów albo po postawieniu mu zarzutu bez wydania takiego postanowienia w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego» (DU, 02.01.12).

С польским безличным глаголом *należy* в функционально-семантическом отношении соотносится также русский безличный глагол *надлежит* ‘должно, нужно, следует’ (MAC), имеющий, однако, более высокую степень обigatorности и отчетливо выраженный книжный, официальный оттенок. Ср.: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, судам в соответствии с требованиями части 3 статьи 1 УПК РФ *надлежит применять* правила международного договора» (РГ, 11.02.11); «При неявке законного представителя в судебное заседание *надлежит выяснять* причины и при наличии к тому оснований привлекать к участию в деле в качестве законных представителей других лиц из числа указанных в пункте 12 статьи 5 УПК РФ» (Там же); «При этом *надлежит учитывать*, что действие пункта 11 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ в 2003 году было приостановлено Федеральным законом от 8 февраля 2003 г. N 25-ФЗ “О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2003 год”» (РГ, 18.03.11).

Глагольно-именные сочетания с существительным *необходимость* ‘надобность, потребность, нужда в ком-, чем-л.’ (MAC) в русском языке, а также глагольно-именные обороты с существительным *konieczność* ‘то, что необходимо, нужно, неизбежно’ (SJP) в польском языке способны актуализировать частное значение необходимости ‘потребность в совершении действия’. Например: «Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно *отпала необходимость*, что осознавалось оборонявшимся лицом» (РГ, 03.10.12); «Специализация судей по делам несовершеннолетних *предусматривает необходимость обеспечения* их профессиональной компетентности путем обучения и переподготовки...» (РГ, 11.02.11); «В случае, если в заявлении об аккредитации *указывается на необходимость предоставления* аттестата аккредитации в форме электронного документа, национальный орган по аккредитации направляет заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления» (РГ, 31.12.13). – «Minister Sprawiedliwości *określi*, w drodze rozporządzenia, wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając odległość miejsca zamieszkania od miejsca pełnienia służby, *konieczność zachowania* rocznego i maksymalnego limitu wydatków...» (DU, 22.12.11); «Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń..., uwzględniając stan finansów publicznych państwa,

konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz źródło finansowania zwiększenia wielkości wynagrodzeń» (Там же); «W przypadku gdy w rubryce 3, 4, 7 lub w podrubryce 1 lub 2 rubryki 7 *zachodzi konieczność wpisania* więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce» (DU, 30.11.11).

Частное модальное значение необходимости 'быть вынужденным выполнить действие' в официально-деловых текстах эксплицируют отпричастное прилагательное *обязан* 'имеющий что-л. своей обязанностью, долгом' (MAC) в русском языке и страдательное причастие (*z*)*obowiązany* 'имеющий обязанность, долг сделать что-л.' (Sł. Doroszewskiego) в польском языке. Известно, что «эффективность правовой коммуникации во многом зависит от того, насколько правильно в языковом отношении выражена воля законодателя» [Яблонский 1999, 3], поэтому регулярное использование модификаторов *обязан* и (*z*)*obowiązany*, имеющих высокую степень облигаторности, в русских и польских официально-деловых документах представляется вполне закономерным. Ср.: «Федеральная служба по интеллектуальной собственности *обязана выдавать* предписания заказчикам (исполнителям) об устранении выявленных в ходе проверки нарушений обязательных требований» (РГ, 01.02.12); «В этих целях суд *обязан известить* о времени и месте рассмотрения дела в отношении несовершеннолетнего подсудимого предприятие, учреждение и организацию, в которых учился или работал несовершеннолетний...» (Там же); «При этом объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, если в соответствии с гражданско-правовым договором *страхователь обязан уплачивать* страховщику страховые взносы» (РГ, 18.02.11). – «W razie odnalezienia legitymacji służbowej *funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić* ją do komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach kadrowych, podając w meldunku okoliczności odnalezienia legitymacji» (DU, 08.12.08); «*Funkcjonariusz jest obowiązany do składania* kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia o każdej zmianie miejsca zamieszkania» (DU, 23.12.11); «W przypadku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego podmiotu, który na podstawie odrębnych przepisów ma obowiązek składania wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, *wnioskodawca, po uzyskaniu numeru REGON, jest obowiązany złożyć* wniosek w przedmiocie wpisu numeru REGON» (DU, 30.11.11).

Безличная глагольная форма *рекомендуется*, образованная от личного глагола *рекомендовать* 'советовать (посоветовать)' (MAC), сообщает о необходимости выполнения действия, однако характеризуется достаточно невысокой степенью облигаторности. Официально-деловые тексты, как отмечает И. Руберт, «соответствуют идее сознательной регуляции поведения адресата посредством письменного слова» [Руберт 1996, 102], в данном случае с помощью модификатора *рекомендуется* действие субъекта не четко регламентируется, а понимается как желательное. Таким образом, модификатор *рекомендуется* актуализирует реализацию совмещенного

модального значения необходимости и желательности. В польском языке его эквивалентом выступает безличная форма глагола *zalecać* 'советовать выполнение чего-л., давать распоряжение, поручение' (Sł. Doroszewskiego), который также имеет невысокую степень облигаторности. При этом следует отметить, что в польском языке более регулярно модификатор *zaleca się* выступает в сочетании не с инфинитивом, а с отглагольными существительными. Ср.: «3.3. пункт 2.6.1.7. дополнить следующими абзацами: в целях профилактики переутомления и поддержания работоспособности обучающихся *рекомендуется организовывать* плотность учебных занятий в пределах 60% – 80% учебного времени, с использованием наглядных пособий, технических средств обучения, самостоятельной работы» (ПГ, 18.11.09); «В структуре Кабинета (Отделения) *рекомендуется предусматривать*: помещение для приема больных; помещения для выполнения диагностических и лечебных мероприятий» (ПГ, 04.02.11); «В целях определения типа государственного (муниципального) учреждения (оценки целесообразности принятия решения об изменении типа государственного (муниципального) учреждения): *рекомендуется применять* дополнительные критерии, основанные на учете экономического и управленческого потенциала государственного (муниципального) учреждения (ПГ, 14.01.11); – «*Zaleca się stosować* glebę o następującej charakterystyce: zawartość piasku nie mniej niż 50% i nie więcej niż 75% ...» (DU, 22.12.05); «*Zaleca się wypełnienie* niniejszego kwestionariusza postępowania audytowego w formie elektronicznej i złożenie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwego miejscowo organu Służby Celnej» (DU, 31.01.13); «Znak należy umieszczać na tle, które umożliwi stosowanie znaku w powyższych wariantach kolorystycznych. *Zaleca się umieszczanie* znaku na tle w kolorze białym lub w jasnych odcieniach innych kolorów» (DU, 16.06.10).

Особо следует отметить специфику модального функционирования русского предикативного наречия *необходимо* 'требуется, надлежит' (MAC), которое характеризуется довольно емкой семантикой и регулярностью употребления в официально-деловых текстах. Например: «*Необходимо сохранять* дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки» (ПГ, 20.01.12); «При этом *необходимо выяснять* наличие для этого фактических оснований, определенных в общих нормах – в статье 79 УК РФ и статье 175 УИК РФ» (ПГ, 11.02.11); «В связи с этим при установлении факта вовлечения его в совершение преступления взрослыми лицами для оценки этого обстоятельства в качестве смягчающего *необходимо принимать во внимание* характер применяемого к несовершеннолетнему принуждения» (Там же). Широкий семантический объем данного наречия в некоторой степени покрывается польским модификатором *trzeba*. Например: «Należy jednak mieć na uwadze, że niektórym uczniom *trzeba udzielić* adekwatnej do ich potrzeb pomocy, żeby mogli sprostać wymaganiom określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego» (DU, 18.06.14); «W sali lekcyjnej powinny być kąciki przyrody. Jeżeli w szkole nie ma warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwierząt, *trzeba organizować* dzieciom zajęcia w ogrodzie

botanicznym, w gospodarstwie rolnym itp.» (Там же); «Myśląc o torze jazdy przyczepy, *trzeba sobie uświadomić*, że tor jazdy przyczepy wyznacza położenie haka holowniczego» (DU, 14.09.12). При этом следует отметить, что данный модификатор в официально-деловых документах употребляется довольно нерегулярно, уступая место модификаторам с более высокой степенью облигаторности, например, *(z)obowiązany, powinien*. Ср.: «*Wytwórca powinien zatrudniać* odpowiednią liczbę pracowników z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem praktycznym» (DU, 17.11.13); «*Właściciel nieruchomości powinien* przy wykonywaniu swego prawa *powstrzymać się* od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych» (DU, 17.12.13); «*Organizator* od chwili udostępnienia warunków, a *oferent* od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu *są obowiązani postępować* zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu» (DU, 23.12.14); «Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa» (DU, 17.12.13).

Следует заметить, что в русских официально-деловых текстах, помимо лексических экспликаторов, значение необходимости способны актуализировать также инфинитивные предложения. Как отмечает И. Курилина, «отвлеченность от деятеля как одна из ключевых характеристик инфинитива обуславливает немалую частотность его употребления в языке официально-делового стиля» [Курилина 2013, 118]. Ср.: «В связи с внесением изменений в законодательство ... Пленум Верховного Суда Российской Федерации ... постановляет дать судам следующие разъяснения: 1. *Обратить внимание* судов, что в силу пункта 1 части 1 и части 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дела по спорам об установлении или отказе в установлении трудовой пенсии, о выплате указанной пенсии, об удержаниях из этой пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм такой пенсии, а также по иным спорам, связанным с назначением и выплатой трудовых пенсий, подведомственны судам общей юрисдикции» (РГ, 21.12.12); «*Внести* в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I “О занятости населения в Российской Федерации” следующие изменения: 1) в абзаце восьмом статьи 2 слово “федеральной” *исключить*; 2) в статье 6: а) в наименовании слова “Российской Федерации” *исключить*; б) пункт 1 *изложить* в следующей редакции...» (РГ, 11.12.07); «*Внести* в Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ “О рекламе” ... следующие изменения: 1) в статье 19: а) в части 1 первое предложение *изложить* в следующей редакции: ...; б) в части 5 четвертое предложение *исключить*, *дополнить* новыми пятым и шестым предложениями следующего содержания: ...» (РГ, 07.09.13).

При этом для официально-деловых текстов на польском языке инфинитивные предложения не характерны, поскольку аналогичные конструкции, как правило, передаются с помощью безличных предложений со сказуемым, выраженным третьим лицом единственного числа невозвратных глаголов с добавлением к ним возвратного местоимения, и выражают значение действительности. Ср.: «Art. 1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w art. 61 *dodaje się* ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów» (DU, 30.08.13); «Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego *wprowadza się* następujące zmiany: 1) w art. 3 uchyla się ust. 1; 2) po rozdziale 2 *dodaje się* rozdział 2a w brzmieniu: „Rozdział 2a Najem okazjonalny lokalu Art. 19a. 1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych...» (DU, 17.12.09).

В качестве польских функциональных аналогов инфинитивных предложений как актуализаторов значения необходимости в русском языке можно назвать конструкции с модальными модификаторами, из которых наиболее адекватным представляется экспликатор *należy*, ср.: «§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o: 1) ustawie – *należy* przez to *rozumieć* ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych; 2) książeczce paszportowej – *należy* przez to *rozumieć* blankietowy druk książeczki wyprodukowany przez producenta według wzoru dokumentu paszportowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy» (DU, 15.07.10).

Итак, проведенный анализ показал, что модальное значение необходимости, составляющее смысловую основу официально-деловых документов, реализуется как в русском, так и в польском языках с помощью широкого набора лексических экспликаторов, наиболее регулярными из которых являются прилагательное *должен*, безличный глагол *следует* в русском языке и прилагательное *powinien*, безличный глагол *należy* в польском. При этом в русских и польских официально-деловых документах наибольшей продуктивностью реализаций характеризуется частное значение необходимости ‘вынужденность, связанная с обязательностью выполнения общепринятых законов’, что обусловлено тематикой соответствующих документов, содержащих, прежде всего, материалы об общих нормах поведения, рекомендациях и запретах. К специфическим особенностям выражения значения необходимости в исследуемых языках следует отнести наличие экспликаторов, не имеющих прямых эквивалентов в соответствующем языке, например, русское предикативное наречие *необходимо*. К числу особенностей также относится употребление в русских официально-деловых документах инфинитивных предложений, выражающих модальное значение необходимости, которые, в свою очередь, не были зафиксированы нами в польских документах.

Библиография

- Бабайцева Вера В. 2004. Система односоставных предложений в современном русском языке. Москва: Издательство Дрофа.
- Ваулина Светлана С. 1993. Языковая модальность как функционально-семантическая категория (диахронический аспект). Калининград: Изд-во Калининградского университета.

- Гребнева Ольга В. 2004. *Модальность необходимости в законодательных текстах Европейского Союза: На материале немецкого и английского языков: Диссертация кандидата филологических наук*. Казань.
- Дронова Любовь П. 2008. *Когнитивный аспект истории модальности необходимости. В: Модальность в языке и речи: новые подходы к изучению*. Ред. Ваулина С.С. Калининград: Издательство РГУ им. И. Канта: 265-276.
- Загородская Елена А. 2001. *Модальность необходимости и ситуации необходимости в значении потребности (на материале французского языка)*. В: *Теоретические проблемы функциональной грамматики*. Санкт-Петербург: Издательство Наука: 213-220.
- Комарова Регина Н. 2000. *Язык закона: лингвистические характеристики (на материале текста Германского гражданского уложения): Автореферат диссертации кандидата филологических наук*. Санкт-Петербург.
- Комлева Елена В. 2003. *Лингвостилистические особенности выражения побудительности в текстах официально-деловой прозы (на материале современного немецкого языка): Диссертация кандидата филологических наук*. Санкт-Петербург.
- Кочеткова Ольга Л. 1998. *Средства выражения модальных значений возможности и необходимости в русском языке второй половины XVII – начала XVIII вв.: Автореферат диссертации кандидата филологических наук*. Тверь.
- Курилина Ирина И. 2013. *Инфинитивное предложение в деловом языке: сравнительно-сопоставительный аспект (на материале документов XVIII и XX–XXI веков)*. «Вестник Челябинского государственного университета» № 2 (293). Филология. Искусствоведение, Вып. 74. Челябинск: 118-119.
- Руберт Ирина Б. 1996. *Становление и развитие английских регулятивных текстов: Структурные, семантические, прагматические аспекты: Диссертация доктора филологических наук*. Санкт-Петербург.
- Сологуб Ольга П. 2009. *Официально-деловая коммуникация: сущность, внутреннее устройство, принципы функционирования. В: Университетская филология – образованию: регулятивная природа коммуникации. Часть I*. Барнаул: Издательство Алтайского университета: 224-228.
- Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность*. Ред. Бондарко А.В. Ленинград: Издательство Наука.
- Grzelak Joanna. 2010. *Polski język prawa w perspektywie glottodydaktycznej*. Praca doktorska. Poznań.
- Horyń Ewa. 2009. *Nazwy powinności i danin w XVI-XVIII w. (na materiale ksiąg sądowych wiejskich Jadownik, Maszkienic, Iwkowej i Uszwi)*. „Prace Językoznawcze” XI. Olsztyn: Wydawnictwo UWM: 64-79.
- Wronkowska Sławomira, Ziemiński Zygmunt. 2001. *Zarys teorii prawa*. Poznań.
- Ziemiński Zygmunt. 1994. *Logika praktyczna*. Warszawa: PWN.

Словари

- БПРС – Гессен Д., Стыпула Р. 1988. *Большой польско-русский словарь, в 2 т*. Москва: Издательство Русский язык; Варшава: Издательство Вєдза Пєвшєхна.
- MAC – *Словарь русского языка*. 1981-1984, в 4 т. Москва: Издательство Русский язык.
- SJP – *Słownik języka polskiego*. 2005. Red. Sobol E. Warszawa: PWN.
- Sł. Doroszewskiego – *Słownik języka polskiego*. 1958-1969. T. I-XI. Red. Doroszewski W. Warszawa: PWN.

Источники

- РГ – *Российская газета*, Москва: Издательство. ФГБУ «Редакция „Российской газеты”».
- DU – *Dziennik Ustaw*. Warszawa: Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Summary

MODAL MEANS OF EXPRESSING NECESSITY AS THE SENSE BASIS IN THE OFFICIAL STYLE TEXTS IN RUSSIAN AND POLISH

This article discusses in detail characteristic aspects of implementing modal signification of necessity as the sense basis in the official style documents and identifies the most frequently used explicators of this phenomenon. Moreover, these explicators' universal features are provided as well as intralingual peculiarities of their functioning. The research is based on the selection of official style texts from modern Russian and Polish newspapers.

Kontakt z Autorkami:

svaulina@mail.ru

e.magdalinskaya@mail.ru

LITERATUROZNAWSTWO I PRZEKŁADOZNAWSTWO

Nel Bielniak

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Zielonogórski

CYKL POLESKI ALEKSANDRA KUPRINA

Key words: Volhynian Polesye, educated person, hunting, nature, ethnography

Polesie, bytujące w powszechnej świadomości jako tajemnicza czy wręcz mityczna kraina historyczno-geograficzna, usytuowana w dorzeczu Prypeci i Bugu, poprzecinana setkami rzek i rzeczułek, obfitująca w nieprzebyte bory, bagna i moczary, nieraz było świadkiem krwawych nierzadko konfliktów społecznych, politycznych i narodowościowych [zob. Popiel 2005, 6-8]. Swoista pograniczność położenia Polesia przyczyniła się do trwającego wieki oddziaływania na rdzennych mieszkańców tych ziem obcych kultur: polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej.

Niemniej jednak właśnie ze względu na tę pograniczność Polesie i Poleszacy znaleźli się jednocześnie w centrum zainteresowania kilku literatur narodowych¹. W polskiej dziewiętnastowiecznej tradycji literackiej za sprawą między innymi poezji Wincentego Pola, Władysława Syrokomli oraz prozy Marii Rodziewiczówny i Józefa Weyssenhoffa ukształtował się zmitologizowany acz niejednorodny obraz Polesia. Twórcy ci przedstawiali dorzecze Prypeci i Bugu bądź jako krainę melancholijną, nastrojową i jednostajną, bądź widzieli w nim głównie ogromne połacie dzikiej puszczy, rozlewisk rzecznych, trzęsawisk, torfowisk i mszarów, bogatych w zwierzynę, ptactwo i ryby, z rzadka tylko poprządkanych dworkami lub siołami. Na tym tle wyróżnia się podróżopisarstwo Józefa

¹ Długą acz niepełną listę polskich książek, poruszających tematykę kresową, zawierającą zarówno memuary, biografie, literaturę faktu, jak i beletrystykę odnaleźć można na stronie internetowej http://literackiekresy.blogspot.com/p/lista-lektur-kresowych_8.html [Dostęp: 18 VI 2015]. Już sam ten spis dowodzi, jak wielką popularnością Kresy cieszą się wśród rodzimych badaczy, pisarzy i czytelników. Spośród białoruskich utworów o tematyce poleskiej wymienić można m.in. *Poleskich Robinsonów* (Полескія Рабінзоны, 1929) Janka Maura oraz *W poleskiej głuszy* (У глыбі Палесся, 1928) i *Dryhwę* (Дрыгва, 1933) Jakuba Kołasa. Różnie ujęte wątki poleskie występują także w twórczości pisarzy ukraińskich – w prozie Mykoły Olejnyka, poezji Ihora Pawluka i in. Szerzej na temat Polesia w literaturze ukraińskiej pisze w swoim artykule Iwan Bodnaruk, zob. Іван Боднарук, *Між двома світами. Вибрані статті про українських письменників*, <http://ukrlife.org/main/cxid/bodnaruk20.htm> [Dostęp: 20 VI 2015]. Jest też tematyka poleska częścią składową tzw. „tekstu wołyńskiego”, wymaga to jednak oddzielnego i wnikliwego omówienia [zob. Wasiljew 2013, 5-28].

Ignacego Kraszewskiego łączące cele poznawcze z artystycznymi. Jego *Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy* (1840) szczegółowo przybliżają historię miast i zamków, uwieczniają dawne zwyczaje i obyczaje ludowe, miejscowe legendy i podania oraz opisy strojów i sprzętów. Najistotniejsze wszakże jest to, konstatuje Stanisław Burkot, „że Kraszewski rejestruje codzienność, powszedniość kraju dobrze sobie znanego, bliskiego, że nie dziwi się odmiennością spotkanych rzeczy i zjawisk, stara się tylko utrwalić to, co istniało niejako obok, co było częścią sposobu bycia ludzi, ich kultury” [Burkot 1985, 12].

Próby dekonstrukcji kresowej mitologii podjęto w piśmiennictwie polskim w okresie międzywojnia. Zaowocowało to dualistycznym spojrzeniem na rdzennych mieszkańców Polesia. Zdaniem Anny Kiezuń, po stronie mitu pozostała przede wszystkim literatura piękna, tendencje zdecydowanie demitologizacyjne można było natomiast zaobserwować w tekstach o charakterze publicystycznym lub naukowym [Kiezuń 2014, 51-63]².

W dziewiętnastowiecznej literaturze rosyjskiej temat Polesia także znalazł należne mu miejsce. Dla przykładu Iwan Turgieniew napisał w 1857 roku nastrojowy utwór *Wyprawa na Polesie* (*Поездка в Полесье*) korespondujący z cyklem *Zapiski myśliwego* (*Записки охотника*, 1846-1874)³. Wyjazd na polowanie jest tu tylko pretekstem do poetyckiego przedstawienia dziewiczej przyrody, opisu wyglądu, obyczajów i mentalności miejscowych, a także filozoficznych rozważań o życiu i śmierci, o potędze natury i znikomości jednostki ludzkiej. Nawiązująca do tradycji autora *Asi* poleska legenda Władimira Korolenki *Las szumi* (*Лес шумит*, 1886) przynosi romantyczne postacie Kozaków, miejscowe podania i mistyczne obrazy natury, z kolei w opowiadaniu *Bez języka* (*Без языка*, 1895) harmonijny, sielski pejzaż z początkowych scen skonfrontowany zostaje przez autora *Snu Makara* z trudną sytuacją materialną mieszkańców Chlebną, zmuszającą ich do szukania lepszego życia za oceanem.

Śladami wybitnych poprzedników kroczył także tworzący na przełomie wieków Aleksandr Kuprin (1870-1938). Szeroko rozumiana poleska problematyka nie bez powodu pojawiła się na kartach jego utworów. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku podczas kilkuletnich wędrówek po kraju prozaik spędził bowiem kilka miesięcy w powiecie rówieńskim, gdzie sprawował funkcję zarządcy majątku. O tych wydarzeniach wspomina między innymi narrator opowiadania *Zapечатаные младенцы* (*Запечатанные младенцы*, 1915):

Мой приятель инженер попросил меня поехать к нему, на север Полесья, в деревню Казимирку, где у него было около двух тысяч десятин. Почему-то ему взбрела в голову

² A. Kiezuń omawia w swoim artykule trzy reprezentatywne dla okresu międzywojnia sposoby portretowania Poleszuka. Przykładem literacko-mitologizującego ujęcia jest powieść młodzieżowa Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego *W polskiej dżungli* (1935). Pozbawiony iluzji i mniej popularny obraz przeludnionego, zafocanego, biednego i trawionego chorobami Polesia, na którym polski nauczyciel, a szerzej inteligent, zawsze będzie traktowany jako obcy, ukazany został w *Liście z Polesia* autorstwa Jana Nowakowskiego, który został opublikowany w nr 3 kwartalnika „Marchoń” w 1936 roku. Natomiast Józefowi Obrębskiemu, etnografowi i antropologowi, podczas badań terenowych udało się – zdaniem badaczki – dzięki odrzuceniu własnych wyobrażeń o badanej kulturze przezwyciężyć zarówno mity literackie, jak i znieść granice „swój” – „obcy”.

³ Turgieniew zamierzał nawet włączyć *Wyprawę na Polesie* do cyklu *Zapiski myśliwego*. Stało się tak tylko raz w 1860 roku. Później utwór był publikowany oddzielnie. Zob. И. Тургенев, *Поездка в Полесье*, wersja elektroniczna: http://az.lib.ru/t/turgenev_i_s/text_0105.shtml [Dostęp: 11 VI 2015].

мысль о том, чтобы развить там табаководство. А в то время я был человек свободный, независимый, легкомысленный и подвижной. Поэтому, нагрузив чемодан семенами махорки-серебрянки и несколькими десятками брошюр, я отважно двинулся на это сомнительное предприятие [Куприн 1970-1973, VII, 14].

Nie bez znaczenia jest także zamiłowanie do polowań i spędzania czasu na łonie natury, któremu autor *Sulamitki* oddawał się przy każdej nadarzającej się okazji, także po przeprowadzce do stolicy, nierzadko kosztem zobowiązań wydawniczych. Znakomitą egzemplifikacją powyższej postawy będzie fragment listu do Fiodora Batuszkowa, który napisany został przez Kuprina w majątku Daniłowskoje należącym do redaktora czasopisma „Mir Bożyj” («Мир Божий»), dokąd prozaik udał się wiosną 1906 roku, by w spokoju pracować. 18 maja tego roku autor *Poedyńku* pisał:

Вчера я ездил в Высокий лес с управляющим. Там чудесно. Миллиарды ландышей. Огромные кулики, каких я никогда в жизни не видал. Они даже парят в воздухе, держа крылья неподвижно несколько секунд. Говорят, есть там также рябчики, тетерева, бекасы и утки. Я с лесником Иваном уже подружился [*Письма А.И. Куприна к Ф.Д. Батюшкову...* 1963, 153].

Pierwsze utwory wchodzące w skład tzw. cyklu poleskiego zostały napisane już w 1898 roku, gdy nagromadzone przez prozaika wrażenia były świeże, a przechowywane w pamięci obrazy wyraziste i intensywne. W tym samym roku w 9 numerze miesięcznika „Russkoje bogatstwo” («Русское богатство») ukazało się opowiadanie *W głuszy leśnej* (*Лесная глушь*, 1898) z podtytułem *1. Досвѣток*, sugerującym zamiar napisania przez Kuprina kilku utworów opartych na materiale poleskim. Kilka tygodni później w gazecie „Kijewlanin” («Киевлянин») od 30 października do 17 listopada w odcinkach publikowany był najbardziej znany, poczytny i przyciągający uwagę badaczy oraz twórców filmowych utwór z tego cyklu, a mianowicie mikropowieść *Olesia* (*Олеся*, 1898)⁴. W sierpniu następnego roku w tej samej gazecie pojawił się szkic *Na głuszcze* (*На глухареи*, 1899). Natomiast nieco później powstały opowiadania *Srebrny wilk* (*Серебряный волк*, 1901; pierwotnie utwór ten nosił tytuł *Оборотень*) i *Koniokrady* (*Конокрады*, 1903). Pierwszy utwór ukazał się w gazecie „Odesskije nowosti” («Одесские новости») w marcu 1901 roku, drugi zaś – w listopadzie 1903 roku w czasopiśmie „Russkoje bogatstwo”. Co istotne, poleskie impresje odnaleźć można również w innych utworach prozaika, czego świadectwem jest wzmiankowane opowiadanie *Zapieczętowane dzieci*. Po wątki poleskie sięga pisarz także podczas emigracji. Jednym z takich utworów, składającym się w głównej mierze z autocytatów, jest opublikowane w 1930 roku

⁴ Mikropowieść *Olesia* została przeniesiona na ekran trzy razy, dwa razy w ojczyźnie pisarza, raz natomiast poza granicami Rosji. Pierwsza rosyjska ekranizacja powstała już w 1915 roku w czasach kina niemego, ostatnia zaś, będąca wierną adaptacją tekstu, została zrealizowana w Związku Radzieckim w 1971 roku. Natomiast w 1956 roku ukazała się odbiegająca od oryginału francusko-włosko-szwedzka koprodukcja zatytułowana *La Sorciere* (*Колдунья*), w której główną rolę kobiecą zagrała Marina Vlady. Równie chętnie poddają *Olesię* analizie badacze. Przytoczmy tu kilka tylko przykładów prac zgłębiających mikropowieść z różnych punktów widzenia: [Kachniewski 1983, 99-108; Szymonik 1989, 73-83; Szymonik 2000, 378-381; Шимоник 2009, 489-495; Szymonik 2012, 185-198; Юркина 1997, 24-35 i in.]. W niektórych z wymienionych pozycji uwagę badaczy przykuwają również pozostałe utwory cyklu poleskiego.

opowiadanie *Ferdynand* (Фердинанд, 1930). Bliskie cyklowi poleskiemu stylistycznie i tematycznie są również pochodzące z tego okresu opowiadania *Noc w lesie* (Ночь в лесу, 1931) i *Słonki* (Вальдишны, 1933).

Warto w tym miejscu dodać, że polscy czytelnicy mogli zaznajomić się z trzema pierwszymi utworami cyklu poleskiego w polskiej wersji językowej już na początku XX wieku. Mikropowieść *Olesia*, idealizująca, jak odnotowuje Franciszek Sielicki, życie w leśnych ostępach na egzotycznym, a bliskim Polakom Polesiu, została przełożona i wydana w 1907 roku, utwór *Na głuszcze* – w 1910 roku, natomiast opowiadanie *W głuszy leśnej* – w roku 1913 [Sielicki 1996, 85-88].

Wspólnym elementem cyklu przedstawiającego życie na Polesiu Wołyńskim jest postać narratora. Jest to zawsze (za wyjątkiem opowiadania *Koniokrady*) inteligent, wrażliwy na przejawy przyrody myśliwy, który przybywa z miasta do poleskiej głuszy. Otaczająca rzeczywistość, na którą składają się zarówno pierwotna natura, jak i byt Poleszuków, zostaje przefiltrowana przez percepcję bohatera i poddana procesowi poetyzacji. Kuprin, zafascynowany miejscowymi realiami, potęgującymi doznania sensualne i rozbudzającymi imaginację, nie ustrzegł się bowiem tendencji mitologizacyjnych. Nie oznacza to bynajmniej, że nie dostrzegał on zjawisk negatywnych. Niemniej jednak na pierwszy plan wysuwa się niezmiennie tajemnicza puszcza poleska, w której drzeźmią pierwotne siły, skłaniająca narratora do rozważań egzystencjalnych, do rozmyślań o miejscu jednostki we wszechświecie lub o związku człowieka z naturą [zob. Bielniak 2012, 83-92].

Zimowa, wiosenna i letnia przyroda uchwycona została w cyklu poleskim o każdej porze dnia i nocy, we wszystkich niuansach odcieni, faktur, gry światła, zapachów i dźwięków. Zauważmy tu, iż owa heterogeniczność zmysłowego doświadczania świata nie tylko jest typowa dla całej twórczości Kuprina, lecz jest także istotnym elementem percypowania świata przez samego pisarza [zob. Bielniak 2014, 125-136; Юркина 1997, 28-30; Kachniewski 1983, 105; Szymonik 1989, 77; Чуковский 1997, 154]. Stąd mnogość przesyconych zmysłowymi doznaniem sugestywnych i plastycznych opisów niemalże ewokujących dotyk, barwy, odgłosy czy aromaty. Tak narrator opowiadania *W głuszy leśnej* postrzega budzący się ze snu poleski bór:

Прямо передо мною тянулись ровные серые широкие грядки прошлогодней нивы (в борозду между этими грядами я все и проваливался, когда шел за Талимоном). Восток уже начал розоветь. Деревья и кусты вырисовывались бледными, неясными, однотонными пятнами. К смолистому крепкому запаху сосновых ветвей, из которых была сделана моя будка, приятно примешивался запах утренней сыроватой свежести. Пахла и молодая травка, серая от росы...

Где-то очень близко – мне показалось, что над самой моей головой, – робко чирикнула птичка, ей ответила другая, третья... [Куприн 1970-1973, II, 307]

Wykorzystane w tym *passusie* słowo-klucz „plama”, często pojawiające się w Kuprinowskich opisach przyrody, nieprzypadkowo odsyła nas do impresjonistycznych technik malarskich. Jego narrator-bohater ogląda bowiem świat przez pryzmat subiektywnego wrażenia, rejestruje ulotność doznań, skupia się na efemerycznych zjawiskach

przyrodniczych takich jak brzask, zmrok, wzejście księżycy czy nieodłączny atrybut poleskiego pejzażu – mgły snujące się nieprzerwanie nad trzęsawiskami. Taki sztafaż uzupełnia prozaik nierzadko leksyką jakby wprost przeniesioną z atelier malarza (кисть, тушь, штрих, рисовать, фон, силуэт, оттенок), co intensyfikuje skojarzenia z estetyką impresjonizmu:

Теплый безветренный день угас. Только далеко на горизонте, в том месте, где зашло солнце, небо еще рдело багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной кисти, омоченной в кровь. На этом странном и грозном фоне зубчатая стена казенного хвойного леса отчетливо рисовалась грубым, темным силуэтом, а кое-где торчавшие над ней прозрачные круглые верхушки голых берез, казалось, были нарисованы на небе легкими штрихами нежной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблеск гаснущего заката незаметно для глаз переходил в слабый оттенок выцветшей бирюзы... Воздух уже потемнел, и в нем выделялся ствол каждого дерева, каждая веточка, с той мягкой и приятной ясностью, которую можно наблюдать только раннею весной, по вечерам [Куприн 1970-1973, II, 291].

Cichy ton lirycznej zadumy i malarskie widzenie rzeczywistości, do których ma inklinację Kuprinowski myśliwy, nie przesłaniają mu bardziej przyziemnych stron otaczającego świata. Krajoznawczo-etnograficzne wędrówki przez niedostępne, rzadko odwiedzane tereny, gdzie zdaje się trwać zastygły przed wiekami kształt świata, skłaniają go także do innego rodzaju konstatacji. Z upodobaniem obserwuje on poleską faunę i florę, na której różnorodność i bujność zwracali uwagę między innymi autor *Starej baśni* i Antoni Ferdynand Ossendowski w pozycjach, które dzieli niemal dziesięć dekad, ujęcie tematu i gatunek literacki [Kraszewski 1985, 76, 116; Ossendowski 2010, 50]⁵.

Na kartach utworów składających się na omawiany cykl koegzystuje nieprzebrane bogactwo różnych gatunków ptaków, zwierząt i owadów. Na poleskich łąkach, bagnach i w dzikich ostępach spotykać można łosie, dziki, wilki i zające. Nie są rzadkością głuszce, cietrzewie, kaczki, derkacze, bekasy, myszołowy, dziecięły czarne czy turkawki, a spośród mniejszych mieszkańców – żaby, ropuchy, chrząszcze. W tym łowieckim raju bohaterowie chętnie spędzają czas na polowaniach, głównie na zające (*Olesia*), cietrzewie (*W głuszy leśnej*) i głuszce (*Na głuszcze*). Wyjątkowo silne emocje tak wśród przyjezdnych, jak i ich miejscowych przewodników budzi polowanie na głuszce. Narrator szkicu *Na głuszcze* w następujący sposób opisuje towarzyszące mu wzniosłe, niemalże metafizyczne odczucia:

Я не могу себе представить, какие ощущения в мире могут сравниться с тем, что испытываешь на глухарной охоте. В ней так много неожиданного, волнующего, таинственного, трудного и прелестного, что этих впечатлений не забудешь никогда в жизни [Куприн 1970-1973, II, 405].

Poleszucy, zdaniem Ossendowskiego, w podobny sposób odnoszą się do łowów na tego tajemniczego mieszkańca puszczy. „Wyjątkowo pociągającą Poleszuka zwierzyną” – odnotowuje w swojej monografii podróżnik – „stokroć bardziej ponętną niżli bóbr,

⁵ Monografia krajoznawcza Ossendowskiego, kształtująca wizerunek Polesia, po raz pierwszy ukazała się w 1934 roku poznańskiej serii *Cuda Polski* Ryszarda Wagnera, popularyzującej regiony atrakcyjne turystycznie.

łoś, kuna, stał się z niezrozumiałych i jakichś wprost mistycznych powodów czarny, o lazurowo-zielonym połysku głuszcę [Ossendowski 2010, 120]!”

Przejawem pasji łowieckiej Kuprinowskich bohaterów są także portrety głuszców i cietrzewi na tokowisku, rysowane z lubością z najdrobniejszymi detalami, uwzględniającymi barwę upierzenia, charakterystyczne zachowanie i odgłosy. Głośny łopot mocnych skrzydeł poprzedza lądowanie cietrzewia, którego obserwuje znajdujący się nieopodal narrator opowiadania *W głuszy leśnej*:

Весь черный, с красными, мясистыми бровями и коротким острым клювом, он стоял неподвижно, как каменный, показываясь мне всем своим стройным, красивым профилем. Его блестящий черный глазок тревожно и зорко заглядывал в будку. Я затаил дыхание и замер, не отводя от него глаз. Но тетерев уже заметил меня. Он вдруг поднялся и, громко хлопая крыльями, полетел низко над землею [Куприн 1970-1973, II, 307].

Nadmieńmy, iż nie tylko wolno żyjące zwierzęta przyciągają uwagę bohaterów. Potrafią oni dostrzec i docenić swoiste piękno lokalnych zwierząt domowych. Zarówno narrator szkicu *Na głuszcze*, jak i opowiadania *Srebrny wilk* podziwiają wytrzymałość drobnych, kudłatych i zwinnych poleskich koni, nieustępliwie pokonujących kręte, wąskie i grzaskie leśne dukty.

Posepny niekiedy i zdawać by się mogło monotonny poleski krajobraz odznacza się także dużym zróżnicowaniem. W głębi boru królują majestatyczne, strzeliste sosny, które na skraju lasu wypierane są przez brzozy, olchy, wierzy, osiki oraz zarośla wikliny, krzaki jałowca i głogu, akweny pokrywają kielichy lilii wodnych, przy drogach zaś rosną liliowe sasanki. W takim środowisku kształtuje się mentalność rdzennych mieszkańców, postrzeganych przez Ossendowskiego jako „osobliwy typ człowieka bagien i puszczy, pełnej zdradzieckich trzęsawisk”. Polski pisarz i podróżnik, kreśląc krzywdzący w dużej mierze portret mieszkańców tej krainy, wielokrotnie akcentuje, że to nieprzychylny los i ciągła walka o byt zmusiły Poleszuków do nieufności, ukształtowały typ małomównego, biernego, wylęknionego, zabobonnego, niechętnego przybyszom czy wręcz mściwego i zawziętego drapieżcy o morderczych instynktach [Ossendowski 2010, 25, 33, 94, 99, 199]⁶.

Z lektury Kuprinowskiego cyklu wyłania się zgoła odmienna sylwetka Poleszuka. Wprawdzie niektóre ze wspomnianych wyżej cech występują również w opisach jego bohaterów, niemniej jednak ogólne wrażenie jest inne. Prozaik skupia się głównie na postaciach myśliwych, którzy, w jego przekonaniu, uosabiają bliską mu nieokiełznaną, pierwotną naturę, dlatego też mamy tu do czynienia z zabiegiem idealizacji, co nie wyklucza obiektywnej prezentacji rzeczywistości. Pisarz podkreśla bowiem, że Jarmola z *Olesi*, Trofim ze szkicu *Na głuszcze* czy posterunkowy Kirila i Talimon z opowiadania *W głuszy leśnej* to beztroscy, lubiący wypić lenie, włóczędzy, słabi gospodarze

⁶ Współczesny Ossendowskiemu wybitny polski badacz Polesia, Józef Obrębski, bardzo krytycznie ocenia monografię popularnego w owym czasie pisarza. Obrębski dobitnie oświadcza: „nie przejmuję mnie entuzjazmem sylwetka Poleszuka sfingowana przez profesora Ossendowskiego”, nieco dalej dodaje w podobnym tonie: „Niesumienne obserwacja, nonszalanckie lekceważenie źródeł, którymi się posługuje, wprowadzanie w błąd, błaga reporterska – to są cechy niestety zbyt często spotykane w książce” [Obrębski 2007, 441].

i kłusownicy. Oczywiście każdy z bohaterów ma cechy indywidualne: Kirila jest hałaśliwy i gadatliwy, Trofim jest nieokrzesanym samochwałą, natomiast Jarmola jest nieufny i skryty, podobnie jak Talimon, który odznacza się ponadto nieśmiałością, ustępliwością, chętnie bierze na siebie obowiązki innych i nigdy nie mówi o ludziach źle. Jego małowówność znika jedynie nocną porą, gdy w głębi lasu snuje przy ognisku zajmujące i barwne miejscowe opowieści. Zdaniem narratora, życie w leśnej głuszy odcisnęło swoje piętno na usposobieniu i powierzchowności Talimona:

Он невысок ростом, поджар и очень ловок в движениях. Все его лицо от самых глаз заросло волосами; черные усы сливаются с черной бородой, короткой, но чрезвычайно густой и жесткой. Под широкими черными бровями глубоко сидят большие круглые черные глаза, которые смотрят сурово, недоверчиво и немного испуганно: я это странное выражение не раз подмечал у людей, проводящих большую часть жизни в лесу. Голос у Талимона глуховатый, носового тембра, не лишенный приятности, но говорит он редко и мало, – тоже как все лесные люди. Смеется он еще реже, но зато улыбка совершенно изменяет его лицо: оно вдруг становится таким ласковым и добродушным, что на него просто залюбуешься [Куприн 1970-1973, II, 289].

W ujęciu Kuprina wartością nadrzędną są jednak doskonale umiejętności łowieckie bohaterów: celne oko, pewna ręka, bezszelestny chód, niezwykle czuły słuch, wzrok i węch, świetna orientacja w terenie, znajomość miejsc bytowania zwierzyny i wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Zamiłowanie do polowań, wspólna cecha Kuprinowskich inteligentów i Poleszuków, odgrywa tu niezwykle istotną rolę, znosi bowiem do pewnego stopnia barierę dzielącą te dwa światy. Miejscowi chłopci są zamknięci, niedostępni, mówią własnym językiem, a jedyny kontakt z przybyszami, na jaki sobie pozwalają, to zdjęcie czapki i przywitanie: „Гай быг” oraz zwyczaj całowania rąk osobom wyżej postawionym. Ten napawający narratora *Olesi* obrzydzeniem nawyk jest, w jego przekonaniu, śladem niechlubnej historii, wielu wieków poddaństwa (są to, rzecz jasna, aluzje do polskiego panowania), które utrwaliły pokorną i uniżoną postawę. W lesie ta różnica nie tylko się zaciera, lecz Poleszucy zaczynają górować nad myśliwymi z miasta. Chętnie wtajemniczają przyjezdnych w arkana łowiectwa i służą im pomocą, jednocześnie jednak traktują ich protekcyjnie i pobłaźliwie.

Obraz rdzennych mieszkańców Polesia w Kuprinowskim cyklu nie jest jednoznacznie pozytywny lub negatywny, prozaik stara się bowiem wychwycić i utrwalić wszystkie niuanse mentalności tej specyficznej społeczności. Bez wątpienia Poleszucy, nawet ci beztroscy i zdawać by się mogło obojętni na los innych, utożsamiają się ze swoją wspólnotą. Jarmola, łazik, lekkoduch i nędzarz, z którego zdaniem nikt się we wsi nie liczy, troszczy się o dobro pobratymców, dlatego też chce nauczyć się pisać i czytać. Swoją prośbę uzasadnia Iwanowi Timofiejewiczowi następująco:

– А видите, какое дело, паныч, – ответил Ярмола необыкновенно мягко, – ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда гумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться [Куприн 1970-1973, II, 313].

Natomiast twardy i bezwzględny złodziej z opowiadania *Koniokrady* ma też inne oblicze: łagodne i szlachetne. Jego humanitarne odruchy przejawiają się między innymi w dbałości o trzynastoletniego chłopca. Zauważywszy, że śpiący na ziemi Wasyl zmarzł, koniokrad przykrywa go swoją marynarką. Ma też Buzyga własny kodeks honorowy, zgodnie z którym nie kradnie koni biednym ludziom o dobrym sercu.

Nie brakuje też w omawianych utworach fragmentów ukazujących okrucieństwo lokalnej ludności. To, iż ich charakter ukształtowała surowa przyroda i ciągła walka o byt, nie tłumaczy jednak przyjemności, jaką rozjuszony tłum czerpie ze scen znęcania się nad ludźmi, którzy w jakiś sposób naruszyli panujące tu niepisane prawa. Wśród miejscowych istnieje na przykład społeczne przyzwolenie na zamordowanie niewiernej żony (*W głuszy leśnej*) czy wielogodzinne torturowanie przez wszystkich mieszkańców wsi, nawet tych najmłodszych, złodzieja koni (*Koniokrady*, *Olesia*). Dodajmy tylko, że oba zjawiska – kradzież koni i samosąd – były wówczas na tym terenie zjawiskiem powszednim. Świadczą o tym również badania etnosocjologiczne przeprowadzone na Polesiu w połowie lat trzydziestych XX wieku przez Józefa Obrębskiego. Wybitny polski etnograf i antropolog przytacza słowa respondenta o bezlitosnym rozprawieniu się ludności Makowa ze złodziejami pszczoł. Długotrwałe dręczenie i silne razy doprowadziły do śmierci jednego z przestępców. Obrębski interpretuje ten przejaw twardej sprawiedliwości gromadzkiej nie jako przykład surowości obyczajów, lecz także bogactwa i siły społeczno-moralnej więzi obyczajowej wsi:

W społeczności, w której ludzie – sąsiedzi i krewni – są wartością zbiorową i w której każdy czyn jednostki ma swój sens społeczny, w której najwyższym prawem jest wzajemna życzliwość i czynna solidarność sąsiedzka, działanie na czyjąś szkodę nie z osobistej wrogości, ale z przedkładania rzeczy nad ludzi, osobistej korzyści nad stosunki sąsiedzkie, jest zbrodnią, podważającą cały porządek moralny społeczności sąsiedzkiej i profanującą jej godność. Tylko publiczna i dobrowolnie przyjęta przez winowajcę pokuta lub fizyczne wyeliminowanie go ze społeczności wiejskiej jest w stanie przywrócić ład moralny i wiarę w obowiązującą moc sprofanowanego systemu [Obrębski 2007, 178].

Zasygnalizowanemu tu zagadnieniu brutalności wobec kobiet Kuprin poświęca nieco więcej miejsca w opowiadaniu *W głuszy leśnej*. Bohaterowie postrzegają kobiety jako źródło wszelkiego zła: rozpustnice, bezwstydnice, szelmy, gaduły, a uzasadnienia dla swojego nieczułego i srogiego stosunku do nich szukają bądź w Biblii, bądź w mądrości ludowej:

А только я одно скажу, что всякая шкода, всякая швара – все через них робится. Как в святых книгах сказано? Через кого господь прогнал Адама из раю? Через бабу... Шкодливы, пакостницы, сокотухи. Плетут невесть что... Вот уж это правду сказано: лучше железо варить, чем с злою женою жить [Куприн 1970-1973, II, 303].

Pewnym usprawiedliwieniem dla tych słów może być fakt, że płyną one z ust rozgryzonego, zdradzanego przez żonę Aleksandra. Niemniej jednak tyranizowanie połowicy i nieokazywanie jej względów było w tych stronach normą. Co ciekawe, takie zachowanie nie zawsze świadczyło o braku przywiązania między małżonkami. Wyniosła i pogardliwa postawa obojętnego męża była bowiem swoistym imperatywem obyczajowym, który

wywodził się ze struktury wielkiej rodziny i obligował mężczyznę do podporządkowania osobistych uczuć i upodobań nakazom solidarności grupy, ucieleśnionej w figurach ośrodków patriarchalnego, innymi słowy w osobach rodziców i braci [Obrębski 2007, 157].

Autor *Sulamitki* portretuje w głównej mierze męskich przedstawicieli miejscowej ludności, uwypuklając ich charakterystyczne przymioty i atrybuty. Zostały tu już wyeksponowane takie elementy składowe wizerunku omawianej grupy jak właściwości psychiczne i cechy fizyczne, po części zaakcentowane zostało również jedno z najstarszych kryteriów odrębności grupowej, jakim jest język. Wypada więc zwrócić uwagę na inne wyznaczniki odmienności: strój i wygląd zewnętrzny [zob. Obrębski 2007, 189-191]. Jego Poleszacy o czarnych nieufnych oczach i czarnym zaroście ubrani są zazwyczaj w sfatygowane sukmany (tzw. świtki) obszyte czerwonym sznurkiem, kozuchy i baranie czapki, obuci są w łapcie z łyka i stale towarzyszy im fajka. Opis ten niewiele odbiega od słów, które odnaleźć można w napisanych pół wieku wcześniej *Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy*. Kraszewski tak oto odmalowuje Poleszuków spotkanych na jarmarku w Janówce: „(...) Poleszacy w białych sukmanach z pasami czerwonymi lub z czarnej skóry, z kalitką, krzesiwem, papużą tytoniu i nieodstępną fajką w zębach, kopczą im nieustannie pod nos i gasnącą co chwila (...)” [Kraszewski 1985, 26].

Etnograficzne spostrzeżenia Kuprina dopełniają nieliczne wprawdzie opisy gospodarstw, sprzętów domowych i codziennych zajęć Poleszuków. Wszystkie przedstawione przez prozaika obejścia są biedne, różnią się tym, że jedne są schludne, inne zapuszczone. Większą część chat zajmuje wielki, wielofunkcyjny piec, który jest nie tylko źródłem ciepła, lecz przede wszystkim centrum rodzinnego życia⁷. Na nim przyrządza się posiłki i śpi, w pobliżu zaś wykonuje różne prace. Na przykład Olesia siedzi nieopodal na wysokiej ławie i przedzie. Prozaik podkreśla niezwykłą wprawę i zręczność bohaterki oraz szczegółowo przedstawia zajęcie, które już dawno odeszło w niepamięć. Wydaje się, iż ze względu na wartość poznawczą wypada przytoczyć wspomniany wyimek:

Левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но, в сущности, требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках [Куприн 1970-1973, II, 330].

Reasumując, odnotujmy, że Kuprinowski narrator z zafascynowaniem chłonący nowe wrażenia i pozwalający wprowadzać się w kolejne kręgi wtajemniczeń w sztuce

⁷ Podobne spostrzeżenia można odnaleźć w encyklopedii *Rosyjska chata* oraz w książce Marka Bema. Autorzy encyklopedii odnotowują: „Печь являлась одним из основных объектов ритуальной сферы, лечебной практики, нормативно-поведенческой области. С печью связано много поверий, обрядов, магических приемов. В традиционном сознании печь была неотъемлемой частью жилища; если в доме не было печи он считался нежилым” [Русская изба. Иллюстрированная энциклопедия... 2004, 53]. Natomiast Bem konstatuje: „Rdzenni Poleszacy to przede wszystkim wieśniacy. (...) Przekraczając próg sieni, od razu stawało się przed wielkim piecem, który zajmował blisko trzecią część izby. Nie dziwi to jednak, mając na uwadze, jak ważne miał przeznaczenie w chacie. W nim przygotowywano i przechowywano codzienną strawę, wypiekano – z czego się da – taki rodzaj chleba, że pożał się Boże. Na nim, za nim i w jego różnych zakamarkach mieściła się sypialnia całej rodziny z kilkunastu osób. (...) Wzdłuż pieca ustawiona była ława, podobnie jak pod ścianami” [Bem 2014, 11].

łowieckiej, stara się nie oceniać krytycznie zastanej rzeczywistości, lecz pokazywać wszystkie odcienie fascynującej go odmienności rdzennych mieszkańców Polesia. Ulega on wprawdzie przysłowiowemu czarowi Polesia, dąży jednak do ukazywania poleskich realiów bez zbędnych upiększeń i komentarzy, dlatego też jedynie sygnalizuje występowanie na tych terenach między innymi zjawiska analfabetyzmu (*Olesia, W głuszy leśnej*). Dzięki takim zabiegom odnajdujemy w analizowanym cyklu niemało przykładów rzetelnej obserwacji, potwierdzających tezę Obrębskiego, że literatura może ukazać prawdę obiektywną. Pisarz bowiem, intuicyjnie rekonstruując życie ludzkie w jego syntezie, w konkretnych obrazach i sytuacjach, stwarza wyobrażenie rzeczywistości i rozkłada akcenty w taki sposób, że zmusza czytelników do postrzegania tej rzeczywistości nie według utartych stereotypów, przesądów, legend i mitów, pospolitych schematów i haseł, lecz tak, jak sam ją zobaczył, przeżył i odczuł [Obrębski 2007, 443].

Bibliografia

- Bem Marek. 2014. *Ginący świat tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia*. Włodawa: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach.
- Bielniak Nel. 2012. *Refleksje nad związkiem człowieka z naturą w twórczości Aleksandra Kuprina*. W: *Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim*. Red. Paško-Koneczniak D. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 83-92.
- Bielniak Nel. 2014. *Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań Aleksandra Kuprina*. „Slavica Wratislaviensia” t. 158: 125-136.
- Burkot Stanisław. 1985. *Podróż po stronach rodzinnych*. W: J.I. Kraszewski. *Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy*. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza: 5-17.
- Kachniewski Zdzisław. 1983. *Motywy miłości w opowiadaniach Aleksandra Kuprina (do 1919 roku)*. „Slavia Orientalis” t. 32, nr 1-2: 99-108.
- Kiezuń Anna. 2014. *O dwoistości międzywojennego portretu Poleszuka. Literatura – publicystyka – zapisy badań terenowych*. „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 14: 51-63.
- Kraszewski Józef Ignacy. 1985. *Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy*. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- Obrębski Józef. 2007. *Studia etnosocjologiczne 1. Polesie*. Red. nauk. i wstęp Engelking A. Warszawa: Oficyna Naukowa.
- Ossendowski Antoni Ferdynand. 2010. *Polesie*. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
- Popiel Zygmunt. 2005. *Polesie*. W: *Polesie widziane oczami Marii Rodziewiczówny i jej współziomków. Album z okazji 60. Rocznicy śmierci Marii Rodziewiczówny i 15-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia*. Warszawa: Wydawnictwo von borovecky: 6-8.
- Sielicki Franciszek. 1996. *Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej*. „Slavica Wratislaviensia” t. 88: 85-94.
- Szymonik Danuta. 1989. *Aleksandra Kuprina opowiadania neoromantyczne*. „Slavica Wratislaviensia” t. 48: 73-83.
- Szymonik Danuta. 2000. *Idea „człowieka naturalnego” w twórczości Aleksandra Kuprina*. W: *Słowo. Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej*. Red. Aleksiejenko M. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego: 378-381.
- Szymonik Danuta. 2012. *Etos piękna w twórczości artystycznej Aleksandra Kuprina*. „Scripta Neophilologica Posnaniensia” t. XII: 185-198.

- Wasiljew Jewgienij. 2013. *Tekst wołyński w literaturze rosyjskiej XIX-XX wieku*. Przekł. Skalińska E., Mitzner P. „Tekstualia” nr 2 (33): 5-28.
- Боднарук Иван. *Між двома світами. Вибрані статті про українських письменників*. В: <http://ukrlife.org/main/cxid/bodnaruk20.htm> [Доступ 20 VI 2015].
- Куприн Александр Иванович. 1970-1973. *Собрание сочинений в девяти томах*. Москва: Издательство Художественная Литература.
- Письма А. И. Куприна к Ф. Д. Батюшкову из Даниловского*. 1963. Север. Литературно-художественный сборник вологодского отделения союза писателей РСФСР: 152-157.
- Русская изба. Иллюстрированная энциклопедия*. 2004. Ред. Шангина И. И. Санкт-Петербург: Искусство – СПб.
- Тургенев Иван. *Поездка в Полесье*. В: http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0105.shtml [Доступ 11.06.2015].
- Чуковский Корней. 1997. *Куприн*. В: *Встречи с писателем. А. И. Куприн*. Сост. Светловская Н. Н., Пиче-оол Т. С. Москва: Начальная школа: 130-156.
- Шимоник Данута. 2009. *Любовь versus эрос: проблема универсалий в творчестве Ивана Бунина и Александра Куприна*. В: *Универсалии русской литературы I, Сборник статей*. Отв. ред. Фаустов А. А. Воронеж: Воронежский государственный университет: 489-495.
- Юркина Лариса Николаевна. 1997. *Поэтика А. И. Куприна: Учебное пособие по спецкурсу*. Сыктывкар: Сыктывкарский университет: 24-35.

Summary

POLESYE CYCLE BY ALEKSANDR KUPRIN

This article analyzes Aleksandr Kuprin's works creating the so-called Polesye cycle. In his Polesye cycle the writer attempted to present thoroughly a specific sense of the Volhynian Polesye identity that fascinated him. His sightseeing and ethnographic hikes around the region resulted in a series of insightful observations concerning the mentality, customs and appearance of the Polesye population and its attitude toward strangers. Additionally, the trips inspired numerous descriptions of nature, saturated with sensory impressions and the employment of painting devices.

Kontakt z Autorką:
nel.bielniak@wp.pl

Magdalena Dąbrowska

Instytut Rusycystyki

Uniwersytet Warszawski

ZE STUDIÓW NAD TWÓRCZOŚCIĄ MICHAIŁA NIKITICZA MURAWIOWA (WĄTEK BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO I ZBIGNIEWA)

Key words: Mikhail Muraviov, tragedy, ballad, Bolesław Krzywousty, Zbigniew

W czasopiśmie „Сын Отечества” w 1814 roku został zamieszczony artykuł Konstantina Batiuszkowa o pośmiertnym wydaniu utworów Michaiła Nikiticza Murawiowa z 1810 roku [Батюшков 1814, 87-116]. Recenzent wyodrębnił w twórczości Murawiowa kilka głównych grup („rozmowy martwych”, proza, prace historyczne, utwory filozoficzne) i po ich scharakteryzowaniu sformułował wniosek, że odznacza się ona bogactwem myśli i czystością stylu. Artykuł Batiuszkowa posłużył za słowo wstępne do trzytomowego wydania dzieł wszystkich Murawiowa z lat 1819-1820 [Батюшков 1819, I, I-XXX].

Wystarczy rzut oka czy to na spis treści poszczególnych tomów z lat 1819-1820, czy to na artykuł Batiuszkowa, ażeby stwierdzić, że tematyka historyczna stanowi jeden z motywów przewodnich twórczości Michaiła Murawiowa (1757-1805), poety, prozaika, dramaturga, tłumacza, czynnego na rosyjskiej scenie literackiej od lat siedemdziesiątych XVIII stulecia i reprezentującego jej „skrzydło” sentymentalne [zob. Алпатова 2002, 135-140]. Wybór tematyki historycznej – mniej lub bardziej znanych epizodów oraz postaci z dziejów ojczystych i powszechnych – na przedmiot zainteresowania w dużym stopniu wiąże się w jego przypadku z pełnieniem obowiązków nauczyciela wielkich książąt Aleksandra i Konstantego. W kontekście tej sfery działalności Murawiowa oraz wydarzeń współczesnych Batiuszkow pisał w roli historii w wychowaniu:

Мы надеемся, что люди, занимающиеся отечественною Историею, отдадут отчет читающей публике в сих бесценных отрывках, а наставники включают их в число книг, посвященных чтению юношества. История наша, история народа, удивившего военными подвигами всю Европу, должна быть нашим любимым чтением, от самого детства [Батюшков 1814, 105].

Rys szczególny postawy Murawiowa stanowi przy tym podejmowanie prób odpowiedzi na pytania, czym jest historia i jakie znaczenie ma wiedza o procesie dziejowym:

История не есть бесполезное знание маловажных приключений, которые случились с каким-нибудь частным человнком или обществом, и которых влияние не простиралось далее тесных пределов его деятельности. История (...) представляет народы, сии великие семейства человеческого рода, проходящие постепенно различные возрасты и состояния. (...) Подобно как зажигают огни на островах и возвышениях посреди моря, усыпанного камнями, для избавления мореплавателя от неминуемого кораблекрушения: так История возносит светильник свой над преткновениями, которые угрожают государствам бедствиями и разрушением [Муравьев 1819c, II, 3-4].

Wyrazem zainteresowania Murawiowa historią Polski stały się nieukończona tragedia *Bolesław*¹, nad którą pracował od połowy lat siedemdziesiątych, oraz ballada *Bolesław, król polski* [Муравьев 1967, 238-241], powstała w latach dziewięćdziesiątych XVIII stulecia i opublikowana została po raz pierwszy w czasopiśmie „Вестник Европы” w 1810 roku [Муравьев 1810, 45-47]. Oba utwory, których dokładny czas powstania jest trudny do ustalenia, stawały się już przedmiotem naukowych rozważań, ale stosunkowo rzadko – chyba tylko w pracach L.W. Kriestowej [Крестова 1970, 71-82] i Jana Orłowskiego [Orłowski 1992, 35-37] – z punktu widzenia sposobu przedstawienia wątku z dziejów średniowiecznej Polski. Ten wątek to rywalizacja synów Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego i starszego od niego Zbigniewa. Mowa jest więc o początku XII wieku, mniej więcej przedziale czasowym od roku 1102 (podział ziem po śmierci Władysława Hermana) i 1103 (sprowokowany przez Zbigniewa najazd czeski na znajdujący się we władaniu Bolesława Krzywoustego Śląsk) do lat 1111/1112 (śmierć Zbigniewa). Jeżeli już badacze ustosunkowywali się do obu utworów Murawiowa, to zwykle poprzestawali na ogólnikowych stwierdzeniach w rodzaju: „*Bolesław, król polski* był rezultatem wieloletniej pracy autora nad [tym – M.D.] wątkiem (jeszcze na początku lat siedemdziesiątych pisał on tragedię *Bolesław*); zawarte zostały w nim elementy przyszlých tematów balladowych: mamy tu i romantyczny klimat czasów rycerskich, i miłość, i wojnę, i bratobójstwo, i «miejsca święte»” [Кулакова 1947, 458]². Badania nad *Bolesławem, królem polskim* koncentrowały się na kwestiach genologicznych, a mianowicie przynależności utworu do gatunku ballady w jej odmianie rycerskiej, reprezentowanej również przez *Grafę Gwarinosa* Nikołaja Karamzina i *Był* Iwana Dmitriewa. Przyjęcie tej perspektywy oznaczało, że np. Lucjan Suchanek wynotowywał co prawda źródła wiedzy historycznej Murawiowa, lecz na plan pierwszy wysuwał problem wyróżników

¹ Bazę tekstową stanowi w niniejszym artykule tzw. rękopis A *Bolesława*, opublikowany i skomentowany z perspektywy tekstologicznej (wraz z rękopisem B i wariantami brudnopisowymi) przez Władimira Toporowa; [zob. Муравьев, Болеслав 2001, 40-55]. Tzw. rękopis A obejmuje akty I (sceny 1, 2, 3, 4, 5, 6), II (bez wyodrębnienia scen) oraz III (scena bez oznaczenia numeru oraz sceny 4 i 5). Nieukończenie przez Murawiowa tragedii pociąga za sobą oczywiste problemy interpretacyjne: np. nie mamy pewności, czy to, że nie pojawia się w niej Zbigniew (przyrodni brat tytułowego Bolesława), było celowym posunięciem dramaturga, czy też po prostu nie zdążył on wprowadzić tej postaci.

² Tu i dalej, o ile nie podano inaczej, przekład własny – M.D.

gatunkowych („fabułę – zgodnie z wymogami gatunku – ograniczył poeta do kilku epizodów i wyłączył wszystkie postacie drugoplanowe; (...) potęguje on elementy fikcji literackiej, wprowadzając (...) momenty grozy i niezwykłości” itd. [Suchanek 1972, 14; por. Душина 1978, 39-49]). Lepiej z punktu widzenia studiów nad rosyjsko-polskimi relacjami literackimi prezentują się badania nad tragedią *Bolesław*, sytuowaną przez Władimira Toporowa w „pozytywnej” części „przestrzeni rosyjsko-polskich związków kulturalnych” [Топоров 2001, II, 39] (określenie „pozytywna” należy rozumieć jako ton życzliwości, współczucia czy przynajmniej neutralności). Jednak nawet w komentarzach tego badacza, czołowego interpretatora tragedii Murawiowa, wątek polski „rozpływa się” w analizie tekstologicznej i zarysie tła literacko-kulturowego (kroniki średniowieczne, piśmiennictwo historyczne czasów oświecenia, rosyjskie tragediopisarstwo klasycystyczne itp.) [Топоров 2001, II, 29-302]. Pozostała część dorobku literackiego Murawiowa rozpatrywana była przede wszystkim z perspektywy jego postawy estetycznej i stylu wypowiedzi artystycznej [zob. Брыханский 1959, 157-171; Фоменко 1984, 52-70] oraz realizacji programu sentymentalizmu [zob. Тетени 1979, 419-426; Росси 1995, 114-146]. Osobną kwestię stanowią studia nad jego spuścizną epistolograficzną [Письма 1980, 259-377], częściowo również rzucającą światło na utwory o Bolesławie. Z zapomnienia wciąż wydobywane są też kolejne teksty (nie tylko oryginalne, ale także przekłady) pisarza [zob. Лазарчук 2006, 312-316]. Przegląd spuścizny Murawiowa, której ważną część stanowią też notatki o charakterze autotematycznym, pozwala stwierdzić, że wątek Bolesława i Zbigniewa należał do tych, do których był on szczególnie przywiązany.

Gdyby tak nie było, zapewne nie podejmowałby go na przestrzeni trzech dziesięcioleci w tragedii oraz balladzie i z pewnością nie pozostawiłby w notatkach następującej deklaracji: „Я решился: или совсем не писать стихов или кончить Болеслава. Сим сочинением хочу я быть известен. Хочу идти тоюже стезею, какою шли Сумароков, Херасков, Майков, Княжнин...” [Муравьев 1820, 270].

Oto zaś komentarz do niej redaktora wydania dzieł wszystkich pisarza: „Покойный Муравьев сделал план Трагедии Болеслава. В бумагах его остались одни только ее отрывки” [zob. Муравьев 1820, 270].

Michał Murawiów nie był jedynym pisarzem rosyjskim XVIII wieku, który podejmował tematy z historii Polski. Można wymienić dwa główne powody zainteresowania nimi. Pierwszym było „krzyżowanie się” losów politycznych Rosji i Polski, dające o sobie znać już w średniowieczu i trwające nieprzerwanie do czasów współczesnych. Drugi to właśnie owa „aktualność” spraw polskich, rozgrywanie się ważnych wydarzeń z „udziałem” Polski czy jej dotyczących na oczach pisarzy. Takie „spotkanie” dziejowe Rzeczypospolitej i Rosji nastąpiło w czasach „dymitriad”, przedstawionych przez Aleksandra Sumarokowa w tyranoburczej tragedii *Dymitr Samozwaniec* (jak zauważa Halina Mazurek-Wita, tragedia tyranoburcza jest jedną z trzech odmian rosyjskiej tragedii na tematy historyczne, obok tragedii o dobrym monarsze i tragedii patriotycznej [Mazurek-Wita 1993, 51]). Na współczesność – rozbiory Polski wraz z wypadkami je poprzedzającymi – reagował Gawriił Dierżawin (*Na zdobycie Warszawy* i in.), a także Iwan Dmitrijew (*Wiersz na przyłączenie polskich prowincji Kurlandii i Semigalii do Imperium Rosyjskiego*), Wasilij Pietrow (*Na przyłączenie polskich województw do Rosji*) czy Michaił Chieraskow (*Oda*

do *Jej Cesarskiej Wysokości na zwycięstwa w Polsce*) [Orłowski 1995, 177-187]. Przykłady można mnożyć. Ten stan rzeczy potwierdza zawartość czasopism drugiej połowy XVIII – początku XIX stulecia, przy czym nie tylko o charakterze literackim. Oryginalną odpowiedź na wydarzenia współczesne stanowił artykuł *O zbytku i modach w Polsce...*, opublikowany w czasopiśmie „Магазин аглинских, французских и немецких мод...” w 1791 roku: uwagi o sposobach ubierania się Polaków łączą się w nim z rozważaniami politycznymi, do których podjęcia skłoniło autora pojawienie się „wstążek (...) z napisami «Król z Narodem – Vivat Król! Naród z Królem – Vivat Naród»” [A* 1791, 8]. Wracając zaś do twórczości literackiej Murawiowa, należy dodać, że, po pierwsze, w 1774 roku napisał on *Odę na cześć jej wysokości Katarzyny II... z okazji zawarcia pokoju Rosji z Portą Otomańską* (*Ода ее императорскому величеству государыне Екатерине II... на замирение России с Портою Оттоманскою*), w której poruszył problem stosunku Katarzyny II do Polski w czasie wojny z Turcją z lat 1768-1774, oraz, po drugie, do historii i współczesności Polski odniósł się on w *Próbach historii...* (*Опыты истории...*), zawierających obszerne fragmenty o wsparciu polskich elit społecznych dla Dymitra Samozwańca, i w szkicu *Osiemnasty wiek* (*Осмынадесятый век*), w którym oświadczył rzeczowo: „Polska znika z grona niezależnych państw” [Муравьев 1819b, II, 84].

Pomysł podjęcia wątku Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa powstał pod wpływem tragedii Woltera i Johanna Eliasa Schlegla, zarysu dziejów Rosji Fiodora Emina (*Российская история жизни всех древних от самого начала России государей*, 1767-1769) i „kroniki” Herborga (które Murawiovi wymienił w notatce z lat siedemdziesiątych [zob. Топоров 2001, II, 85]), a także *Historii Polskiej* Pierre’a Josepha de la Pempie Solignaca (o której wspominał w innej notatce z końca tego dziesięciolecia [zob. Топоров 2001, II, 86]) oraz tragedii Aleksandra Sumarokowa (o czym świadczy list pisarza do siostry Fiedosji z 23 listopada 1777 roku, w którym – zapytany o Bolesława – nazwał *Choriewa*, *Siniawa* i *Truwora* oraz *Semirę* „chefs-d’oeuvre” [Письма 1980, 320]). Nie jest to też przypadek, że w przytoczonej notatce wymienił Sumarokowa czy Jakowa Kniaźnina. Jak widać, źródła inspiracji były dwojakiego rodzaju zarówno historyczne, jak i literackie. Jednocześnie należy pamiętać jednak, co podkreślał Marian Plezia w komentarzu do kroniki Galla Anonima, iż „kategoryczne przeciwstawienie historii (jako nauki) oraz literatury pięknej jest stosunkowo świeżej daty”, bowiem „jeszcze w XIX wieku (...) panował pogląd, że dzieło historyczne jest utworem zarówno naukowym, jak historycznym, który prawdziwość treści winien łączyć z literackimi walorami przedstawienia” [Plezia 1996, LVII]³. W kontekście pracy Fiodora Emina należy dodać, że spod pióra tego pisarza w 1766 roku wyszedł przekład *Historii Polskiej* Solignaca oraz – rok później – *Historii Piotra Pierwszego* Woltera [zob. Ольшевская, Травников 2002, 222]. Zgodnie z ustaleniami Kriestowej, przy pisaniu ballady o Bolesławie Murawiovi korzystał także z bazującego na polskich i ruskich kronikach opracowania Contanta d’Orville’a [Крестова 1970, 79]. Wśród prac, z których Murawiovi z kolei nie korzystał, znalazła się, na co zwrócił uwagę Toporow, *Kronika polska* Galla Anonima [zob. Топоров 2001, II, 88].

³ Już Kwintylian pisał, że historia jest „najbardziej zbliżona do poezji, jest więc jakby niewiązaną pieśnią; celem jej także jest przede wszystkim opowiadanie, a nie dowodzenie słuszności spraw” [Kwintylian 2002, 249].

Przegląd źródeł, z których Murawiew czerpał wiedzę o historii Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa, pozwala wysunąć pogląd, że zainteresować mogła go ona przede wszystkim swoim dramatyzmem. Za Marianem Plezią można streścić ją w następujący sposób:

...był to (...) okres jego [Bolesława – M.D.] współrządów ze starszym przyrodnim bratem Zbigniewem, współrządów wykonywanych zrazu na prawach księcia-juniora, zależnego od starszego brata, następnie na zasadzie równości ich obu, a na koniec w charakterze zwierzchnika, gdyż Bolesław najpierw zmusił brata do uznania się za swego wasala, a niebawem wygnał go z kraju. Zwykłą w takich razach kolejną rzeczą wygnany brat zwrócił się o pomoc do ówczesnego króla, a niebawem cesarza niemieckiego, Henryka V, co pociągnęło za sobą zbrojną interwencję niemiecką w Polsce na jego korzyść. (...) Interwencja ta załamała się jednak wobec zrezygnacji i uporczywej obrony Krzywoustego na Śląsku, a zawiedziony w swych nadziejach Zbigniew musiał czekać jeszcze trzy lata, zanim z okazji dynastyczno-politycznych układów z Czechami Bolesław zezwolił mu (...) na powrót do kraju pod warunkiem, że zadowolony się stanowiskiem zwykłego wasala, a zrezygnuje z praw suwerennych. Decyzja powrotu okazała się (...) dla Zbigniewa fatalna i niebawem po przybyciu, pod pozorem, że wystąpieniami swymi uzurpuje sobie prawa zwierzchnie, został uwięziony i z rozkazu brata oślepiiony, a w następstwie okaleczenia zmarł [Plezia 1996, XXV].

O tym dramatyzmie dają wyobrażenie także same tytuły rozdziałów w popularnej pracy Stanisława Rosiaka o Zbigniewie i jego czasach: coś dramatycznego było już w pochodzeniu Zbigniewa, „syna nałożnicy” Władysława Hermana, w tym, że był on „w łasce i niełasce u ojca”, w „rozprawie z Sieciechem” i „władztwie”, wreszcie „dwóch powrotach: niechlebnym i tragicznym” [Rosiak 2002]. Za Karolem Maleczyńskim można powtórzyć, że Władysław Herman nie przewidział, że „obaj synowie, różni wiekiem, temperamentem, zamiłowaniami, nie będą (...) skłonni przestrzegać postanowień testamentu ojcowskiego, lecz od samego początku będą dążyć do zniszczenia tak kunsztownie przez ojca wzniesionej równowagi sił” [Maleczyński 2010, 55].

Po drugie, atrakcyjna musiała wydawać się Murawiewowi możliwość wykorzystania przy relacjonowaniu dziejów Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa wątku miłosnego.

Odnaczająca się tymi dwiema cechami historia nadawała się więc jako kanwa zarówno tragedii, jak i ballady. W kontekście drugiego gatunku należy pamiętać jednak, że określenie „ballada” zostało dodane do tytułu *Bolesława, króla polskiego* w zbiorze z 1810 roku [Муравьев 1967, 352 (przypis)]⁴, czyli w czasach, gdy gatunek ten nie tylko przestał być w literaturze rosyjskiej nowością, lecz – przede wszystkim za sprawą Wasilija Żukowskiego – zdążył zdobyć już dużą popularność.

Jeśli oprzeć się na najobszerniejszym wariancie tragedii *Bolesław*, to okaże się, że wątki polityczny i miłosny (rywalizacja braci o władzę i rękę kobiety) splatają się ze sobą już w pierwszej scenie, w której udział biorą Bolesław i jego doradca, Żyromysł. Zbigniew w sztuce Murawiewa nie pojawia się wcale. W pierwszej scenie doradca Bolesława stwierdza więc:

⁴ Chodzi o: *Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданное Василием Жуковским*, ч. 2, Москва 1810.

И мню я, Государь, зря образ твой смущен,
Что горестию был твой ум отягощен,
Когда твоих побед повсебда мчится слава,
Или уж днесь Сбигней тревожит Болеслава?
Отечества ты друг, а он его злодей [Муравьев, Болеслав 2001, 40].

na co Bolesław odpowiada, że mimo wszystko Zbigniew to jego brat i że jego własna wina wydaje się mu większa niż brata. Powodem ponurego nastroju Bolesława jest nie-szczęśliwa, bo niemożliwa do stłumienia, miłość do księżniczki Swienteldy, narzeczonej Zbigniewa:

Я страстен: и уже я страстен стал на век.
Старанья тщетны все и все бессильны средства.
Ах! Сколько воображал я те плачевны следства,
Которы страсть моя с собою повлечет,
Княжна представится, и все то утечет.
В неисцелимой я, мой друг, любви тлею,
Врагов одолевал, себя не одолею [Муравьев, Болеслав 2001, 41].

W tragedii mamy do czynienia zatem z klasycznym schematem „trójkąta miłosnego”. Szybko jednak „trójkąt” w sposób naturalny przestaje istnieć: dociera bowiem wiadomość o śmierci Zbigniewa. Mimo nacisków Bolesława Swientelda przez cały czas deklaruje wierność narzeczonemu. Bolesław staje się zatem zwycięzcą w walce o władzę, przegrywa natomiast rywalizację o kobietę. Jak widać, sztuka Murawiowa porusza problem „władzy i miłości” czy raczej, według określenia Toporowa, stawia tytułowego bohatera przed dylematem „władza albo miłość” [Топоров 2001, II, 187], przy czym decyzji o wyborze nie dane jest mu podjąć samodzielnie.

Bolesław z tragedii Murawiowa jest postacią tragiczną, co ma swoje źródło jednak nie tylko w niepoddającej się „leczeniu” miłości, lecz także w niemożliwym do stłumienia poczuciu winy i wstydu. Świadczą o tym monologi tytułowego bohatera, przez Toporowa uznane za „jedne z najbardziej wyrazistych opisów sprzeczności tkwiących w człowieku owładniętym namiętnością” oraz, co za tym idzie, za istotny krok na drodze do psycho-logizacji literatury [Топоров 2001, II, 190].

W tragedii Murawiowa na próżno szukać precyzyjnego oznaczenia czasu wydarzeń. Co najwyżej można domyślić się, że rzecz dotyczy „czeskich” epizodów władztwa Bolesława z okresu po śmierci Władysława Hermana. Opisy sytuacji politycznej Polski dają się podzielić na dwie grupy: jedne dotyczą wydarzeń współczesnych, drugie zaś sięgają w przeszłość.

W roli komentatora wydarzeń współczesnych występuje sam Bolesław Krzywousty:

О Польша! и почтоб ты стала днесь роптать,
Коль узы, для тебя столь милы, разрываю,
Что, тшась расторгнуть их, сие претерпеваю! [Муравьев, Болеслав 2001, 51]

Przeszłość Polski odżywa w sąsiadującej ze słowami Bolesława wypowiedzi Żyromysła, który od komentarza na temat walk na Morawach przechodzi do wspomnienia o Świętopełku:

Как храбрый Святополк, тебе союзник стал... [Муравьев, Болеслав 2001, 43]

W tym miejscu warto przypomnieć, że córka księcia kijowskiego Świętopełka Zbysława była pierwszą żoną Bolesława Krzywoustego i że fakt ten „zagwarantował” na pewien czas nad wyraz przyjazne stosunki między Polską i Rusią. Karol Maleczyński pisał na ten temat:

Pierwsze ruskie małżeństwo Bolesława (...) zawarte zostało w przededniu niefortunnego układu z Czechami w początkach roku 1103. Miało ono zapewnić księciu polskiemu na przyszłość pomoc wielkiego księcia kijowskiego w walkach z przyrodnim bratem i zachodnimi sąsiadami. (...) Zadanie to małżeństwo ze Zbysławą w całości spełniło. Do końca życia księżny ruskiej (przypuszczalnie do końca roku 1108) panowały między Krzywoustym a księciem wołyńskim i Rusią Kijowską najpoprawniejsze stosunki i największa harmonia, a z pomocy posiłków ruskich w wojnie ze Zbigniewem korzystał Krzywousty kilkakrotnie [Maleczyński 2010, 366-367].

W balladzie *Bolesław, król polski* rzuca się w oczy bardzo duże nagromadzenie szybko następujących po sobie wydarzeń, układających się, jak pisze Kriestowa, w pięć sekwencji: sylwetka Bolesława z wyeksponowaniem namiętności jako siły sprawczej jego działania, przebieg rywalizacji braci o władzę i kobietę, powrót Zbigniewa i jego niewola, przypadkowe zabójstwo Zbigniewa i samobójcze zamiary Bolesława, pokuta Bolesława [Криестова 1970, 80-81]. Zbigniew poniósł śmierć w boju, Bolesław nie chciał przyłożyć do tego ręki. Z tego wynika finał ballady, mający, zdaniem Kriestowej, wydźwięk elegijny [Криестова 1970, 81]: zostaje wyrażona w nim myśl, że bohater zaznał spokoju, ale i że nic nie jest w stanie osuszyć łez człowieka nieszczęśliwego. Stanowiącą wyróżnik twórczości balladowej atmosferę grozy wyczuwa się w *Bolesławie, królu polskim* w partiach poświęconych śmierci Zbigniewa i próbie samobójczej Bolesława.

Warto dodać, że sięgając po motyw pokuty, Murawiov jak gdyby poszedł śladem Galla Anonima. Jak pisze Zbigniew Dalewski w komentarzu do kroniki Galla Anonima,

opowieść o pokucie Bolesława (...) nie tylko porządkuje (...) kronikarski wykład, lecz również umożliwia nasycenie go pożądanymi z punktu widzenia jego autora treściami: dopełnienie przez księcia pokuty otwiera bowiem – jak przedstawia Gall – drogę do ostatecznego pojednania zwaśnionych braci, potwierdzenia monarszej pozycji Bolesława i przywrócenia w kraju naruszonego przez konflikt ładu i porządku [Dalewski 2005, 103].

Równie ważne wydają się dalsze dwa cząstkowe wnioski: „przedstawiona przez Galla pokuta Bolesława wydaje się rozwijać zgodnie z regułami obowiązującymi przy odprawianiu (...) rytu pokuty publicznej”, a jego czyn „miał charakter grzechu i tego Gall nie ukrywa”, a po części też jego wniosek końcowy: „w ujęciu Galla (...) publiczne ukorzenie się Bolesława miało na celu nie tyle pojednanie z Bogiem grzesznego księcia, co przede wszystkim zapewnienie zbawienia całej podległej jego władzy wspólnoty” [Dalewski 2005, 105, 123, 133].

W kategoriach grzechu rozpatrywane jest postępowanie Bolesława również w balladzie Murawiowa, a skoro mowa jest w niej o tym, iż tytułowy bohater ukorzył się przed wszystkimi, których spotkał, można doszukiwać się tutaj obrazu pokuty publicznej:

Предо всеми, кто б случились,
Исповедует свой грех,

Просит он, чтоб помолились
За него владыке всех [Муравьев 1967, 241].

Dlatego też trudno zgodzić się z Kriestową, która w ogóle nie wspomina o europejskim rycie pokuty publicznej i źródła zakończenia ballady widzi wyłącznie w kulturze rosyjskiej [Крестова 1970, 81].

Podobnie jak w tragedii zarysowane zostają w balladzie dwie płaszczyzny czasowe, ale są one inne: główną płaszczyzną pozostaje współczesność (rywalizacja braci, przy czym, jak wiemy, jednocześnie na dwóch polach), ale zamiast zagłębiania się w przeszłość Polski i jej sąsiadów pojawia się refleksja osadzona w przyszłości czy też czyniona z perspektywy przyszłości, którą stanowią słowa o zachowaniu Bolesława w pamięci zbiorowej Polaków:

Ты содержишь Болеслава,
Польша, в памяти своей [Муравьев 1967, 238].

W balladzie *Bolesław, król polski* Murawiov jakby postawił kropkę nad „i” w opowieści o braciach-rywalach, czego nie zdążył czy też nie udało mu się zrobić w tragedii *Bolesław*.

Mimo że podobieństwa i różnice między tragedią *Bolesław* oraz balladą *Bolesław, król polski* były już wskazywane, na zakończenie warto raz jeszcze wrócić do nich, skupiając się na sposobie kreowania postaci i wyróżnikach genologicznych. W obu utworach Bolesław Krzywousty jest postacią o skomplikowanej konstrukcji psychicznej, w której przeważają jednak cechy pozytywne: poczucie honoru, szczerość, głębia przeżyć itp. I to jego właśnie – w mniejszym stopniu niż usytuowanego na dalszym planie Zbigniewa – czytelnik tragedii i ballady gotowy jest otoczyć współczuciem. To zdecydowanie drugoplanowe usytuowanie w świecie przedstawionym osłabia w odczuciu czytelnicznym cierpienia Zbigniewa. Jak zauważa Kriestowa, *Bolesław* opiera się na charakterystycznym dla tragedii klasycystycznej konflikcie między uczuciem i rozumem (miłością i obowiązkiem) [Крестова 1970, 77]. Silnie zaznaczony jest w nim także motyw przeznaczenia. W *Bolesławie, królu polskim* Murawiov zachowuje konflikt między uczuciem i rozumem, ale rezygnuje z motywu przeznaczenia. Gdyby go zachował, utwór ten reprezentowałby odmianę określaną przez Paula Langa (i za nim przez Zofię Ciechanowską) jako „ballada o działaniu przeznaczenia” [Ciechanowska 1963, XI]: wobec jego braku *Bolesława, króla polskiego* wypada zakwalifikować do wyodrębnionej przez tego samego badacza grupy „ballad winy i kary” [Ciechanowska 1963, XI] bądź, jak czyni to Kriestowa (za Wiktorem Żyrmunskim), do wyjątkowo pojemnej odmiany nazywanej „balladą o treści liryczno-dramatycznej, głównie miłosnej” [Крестова 1970, 80]. Zestawienie *Bolesława* i *Bolesława, króla polskiego* pozwala zauważyć przejście pisarza od klasycyzmu do wczesnego romantyzmu. Podjęcie tego samego wątku, któremu Murawiov pozostawał wierny przez dwa dziesięciolecia, „zagwarantowało” płynność tego przejścia.

Przegląd wypowiedzi teoretycznych o historii oraz utworów literackich o tematyce historycznej pozwala stwierdzić wreszcie, iż Murawiov był zwolennikiem „przeżywania” dziejów i angażowania w to wyobraźni. W szkicu *O historii i historykach* pisał na ten temat:

В наши дни чувствительнее, нежели когда-нибудь прежде. (...) История перестает быть простым исчислением дел сухих и бесплодных. (...) Времена отдаленнейшие в человеческой памяти подают самоудобнейший повод для упражнения мечтательности Философа в изображении естественного состояния [Муравьев 1819a, II, 13, 16].

Michał Murawiw wniósł wkład przecież nie tylko w rozwój klasycyzmu i wczesnego romantyzmu, ale także sentymentalizmu rosyjskiego, który to kierunek – za sprawą chociażby Nikołaja Karamzina – odegrał znaczną rolę w literackim opracowaniu tematyki historycznej. Obok Wasilija Żukowskiego i wspomnianego na wstępie Konstantina Batiuszkowa Karamzin był też jednym z redaktorów dzieł Murawiowa. Wprawdzie problem wprowadzonych przez niego poprawek redaktorskich doczekał się rozpatrzenia wyłącznie od strony językoznawczej (usuwanie archaizmów, zastępowanie dającego efekt „ciężkości” stylu „wielosłowia” frazami krótkimi i treściwymi itp.), również z tych rozważań można wysnuć pewne wnioski na temat pisarstwa historycznego Murawiowa: na plan pierwszy wysuwa się wśród nich zmiana słowa „письмена” w tytule zbioru z 1796 roku na „словесность” w wydaniu z 1810 roku⁵.

Na zakończenie warto przypomnieć, że po tematy z dziejów dawnej Polski sięgali także polscy twórcy drugiej połowy XVIII – XIX wieku. Liczną grupę stanowią wśród nich utwory poświęcone postaciom historycznym, często mające ich imiona w swoich tytułach: *Władysław pod Warną* (1761) Wacława Rzewuskiego, *Zygmunt August* (1779) Józefa Wybickiego czy *Zbigniew* (1815, wyst. i wyd. 1819) Juliana Ursyna Niemcewicza, jeśli poprzestać tylko na kilku przykładach dzieł dramaturgicznych. Inne niż pisarzy rosyjskich były natomiast powody zainteresowania polską historią oraz sposób rozstawienia akcentów przy prezentowaniu jej wycinków. Jak zauważa w pracy o polskiej tragedii neoklasycystycznej Dobrochna Ratajczak,

historia ojczysta zyskiwała wymiar wzniosłej utopii wiecznego ładu, zarazem powszechnego i narodowego; dominujący nad zdarzeniem historycznym aparat formalny służył tworzeniu zmitologizowanego obrazu historycznej wielkości narodu, dawał poecie prawo do przekształcania historii w mit w imię piękna, prawdy estetycznej i etycznej [Ratajczak 1988, XCIII].

Interesująco zarówno na tym tle, jak i w kontekście porównań z twórczością pisarzy rosyjskich prezentuje się dramaturgia (dramy i tragedie historyczne) Juliana Ursyna Niemcewicza. W rozumieniu Niemcewicza (oraz wielu innych przedstawicieli polskiego Oświecenia), „twórczość literacka i działalność naukowa stawaly się (...) wykładnią narodowych dążeń”, „walka o przetrwanie narodu polegała na zapisywaniu jego historii, utrwaleniu tradycji, zachowaniu obyczajów...” [Chaczaj 2007, 34, 35]. Niemcewiczowski *Zbigniew* – odtwarzający „wszystkie zasadnicze elementy historii Zbigniewa: jego pochodzenie z nieprawego łoża, niechlubne panowanie na Mazowszu i Pomorzu, spiski przeciwko ojcu i bratu, zamknięcie w klasztorze, podburzanie Henryka przeciwko Polsce” i uwydatniający w tytułowej postaci takie cechy jak „nieliczenie się z dobrem narodu, wyniosłość, duma” – jawił się zaś jako sztuka o „prowadzącym do zdrady pragnieniu objęcia władzy” [Chaczaj 2007, 60, 90, 114]. Autor pisał o tym w przedmowie do niej:

⁵ Chodzi o dwutomowe zbiory: *Опыты истории письмен и нравоучения* (1796) oraz *Опыты истории словесности и нравоучения* (1810) [zob. Левин 1965, 182-191].

„od poranka życia aż do smutnego zgonu szalona panowania żądza, najazdy, zdrady, spiski, zмовы z postronnymi, napełniały dni Zbigniewa” [Niemcewicz 1819, [5]]. W kontekście polsko-rosyjskich związków literackich oraz działalności Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk należy dodać, iż w 1808 roku wraz z Franciszkiem Ksawerym Bohuszem Niemcewicz zaproponował „dokończenie *Historii narodu polskiego* Adama Naruszewicza, przypuszczając, że opracowywanie dziejów Polski przerwano na polecenie Katarzyny II, zaniepokojonej postępem prac” [Chaczaj 2007, 34; por. Dąbrowska 2015(2014), 3-14]. Jak pamiętamy, to właśnie Michaił Nikiticz Murawiew zajmował się edukacją (także historyczną) wnuków Katarzyny II.

Bibliografia

- A**. 1791. *О роскоши и модах в Польше: из письма одного немецкого путешественника*. „Магазин аглинских, французских и немецких мод...”, ч. 3, октябрь: 3-18.
- Алпатова Татьяна. 2002. *Муравьев Михаил Никитич*. В: *Русские писатели. XVIII век. Биобиблиографический словарь*. А-Я. Ред. Джанумов С.А. Москва: Просвещение: 135-140.
- [Батюшков Константин]. 1814: К.О.Б.А. *Письмо к И.М.М.А. о сочинениях Г. Муравьева, изданных по его кончине*. Москва 1810. „Сын Отечества” № 35: 87-116.
- [Батюшков Константин]. 1819: К.Б. *Письмо к И.М.М.А. о сочинениях Г. Муравьева*. В: *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева* Т. 1. Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии: I-XXX.
- Бруханский А.Н. 1959. *М.Н. Муравьев и „легкое стихотворство”*. XVIII век. Сб. 4. Ред. Берков П.Н. Москва-Ленинград: АН СССР: 157-171.
- Душина Людмила. 1978. *М.Н. Муравьев и русская баллада*. В: *Проблемы изучения русской литературы XVIII века*. Ред. Западов В.А. Ленинград: ЛГПИ: 39-49.
- Крестова Л.В. 1970. *Из истории русско-польских связей в XVIII в. Незавершенная трагедия М.Н. Муравьева „Болеслав, король польский” и его баллада на ту же тему*. В: *Польско-русские литературные связи*. Ред. Балашов Н.И. и др. Москва: Наука: 71-82.
- Кулакова Любовь. 1947. *Муравьев*. В: *История русской литературы, т. IV. Литература XVIII века, часть вторая*. Ред. Гуковский Г.А., Десницкий В.А. Москва- Ленинград: АН СССР: 453-462.
- Лазарчук Римма. 2006. *Неизвестные тексты М.Н. Муравьева (переводы басен Лафонтена)*. В: *XVIII век, сб. 24*. Ред. Кочеткова Н.Д. Санкт-Петербург: Наука: 312-316.
- Левин Виктор. 1965. *Карамзин, Батюшков, Жуковский – редакторы сочинений М.Н. Муравьева*. В: *Проблемы современной филологии. Сборник статей к семидесятилетию академика В.В. Виноградова*. Ред. Храпченко М.Б. и др. Москва: Наука: 182-191.
- [Муравьев Михаил]. 1810. *Болеслав, король польской*. „Вестник Европы” ч. 51 № 9: 45-47.
- Муравьев Михаил. 1819а. *О истории и историках. Отрывок*. В: *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева*, Т. 2. Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии: 13-18.
- Муравьев Михаил. 1819b. *Осмынадесятый век*. В: *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева*, Т. 2. Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии: 83-86.
- Муравьев Михаил. 1819с. *Учение Истории*. В: *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева*, Т. 2. Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии: 3-12.
- Муравьев Михаил. 1820. *Мысли, замечания, отрывки (выбранные из записок Автора)*. В: *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева*, Т. 3. Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии: 259-324.

- Муравьев Михаил. 1967. *Болеслав, король польский*. В: Муравьев Михаил. *Стихотворения*. Ленинград: «Советский писатель»: 238-241.
- Муравьев Михаил. 1967. *Стихотворения*. Ленинград: «Советский писатель».
- [Муравьев Михаил]. 2001. *Болеслав*. В: Топоров Владимир. *Из истории русской литературы*, т. 2 (*Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации*, кн. 1 – М.Н. Муравьев: введение в творческое наследие). Москва: «Языки рус. культуры»: 40-55.
- Ольшевская Лидия, Травников Сергей. 2002. *Эмин (Емин, Еминовский) Федор*. В: *Русские писатели. XVIII век. Биобиблиографический словарь*. А-Я. Ред. Джанумов С.А. Москва: Просвещение: 220-223.
- Письма русских писателей XVIII века*. 1980. Ред. Макогоненко Г.П. Ленинград: Наука.
- Росси Л. 1995. *Сентиментальная проза М.Н. Муравьева (новые материалы)*. В: *XVIII век, сб. 19*. Ред. Кочеткова Н.Д. Санкт-Петербург: Наука: 114-146.
- Тетени М. 1979. *Раннее произведение русского сентиментализма*. „Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae”. Budapest: XXV(1-4): 419-426.
- Топоров Владимир. 2001. *Из истории русской литературы*, Т. 2 (*Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации*, кн. 1 – М.Н. Муравьев: введение в творческое наследие). Москва: «Языки рус. культуры».
- Фоменко И.Ю. 1984. *М.Н. Муравьев и проблема индивидуального стиля*. В: *На путях к романтизму. Сборник научных трудов*, Ред. Прийма Ф.Я. Ленинград: Наука: 52-70.
- Ciechanowska Zofia. 1963. *Wstęp*. W: *Niemiecka ballada romantyczna*. Red. Ciechanowska Z. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: III-XXXI.
- Chaczaj Małgorzata. 2007. *Dramy i tragedie historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
- Dalewski Zbigniew. 2005. *Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem*. Warszawa: Instytut Historii PAN.
- Dąbrowska Magdalena. 2015(2014). *Polonica historyczne w czasopiśmie rosyjskich początku XIX wieku („Historia narodu polskiego” Adama Naruszewicza)*, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” t. 8: 3-14.
- Kwintylian Marek Fabiusz. 2002. *Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X*. Przeł. Brożek M. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
- Maleczyński Karol. 2010. *Bolesław III Krzywousty*. Kraków: Universitas.
- Mazurek-Wita Halina. 1993. *Tragedia rosyjska doby Oświecenia (1747-1825)*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- Orłowski Jan. 1995. *Polska w życiu i twórczości Dzierżawina*. W: *Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie*. Red. Prus K. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna: 177-187.
- Niemcewicz Julian Ursyn. 1819. *Zbigniew. Tragedia z chórami w trzech aktach*. Warszawa: w Drukarni przy Nowolipiu nr 646.
- Orłowski Jan. 1992. *Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917*. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
- Plezia Marian. 1996. *Wstęp*. W: Anonim tzw. Gall. *Kronika polska*. Przeł. Grodecki R. Wrocław: BN: III-LXXXIV.
- Ratajczak Dobrochna. 1988. *Wstęp*. W: *Polska tragedia neoklasycystyczna*. Red. Ratajczak D. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: III-CLXXXI.
- Rosiak Stefan. 2002. *Zbigniew i jego czasy*. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- Suchanek Lucjan. 1972. *U źródeł rosyjskiej ballady romantycznej. (Ze studiów nad poezją rosyjską XVIII wieku)*. „Slavia Orientalis” nr 1: 3-16.

Summary

ON THE LITERARY OUTPUT OF MIKHAIL NIKITICH MURAVIOV (A THEME OF BOLESŁAW KRZYWOUSTY AND ZBIGNIEW)

This article consists of three parts: 1. Introduction. Mikhail Muraviov and history (*Study of history*, the notes etc.), genesis of the unfinished tragedy *Bolesław* and ballad *Bolesław, king of Poland*, Muraviov and classicism, sentimentalism and romanticism, history of Poland in Russian literature; 2. Comparative analysis of the tragedy *Bolesław* (manuscript A) and ballad *Bolesław, king of Poland* (historical sources, plot, political and amorous themes, concept of hero, meaning); 3. Conclusion (problems of genology, historical themes in Russian and Polish literature of the 18th and early 19th centuries, the tragedy *Zbigniew* by Julian Ursyn Niemcewicz).

Kontakt z Autką:
m.dabrowska@uw.edu.pl

Ольга Гамали

Кафедра русской филологии и зарубежной литературы
Криворожский национальный университет

Ольга Каневская

Кафедра русской филологии и зарубежной литературы
Криворожский национальный университет

СПОСОБЫ АВТОРСКОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ

Key words: Russian rock poetry, implied author, self-presentation patterns, self-presentation means.

Рок-культура, существенно повлиявшая на формирование общественного мнения, вкусов, моды конца XX – начала XXI вв., предоставляет исследователям широкий спектр практически не освещённых в научной литературе вопросов: философско-эстетических, культурологических, литературоведческих, лингвистических. Один из них – выявление специфики способов авторской самопрезентации в русской рок-поэзии – составляет цель предлагаемой статьи.

Исследование способов выражения авторского «Я» в поэтической речи является важным в лингвистике текста, т. к. позволяет не только обнаружить особенности литературной коммуникации, речевого портрета автора, но и проникнуть в художественную картину поэта, составить представление о мировоззрении личности художника.

С точки зрения лингвистики текста, имеющей межпарадигмальный, междисциплинарный характер, текст понимается как языковая структура в широком контекстно-ситуативном окружении, как модель речевой деятельности, как свернутая система коммуникативного акта, что предполагает возможность имплицирования позиции автора («говорящего») и адресата («слушающего») [Бескровная 1978; Богин 1991; Дымарский 1999; Кошечкина 1976; Лукин 2011; Степанов 1984]. «Говорящий», т. е. субъект художественного произведения, рассматривается как «образ автора» (в поэтических текстах – лирический герой), имеющий собственную коммуникативную установку. Адресантом, в свете поэтики восприятия [Выготский 1956], является личность творца. «Слушающий» предстает как «образ адресата».

Анализ поэтических текстов в аспекте «адресант» (авторское «Я») – «адресат» позволяет выявить целую систему различных: прямых, косвенных, метонимических – способов авторской самопрезентации, т. е. способов выражения субъектов, репрезентирующих особенности эгоцентрической речевой деятельности в поэзии.

Надо полагать, что система способов авторской самопрезентации зависит от типа поэтического произведения, от возможностей общения автора с читателем и не может быть одинаковой в лирике XIX в. и в рок-поэзии конца XX – начала XXI вв. Если в классической поэме автор ограничен рамками традиционно устоявшихся форм книжной речи, обращаясь к своему будущему неведомому читателю опосредованно, лишь через печатное слово, то массовый характер рок-культуры обеспечивает особый вид непосредственного контакта со слушающим. Сопровождающее музыкальное оформление, равно как и сама форма песни, предполагает постоянное общение с тем кругом лиц, до которых автор или исполнитель, часто в одном лице, доносят замысел, эмоциональный и интеллектуальный заряд, который сам послужил стимулом к созданию художественного произведения. Цель – найти кратчайшие пути максимально полного и обоюдного взаимопонимания с аудиторией.

Авторская самопрезентация в тексте произведения предполагает представление автора как субъекта речи («говорящего»), как творца, как авторское «Я» (лирический герой), как «внутреннее “Эго”», которое контролирует самого субъекта, знает цели говорящего» [Степанов 1984, 30], расслаивающиеся, эволюционирующие и воссоединяющиеся в поэтической речи.

Субъективный мир автора «в современной литературе оказывается непосредственной проекцией в ... бесконечной реальности, окружающей человека; внешний мир, на первый взгляд совершенно независимый от человека, отгороженный от него границей, разделяющей материальное и духовное, выявляет свою парадоксальную взаимосвязь и взаимозависимость с иррациональными глубинами человеческого сознания» [Евлампиев 1996, 48]. Рок-поэзии, моделирующей непосредственное восприятие мира субъектом и его (субъекта) процесса, мышления, свойственно доминирование в структуре текста одной-единственной точки зрения – «говорящего».

Согласимся с А. Дидуrowым, полагавшим, что настоящую рок-поэзию отличает совершенно неконтролируемый интеллектуальный и эмоциональный «выброс», неповторимость стилистики и интонации, честность и искренность, как основные составляющие энергии текста [Золотое 1992, 5].

Так, наиболее характерным для рок-поэтической речи является прямой способ авторской самопрезентации через субъектную модель «Я–Я» (где авторское «Я» расслаивается на «Я» – текстовый субъект внешних действий адресованной речи – и «Я₁» – субъект внутренней речи, рефлексивных действий), которая воплощает релевантные особенности поэтической речи как автокоммуникативного процесса: *Я – церковь без крестов / Лечу, раскинув руки. / Вдоль сонных берегов / Окаменевшей муки. / Я – вера без причин. / Я – правда без начала. / Ты слышишь, как вскричала / Душа среди осин* (Ю. Шевчук. Церковь); *Я не люблю, когда мне врут, / Но от правды я тоже устал. / Я пытался найти уют, / Говорят, что плохо искал* (В. Цой. Муравейник).

Отметим, что автокоммуникативные конструкции наиболее частотны в поэтической речи Ю. Шевчука, который часто выстраивает текст по схеме «вопрос – ответ», где вопрос тяготеет к риторичности: *Мне судьба немало даст, и с милою моей / Мы к финалу наскребем на пару “Жигулей”. / Но один грызет меня вопрос, ох, непростой – / Как взгляну в глаза своей гитаре холостой?* (Ю. Шевчук. Бродяга); *Что такое осень – это небо. / Плачущее небо под ногами. / В лужах разлетаются птицы с облаками. / Осень – я давно с тобою не был* (Ю. Шевчук. Что такое осень).

Свойственны такие конструкции и поэтике А. Макаревича: *Я увезу тебя туда, где от горя нет следа, / И никогда летним днем нет ни гроз, ни дождей. / Там, на далеком берегу, я сберегу тебя смогу / И помогу позабыть хоровод серых дней. / Где мой дом? Тут он, или там, там, там? / Где мой дом? Где мои друзья? / Как мне быть? Как туда доплыть, плыть, плыть? / Знаю только я. Знаю только я. Знаю только я* (А. Макаревич. Знаю только я). В данном контексте представлен типичный для автокоммуникативного процесса вопрос, в котором уже воспроизводится или предполагается возможный ответ «Я».

Достаточно часто встречаем этот способ авторской самопрезентации в поэтической речи В. Цоя: *В городе мне жить, или на выселках? / Камнем лежать / Или гореть звездой?* (В. Цой. Кукушка); *Почему я молчу, почему не кричу, молчу. / Электричка везет меня туда, куда я не хочу* (В. Цой. Электричка).

Лирический герой В. Цоя, реализуемый в авторском «Я», – это подросток как полная энергии личность, ещё не до конца сформировавшаяся, но уже имеющая определённые взгляды на жизнь, часто идущие вразрез с общепринятыми нормами: *Белая гадость лежит под окном. / Я ношу шапку и шерстяные носки* (В. Цой. Солнечные дни); *Я, лишь начнется новый день, / Хожу, отбрасывая тень, с лицом нахала* (В. Цой. Бездельник-2); *Я иду по улице в зеленом пиджаке. / Мне нравятся мои ботинки. / А ещё красивый галстук у меня. / Я гладил брюки два часа. / В парикмахерской сидел с утра* (В. Цой. Я иду по улице). Это герой, который смотрит на все окружающее сквозь призму юношеского максимализма: *В толпе я как иголка в сене. / Я снова человек без цели* (В. Цой. Бездельник); *И куда-то все подевались вдруг. / Я попал в какой-то не такой круг. / Я хочу пить, я хочу есть. / Я хочу просто где-нибудь сесть* (В. Цой. Время есть, а денег нет); *Я смотрю в ночь. / Я вижу, что ночь темна. / Но это не станет помехой / Прогулке романтика* (В. Цой. Прогулка романтика). Он – боец за собственную индивидуальность: *Все говорят, что надо кем-то мне становиться, / А я хотел бы остаться собой* (В. Цой. Бездельник-2). И этому герою не суждено было вырасти потому, что автор погиб в достаточно молодом возрасте, не успев перейти на новый уровень отношения к жизни и, таким образом, представить «выросшего», окончательно сформировавшегося как личность героя.

В рок-поэтической речи как способ самопрезентации часто встречаются конструкции директивной семантики, призванной навязать адресату точку зрения субъекта речи. Навязывание осуществляется с разной степенью интенсивности.

Наиболее четко данная конструкция прослеживается в текстах Ю. Шевчука, что, надо полагать, объясняется личностными мировоззренческими установками, присущей ему категоричностью: *Серое пламя асфальтовых рек, / Канализационный взгляд / Люков, впаянных в этот век, / Сквозь них – только вниз, / Но не назад! / Ни шагу назад, только вперед, / Это с собою ночь зовет* (Ю. Шевчук. *Ни шагу назад*).

Стремление «навязать» слушателю свою точку зрения выражается чаще всего глаголами в повелительном наклонении: *Давайте делать паузы в словах, / То говоря, то умолкая снова. / Чтоб лучше отдавалось в головах / Значенье вышесказанного слова. / Давайте делать паузы в словах* (А. Макаревич. *Давайте делать паузы в словах*); *Пой свои песни, пей свои вина, герой. / Ты опять видишь сон о том, что все впереди. / Стоя на крыше, ты тянешь руку к звезде. / И вот она бьется в руке, как сердце в груди* (В. Цой. *Пой свои песни, пей свои вина, герой*).

Автор может уходить от прямой назидательности: *Зачем мы так кричим? / Ну зачем мы так кричим? / В песнях никогда я не поучал, / Я просто очень рад, / Что я сыграл вам песню, / В которой не кричал, / А тихо-тихо пел* (А. Макаревич. *Самая тихая песня*). Однако явная обращенность автора к аудитории вкупе с используемой «ролевой маской» ее наставника, врачавателя (обратим внимание на экспрессивное прагматически отмеченное противопоставление «Мы–Я») объясняет предпочтение именно директивного типа конструкций.

В поэтических текстах Янки Дягилевой, творчеству которой свойственна глубокая интровертность, рефлексивность, сочетаемые с депрессивным образным строем и звукорядом, конструкции директивной семантики нередко сочетаются с автокоммуникативными чертами (обезличенностью лирического героя произведения, рефлексивными размышлениями и др.): *Кидай свой бисер перед вздернутым рылом / Кидай пустые кошельки на дорогу / Кидай монеты в полосатые кепки / Свои песни в распростертую пропасть* (Я. Дягилева. *Рижская*).

В. Цой, напротив, в декларативных конструкциях включает авторское «Я» в «Мы», которым он обозначает группу людей, к которой принадлежит и сам лирический герой: *Мы в 14 лет знаем всё, / Что нам надо знать. / И мы будем делать всё, что мы захотим; Наше сердце работает как новый мотор. / Почему и чего мы ещё должны ждать? / Мы будем делать всё, что мы захотим. / А сейчас, сейчас мы хотим танцевать* (В. Цой. *Мы хотим танцевать*); *Есть два цвета – черный и белый, / А есть оттенки, которых больше. / Но нам нет никакого дела / До тех, кто черный, кто белый. / Мы, дети проходных дворов, / Сами найдем свой цвет* (В. Цой. *Дети проходных дворов*); *Мы хотим видеть дальше, / Чем окна напротив. / Мы хотим жить. / Мы живучи, как кошки. / И вот мы пришли заявить о своих правах. / Слышишь шелест плащей? / Это мы. / Дальше действовать будем мы* (В. Цой. *Дальше действовать будем мы*). Лирический герой В. Цоя – это всегда боец, требующий перемен: *Перемен требуют наши сердца. / Перемен требуют наши глаза. / В нашем смехе, и в наших слезах, / И в пульсации вен. / Перемен! / Мы ждем перемен* (В. Цой. *Перемен!*). Герой готов отстаивать право человека

на свободу и самовыражение и перед людьми: *И мы будем делать всё, что мы захотим. / Пока вы не угробили весь этот мир* (В. Цой. *Мы хотим танцевать*). Так, через подразумеваемую под местоимением *мы* группу людей, поэт выражает собственное мировоззрение, ведь «в нем было геройство, но геройство абсолютно естественное» [Звезда 2003, 125].

В анализируемом материале зафиксированы конструкции декларативной семантики, прямо выражающие позицию авторского «Я»: *Когда стемнеет не по закону / До срока и до поры, / Я выключу свет, и псом бездомным / Выпозу из конуры. / Не бойся меня в этот сумрачный вечер, / Имя свое назови. / Я очень ценю случайные встречи / В эпоху большой нелюбви. / Тебе совсем не надо стараться / Держать неприступный взгляд, / Ты тоже устала от всех отбиваться, / А я – не клиент, а брат. / Надеюсь, ты примешь мое предложение – / Мы выпьем и поговорим. / Я очень ценю тепло отношений / В эпоху большой нелюбви* (А. Макаревич. *Эпоха большой нелюбви*); *А я смеюсь, хоть мне и не всегда смешно. / И очень злюсь, когда мне говорят, / Что жить вот так, как я сейчас нельзя. / Но почему? Ведь я живу? / На это не ответить никому. / Мои друзья всегда идут по жизни маршем. / И остановки только у пивных ларьков* (В. Цой. *Мои друзья*); *Я неуклонно стерженею / С каждым смехом, с каждой ночью, / С каждым выпитым стаканом / Я заколачиваю двери / Отпускаю злых голодных псов с цепей на волю / Некуда деваться – тебе остались только сбитые коленки* (Я. Дягилева. *Я стерженею*). Последний текст имеет характерный для Я. Дягилевой оттенок рефлексии.

Широко представлены в рок-поэзии косвенные способы авторской самопрезентации. Авторы преимущественно используют субъектные модели, имитирующие направленные коммуникативные действия. Проникновение в эгоцентрический контекст элементов адресованной речи вызывает трансформацию одной из составляющих исходной «Я–Я» модели: «Я» превращается в «Ты», соответствующее позиции внутреннего адресата. Такая коммуникативная двойственность поэтических сообщений воплощается в «Я–Ты»-высказывании и становится разновидностью «Я–Я». Наиболее отчетливо коммуникативная условность номинации «Ты» проявляется в тех текстах, в которых моделируется ситуация поэтической рефлексии. Здесь предстает наименее коммуникативно направленный вариант эгоцентрической речи, «Ты» равно «Я₁»: *Как легко решить, что ты слаб, / Чтобы мир изменить. / Опустить над крепостью флаг / И ворота открыть. / Пусть толпа войдет в город твой, / Пусть цветы оборвет, / И тебя в суматохе людской / Там никто не найдет* (А. Макаревич. *Флаг над замком*); *Ты думал, что здесь легко встать / Высоко полететь, глубоко не упасть / Познать этот мир и остаться счастливым, / Ты принёс в него веру, добро и кулак. / Нарезая любовь, раздавал просто так, / Всем кто хотел – ты всех осчастливил. / Теперь у тебя одна скучная комната / Ты в тёмных очках ждёшь конца света, / Душа в теле женщины ищет, но не дома ты, / Ты там где на брошенных стенах желтеют газеты* (Ю. Шевчук. *Герой*).

Активно использует это способ авторской самопрезентации В. Цой: *Ты смотришь назад, но что ты можешь вернуть назад? / Друзья один за одним превратились в машины. / И ты уже знаешь, что это – судьба поколений. / И если ты можешь бежать, то это твой плюс* (В. Цой. Подросток); *Ты должен быть сильным, / Ты должен уметь сказать: / «Руки прочь от меня!» / Ты должен быть сильным, / Иначе зачем тебе быть?* (В. Цой. Мама, мы все тяжело больны); *Утром ты стремишься скорее уйти. / Телефонный звонок как команда – вперед!* (В. Цой. Последний герой).

Эгоцентризм поэтической коммуникации, кроме уже рассмотренных случаев разнообразных способов авторской самопрезентации, находит свое воплощение в метонимической доминанте и в экспансии в субъектную модель формы 3-го лица, то есть в создании не прямых (инвертированных, метонимических) образов поэтических адресантов. Модель «Я–Он» предполагает ситуацию, в которой один из коммуникантов становится объектом рефлексивной деятельности другого коммуниканта и приобретает статус персонажа. Так, монологические «Я–Он»-высказывания имеют форму дефиниций, адресованных выражений – соответственно ситуации вынесения окончательной оценки: *Где-то есть люди, для которых есть день и есть ночь. / Где-то есть люди, у которых есть сын и есть дочь. / Где-то есть люди, для которых теорема верна. / Но кто-то станет стеной, / А кто-то плечом, под которым дрогнет стена* (В. Цой. Война); *Вот хитрейшие просто давно положили на всё. / Налепив быстро мягкий мирок на привычных их телу костях, / Лишь смеются над нами, погрязшими в глупых страстях. / Им давно наплевать на любое, твое и мое. / Я получил эту роль. Мне выпал счастливый билет.* (Ю. Шевчук. Я получил эту роль); *И случилось однажды, о чем так мечтал. / Он в горящую точку планеты попал. / А когда наконец-то вернулся домой, / Он свой старенький тир обходил стороной. / И когда кто-нибудь вспоминал о войне, / Он топил свою совесть в тяжелом вине. / Перед ним, как живой, тот парнишка стоял. / Тот, который его об одном умолял: Не стреляй!* (Ю. Шевчук. Не стреляй).

Противопоставление «Я» и «Он» («Мы» и «Они») достигает апогея в творчестве Янки Дягилевой. Поэтесса практически полностью замкнута в своем внутреннем мире, ощущениях, эмоциях, переживаниях. Образы моделируются и komponуются в большинстве случаев интуитивно, ассоциативно, часто алогично: *Мы по колено в ваших голосах, / А вы по плечи в наших волосах, / Они по локоть в темных животах, / А я по шею в гибельных местах, / Мы под струей крутого кипятка, / А вы под звук ударов молотка, / Они в тени газетного листка, / А я в момент железного щелчка, / Мы под прицелом тысяч ваших фраз, / А вы за стенкой, рухнувшей на нас, / Они на куче рук, сердец и глаз, / А я по горло в них, и в вас, и в нас* (Я. Дягилева. Мы по колено).

Таким образом, изучение способов авторской самопрезентации приводит к следующим выводам.

Во-первых, в связи с тем, что «для рок-культуры наиболее характерна поэзия не целого произведения – стиха или поэмы, а определенных фраз, которые в сочетании

с музыкой дают органическую цепочку образов, воспринимаемых слушателями и дополняющих их собственной фантазией» [Золотое 1992, 4], автор – образ автора – авторское «Я» в поэтическом тексте предельно связаны и взаимообусловлены, что, в свою очередь, ведет к преобладанию моделей субъективной семантики «Я–Я», выражающих предельную степень эгоцентризма, погруженности в себя и в свой внутренний мир, с одной стороны, а с другой – конструкций директивной семантики, призванных навязать адресату свою точку зрения. Это, прежде всего, вызов ценностям, кажущимся ложными, призыв к раскрепощению человека, социальной справедливости.

Во-вторых, авторское «Я» как продукт деятельности выступает не только средством авторской самопрезентации, творческого самовыражения, но и формирования представлений об окружающей действительности на всех ее уровнях.

В-третьих, среди адресатных моделей в поэтической речи А. Макаревича и Ю. Шевчука доминируют «Я–Ты» и «Я–Он» высказывания в различных своих проявлениях (формы третьего лица, риторические вопросы и др.), для В. Цоя и Я. Дягелевой характерны модели «Я–Я» и «Я–Мы», только у Цоя «Я» включается в «Мы», не отделяется от «Мы», а у Дягелевой, наоборот, «Я» противопоставляется «Мы», исключается из него, что обусловлено интровертивной направленностью ее творчества.

Библиография

- Альтернатива. Опыт антологии рок-поэзии.* 1991. Москва: Издательство Объединение «Все-союзный молодежный книжный центр».
- Звезда по имени Солнце: Стихи, песни, воспоминания.* 2003. Сост. А. Корин. Москва: Издательство Эксмо.
- Золотое десятилетие рок-поэзии: Поэзия.* 1992. Сост. А. Дидуров. Москва: Издательство Молодая гвардия.
- Бескровная Ирина Александровна. 1978. *Классификация адресатов художественного текста.* Москва: Наука.
- Богин Георгий. 1991. *Рефлексия и понимание в коммуникативной подсистеме «человек – художественный текст» В: Текст в коммуникации: сборник научных трудов.* Москва: Институт языкознания АН СССР: 2–40.
- Выготский Лев. 1956. *Избранные психологические исследования.* Москва: Издательство АПН РСФСР.
- Дымарский Михаил. 1999. *Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX – XX вв.).* Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
- Евлампиев Игорь. 1996. *Андрей Тарковский и новая философия человека.* «Вопросы философии» № 12: 48–61.
- Кошечкина Инна. 1976. *К проблеме знака и значения в языке.* Москва: Наука.
- Лукин Владимир. 2005. *Художественный текст: Основы лингвистической теории. Аналитический минимум.* Москва: Издательство «Ось-89».
- Степанов Георгий. 1984. *К проблеме единства выражения и убеждения (автор и адресат).* Москва: Издательство Наука.

THE WAYS OF AUTHOR'S SELF-PRESENTATION IN RUSSIAN ROCK POETRY

This article considers various ways of the author's self-presentation in Russian rock poetry (Y. Dyagileva, A. Makarevich, V. Tsoi, Y. Shevchuk). The predominance of the "I-I" subject pattern is revealed. It is used to express the maximum egocentrism, whereas the directive syntactical units impose the author's opinion on the recipient. The author's "I" not only conveys the author's stand but forms the notion of reality. The "I-I" pattern can be altered into the "I-WE" pattern (V. Tsoi). The indirect self-presentation (the "I-YOU", "I-HE"/"WE-THEY" patterns) appears as well.

Kontakt z Autorkami:

gamalioi@mail.ru

o.b.kanevska@rambler.ru

Jadwiga Gracla

Katedra Białorutenistyki

Uniwersytet Warszawski

MAŁY BIES FIODORA SOŁOGUBA NA SCENACH POLSKICH

Key words: spectacle, drama, Sologub, expressionism, space

Najbardziej znany utwór Fiodora Sołoguba, jakim jest niewątpliwie *Mały bies*, należy do tekstów cieszących się stosunkowo dużym (jeżeli mamy na uwadze częstotliwość wystawiania tekstów z tej epoki w czasach współczesnych, pojawiających się na scenie niezmiernie rzadko bądź wcale) zainteresowaniem reżyserów – w tym również, co stanowić będzie przedmiot rozważań niniejszego szkicu, reżyserów polskich. Realizację sceniczną tej powieści można było obejrzeć w Polsce trzykrotnie: w 1985, 1990 (realizacja Teatru Telewizji oparta na spektaklu z 1985) i w 2005 roku. Użycie w tym kontekście określenia gatunkowego – powieść – zasługuje na podkreślenie i wyjaśnienie. W przypadku bowiem wszystkich wariantów scenicznych mamy do czynienia z **adaptacją powieści *Mały bies*** dokonaną na postawie jedyne polskiego jej przekładu pochodzącego z 1973 roku autorstwa Rene Śliwowskiego. W tym momencie jednak podkreślić wypada, że wybór ten obarczony jest piętnem grzechu pierworodnego – choć oczywiście jednocześnie pamiętać należy, że sam przekład funkcjonuje w obiegu filologicznym wiele lat i zawdzięczamy mu przybliżenie literatury rosyjskiego modernizmu, w tym dekadentyzmu w szczególności wielu pokoleniom literaturoznawców. Żaden z reżyserów nie zauważył niestety istnienia tekstu lepszego dla transpozycji utworu w widowisko – czyli scenicznej wersji *Małego biesa*, której autorem jest sam Fiodor Sołogub.

We wszystkich przywołanych realizacjach mamy do czynienia z adaptacją sceniczną **powieści** nie zaś, co byłoby znacznie lepszym wariantem, z transpozycją *testo spettacollare* na scenę. Ów grzech pierworodny rzutować będzie na wszystkie warianty sceniczne w ten sam sposób – odzierając je z aspektu nierealności, drugiego wymiaru, na który Fiodor Sołogub zwracał szczególną uwagę w swojej wersji scenicznej. Grzech ten jest tym bardziej ciężący w świetle słów autora wypowiedzianych właśnie po spektaklu *Małego biesa*, który odbył się w 1909 roku w moskiewskim teatrze Niezłobina:

Nie wierzę, żeby jakakolwiek inscenizacja mogła w naszych czasach ucieleśnić koncepcję współczesnego pisarza¹.

Zdanie to może stać się mottem kolejnych części niniejszych rozważań. Pamiętać należy, że Sologub należał do pokolenia pisarzy z teatrem związanych – nie tylko poprzez pisanie sztuk, lecz także poprzez zaangażowanie w proces reformowania teatru – poprzez świadomość konieczności zmian i jednocześnie tych zmian propozycje. Swoją koncepcję teatru przedstawił w pracy – *Teatr jednej woli*, zbliżając się do propozycji Nikołaja Jewreinowa dotyczących monodramy i jej znaczenia dla człowieka, i dla kształtu spektaklu. W przywołanej w tytule niniejszych uwag sztuce dał wyraz również swoim pomysłom na zreformowanie oblicza teatru, zbliżając się poniekąd do postulowanych przez Edwarda Gordona Craiga i nawet jego spadkobierców. Tekst wariantu scenicznego oferuje potencjalnemu odbiorcy/reżyserowi materiał, którego znaczenie jest trudne do przeoczenia – daje wizję teatralną, która, właściwie odszyfrowana i zinterpretowana, stanowić powinna szkielet potencjalnego widowiska. W swoim tekście Sologub konstruuje ją w sposób charakterystyczny dla dramaturgii początku XX wieku, ogniskując podstawowy konflikt pomiędzy dwoma światami – wykreowanym (przeważającym w dramacie) i realnym². W dramacie obok przestrzeni realnej i realnych postaci funkcjonuje przestrzeń wykreowana – rezultat chorobliwych urojeń – omamów – **brieda** (słowo бред może oznaczać szaleństwo, ale również urojenie³) Pieriedonowa – świat niedotyknąłka i ono samo. Jego pojawienie się w oczywisty sposób nawiązuje do założeń Wielkiej Reformy Teatru [Braun 1984, 60-74] i koncepcji wykreowanej przestrzeni Craiga⁴, ale jednocześnie wskazuje na znaczenie dla całości utworu tej właśnie przestrzeni i obecnego w niej niedotyknąłka. By dodatkowo uświadomić jego znaczenie, podkreślić należy, że w pewnym momencie sztuki Pieriedonow wchodzi do przestrzeni niedotyknąłka – z traci się w niej zupełnie i nigdy nie będzie mógł wrócić do realnego świata – przestrzeń początkowo zaledwie przywołana staje się więc z upływem czasu jego jedynym światem, który dodatkowo panuje nad przestrzenią realną. Niedotyknąłko zwycięża. I dzieje się to stopniowo: od kilku nieznaczących gestów, świstów, poprzez wprowadzenie do struktury sztuki snów i halucynacji Pieriedonowa, scen abstrakcyjnych, w których postacie realne stają się figurami z talii kart, aż do momentu, w którym niedotyknąłko przejmuje całkowitą władzę nad bohaterem, wciągając go do swojego świata. W teksie scenicznym Sologuba aspekt nie/realności nie/rzeczywistości, fanstasmagorii, urojeń, halucynacji zyskuje status specjalny, jest wyróżnikiem i jednocześnie określnikiem stanu bohatera i nieodłączną cechą jego osobowości – bez tej przestrzeni Pieriedonow nie może egzystować

¹ Przedstawienie zagrano trzy razy. Ze spektaklu na spektakl wzrastało zainteresowanie publiczności. Przyczyną zdjęcia spektaklu z afisza była samobójcza śmierć jednej z aktorek [http://www.fsologub.ru/o-sologube/pavlova_pisatel-inspektor-11.html, dostęp 15 XI 2015].

² Istnienie w dramacie podwójnej przestrzeni stało się niejako znakiem rozpoznawczym dramaturgii związanej z Wielką Reformą Teatru. Jej konstrukcja opierała się najczęściej na przeciwstawieniu dwóch przestrzeni: realnej/mimetycznej i nierealnej-fanastycznej-onirycznej/wykreowanej [Gracla 2002, 43-74].

³ Słowo to jest również terminem medycznym oznaczającym urojenie – zob. IDC 10 oznaczenia chorób psychicznych.

⁴ Podstawowym postulatem Ojca Wielkiej reformy było stwierdzenie: „geschaffen sein”, w myśl którego domagał się wykreowania rzeczywistości scenicznej i całkowitego odrzucenia zasady mimetyzmu.

– jest ona jego wewnętrznym światem i świata tego sceniczną projekcją. Oczywiście zdać sobie należy sprawę z tego, że konstrukcja takiej przestrzeni wymaga od reżysera talentu i pomysłu, ale również, a może przede wszystkim, pokory wobec tekstu i, co może jeszcze ważniejsze, świadomości czasów, w których tekst powstaje, ich specyfiki i związanej z nią sytuacji teatru. Jeżeli bowiem uwzględnić wszystkie te czynniki, okaże się, że tekst sceniczny (będący przecież autorską wersją wariacji powieści) Sologuba niesie ze sobą pokłady możliwości interpretacyjnych nieobecnych w wypadku pominięcia elementów świata nierealnego.

Przystępując do realizacji projektu scenicznego, pamiętać należy, iż wraz z rozwojem akcji zwielokrotnieniu ulega wpływ niedotykniałka na głównego bohatera. Tym bardziej że samo niedotykniałko również podlega przemianom: Początkowo jest jedynie kształtem, śmiejącym się czymś, co ukazuje się bohaterowi, jak gdyby chciało jedynie zaznaczyć obecność innego świata, niż ten, do którego przywykł (Niedotykniałko wygląda zza drzwi i się chowa, [Sologub 1909, 21]). Z biegiem czasu omam zaczyna żyć własnym życiem i jednocześnie podlega (jak sugeruje to tekst odautorski) antropomorfizowaniu. Niedotykniałko mówi do Pieriedonowa, śmieje się, gwiżdże. Na tym jednak nie koniec. Z czasem ono właśnie zaczyna dysponować przerażającą wiedzą. Przecież to właśnie ono utwierdza Pieriedonowa w jego urojonym przekonaniu o własnej wartości. Tworzy świat izolowany, świat niedostępny dla bodźców zewnętrznych, który z czasem staje się pryzmatem postrzegania rzeczywistości. W efekcie takiego działania pojawia się na scenie koszmarny równoległy wobec realnej rzeczywistości obraz stanu umysłu bohatera, projekcja chorej wyobraźni, ale też immanentnego zła drzemącego w człowieku, jego gorszego, podłego, nieokiełzanego alter ego, ukrytego przed światem Mr Hyde’a. Odbiorca dramatu (czyli w założeniu również widz spektaklu) ciągle ma świadomość podwójności funkcjonujących światów, pozostałe postacie dramatu nie zdają sobie sprawy z istnienia takiego zjawiska, zaś Pieriedonow swobodnie miesza fakty i postacie w nich istniejące. Konstrukcja ta eksponuje grozę sytuacji, upiorność zarówno psychiki głównego bohatera, jak i, poprzez osadzenie przestrzeni Pieriedonowa wewnątrz przytłaczającej i odrażającej prowincji – wraz z zamieszkującymi ją postaciami potworami, wyzutymi nawet z cienia zasad moralnych i jakichkolwiek śladów piękna, jego otoczenia.

Wszystko to składa się na modernistyczny/dekadenski sztafaż tekstu dramatycznego, ale również powieści (bowiem świat fantastyczny, kreowany, przestrzeń urojeń Pieriedonowa są obecne w powieści w postaci monologów wewnętrznych bohatera lub podana w formie opisu) i domaga się w wypadku realizacji scenicznej pełnej transpozycji.

W przypadku przywołanych na początku realizacji scenicznych mamy jednak do czynienia z sytuacją inną od wyżej założonej. Przyjrzyjmy się dokładniej dwóm z nich: realizacji z 1985 roku z krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego w reżyserii Rudolfa Zioly i powstałej po dwudziestu latach realizacji warszawskiego Teatru Powszechnego im. Z. Hübnera w reżyserii Remigiusza Brzyka. Obydwa spektakle łączy nazwany już wcześniej grzech pierworodny – są adaptacjami powieści, nie realizacją tekstu dramatycznego⁵. I wydaje się, że właśnie z owej niefrasobliwości, lub, zbytniej wiary w prawa

⁵ W trakcie analizy korzystam z materiałów zamieszczonych w wirtualnym archiwum platformy e-teatr.

i możliwości reżysera, wynikają wszystkie wady/niedociągnięcia spektaklu. Można odnieść wrażenie, że obydwaj reżyserzy uwierzyli w słowa Craiga, który zezwalał na dokonywanie cięć i skreśleń w tekstach przeznaczonych do wystawienia dramatów⁶. Zapomnieli jednak, że wszystkie te zabiegi, jak podkreślał Prawodawca Reformy, służyć miały zachowaniu tempa spektaklu, jego sceniczności nie zaś zmianie wewnętrznych akcentów utworu i jego przesłania. W przypadku omawianych spektakli zmiana środka ciężkości wyrażająca się w obydwu spektaklach poprzez rezygnację z przedstawienia wewnętrznego świata *Pieriedonowa* i przede wszystkim samej postaci niedotykniałka (jedynie w wersji telewizyjnej, będącej udoskonaloną formą spektaklu krakowskiego niedotykniałka pojawia się w postaci czarnego kota) powoduje, że tekst uznawany za sztandarowe dzieło rosyjskiego dekadentyzmu zostaje sprowadzony do poziomu tekstu realistycznego, w najlepszym wypadku naturalistycznego. Jak zauważa jeden z krytyków po spektaklu z 1985 roku:

To, co się dzieje na scenie (to – dop. JG) życie zamkniętej społeczności rosyjskiej prowincji u schyłku XIX wieku, życie jakby ukazane przez Gogola i Dostojewskiego w bolesnym przeniknięciu się ich spojrzenia, życie szatańsko przemienione w ponure królestwo, lęku i grozy, życie mizdrzące się skretyniałym kuglarstwem i podrygujące cyrkowo uszminkowaną farsą – odsłania dalsze perspektywy. W takiej rzeczywistości nie ostoi się nic, co prawdziwie ludzkie. Ani miłość; ani wiara [Kania, <http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/44085.html>].

Rzeczywiście, wszelkie ludzkie odruchy, prymitywna nawet moralność czy resztki przyzwoitości to cechy niemieszczące się w stworzonym przez reżysera świecie. Podobne wrażenie odnieść można po spektaklu z Teatru Powszechnego. Jednak pytanie, które pozostaje w tym momencie otwarte, nie dotyczy przecież rzeczy oczywistych. W tekście utworu Sołoguba rzeczywiście pojawia się wyzuty z wszelkich cech pozytywnych świat – prowincja kumulująca w sobie całe zło tego świata – ale nie tylko. Jeżeli założyć, że jest to jedyna wartość prozy (dramatu dekadenta), to czym różnią się one od kreacji przestrzeni Suchowo-Kobyłina czy Sałtykowa-Szczedriny? Czy jedynym filarem tekstu jest odrażające, czarne, przytłaczające przedstawienie rzeczywistości i zdegenerowanej jednostki? Czy jej zdegenerowanie wreszcie wynika bezpośrednio z otoczenia, w którym toczy swoją egzystencję, czy też zło jest immanentną cechą osobowości człowieka, od której nie może się uwolnić, choć próbuje w każdy możliwy sposób? Obydwaj reżyserzy podążyli pierwszym z możliwych torem, eksponując nadmiernie brzydotę wewnętrzną i zewnętrzną. I w tym wypadku postąpili wbrew woli autora, w którego zamyśle zło jest cechą immanentną stworzonego świata, widoczną w każdym jego przejawie i, w końcu, zobrazowana w postaci niedotykniałka. W obydwu spektaklach tymczasem, zamiast wprowadzenia tej postaci, zachowano i przejaskrawiono scenę, w której bohaterowie pluja na ściany, rzucają w nie ciastem, innym jedzeniem, śmieciami. Scena ta znajduje się w strukturze zarówno powieści, jak i tekstu scenicznego. Jej pojawienie się w strukturze spektaklu jest usprawiedliwione. Jednak brak drugiej płaszczyzny – niedotykniałka i jego świata (elementy te mogłoby się pojawiać chociażby w formie przestrzeni przywołanej,

⁶ Temu przekonaniu dał wyraz chociażby w swojej realizacji *Hamleta* [Zob. Sugiera 1995, 36].

jak ma to miejsce na początku dramatu – w monologach/ dialogach ze swoim alter ego Pieriedonowa) powoduje, że całkowita uwaga odbiorcy zostaje zwrócona na zewnętrzny aspekt funkcjonowania bohaterów, sprowadzając je do prowincjonalnej okropności. Wszystko to więc staje się naturalistyczną sceną rodzajową, straszną, budząca obrzydzenie i wstręt odbiorcy. Tym większe, że konstrukcja przestrzeni scenicznej zdaje się owe cechy potęgować. W spektaklu z 1985 roku wykorzystano chwyt scenografii pozbawionej „czasu i przestrzeni”, swobodnie żonglując kostiumem i rekwizytem, stworzono w zamierzeniu obraz uniwersalny. Szary, okropny, miejscami koszmarny, miejscami groteskowo śmieszny. To pomieszanie sygnałów przestrzennych zapewne powinno dać iluzję ponadczasowości przesłania.

W przypadku spektaklu warszawskiego przestrzeń zbudowano bardziej według zasady umowności, dzieląc ją na potrzebne fragmenty za pomocą zwisających z sufitu grubych sznurów, zaś postacie wydobywając z mroku za pomocą snopów światła rzuconych z reflektorów. Chwyt ten: światło/szarość/ mrok odsyłają do innych niż charakterystyczne i współczesne Sologubowi tendencje teatralne – są chwytami sztandarowymi dla drugiego etapu Reformy – czasów działalności Wsiewołoda Meyerholda, Maxa Reihnarda, Loepolda Jessnera [Bab 1953; Bablet 1980]. Sologub tworząc drugą przestrzeń, wyraźnie wpisał się w nurt pierwszego jej etapu – kontynuował myśli Craiga, Appii i Fuchsa – w której widowisko sceniczne miało opierać się na scenografii wykreowanej, świecie niewidzianym nigdy przedtem, zrodzonym z wyobraźni twórcy. Oczywiście, można założyć również, że tekst ten stanowić może kompilację dwóch sposobów myślenia o uniwersum scenicznym – Craigowskiego – *geschaffen sein* z Edschmidowskim twierdzeniem: „Świat istnieje, powtarzanie go byłoby pozbawione sensu. Widzieć go w ostatnim drgnięciu, szukać jego jądra, tworzyć go na nowo – to największe zadanie sztuki” [*Ekspresjonizm* 1983, 127]. Takie postawienie akcentu skłania do dalszych rozważań. Jeżeli bowiem świadomie – a należy tak założyć – reżyserzy odrzucili teatralną spuściznę Craiga na rzecz śladów (w wypadku obydwu spektakli nie może być mowy o stworzeniu całościowego modelu rzeczywistości scenicznej podległej założeniom drugiego etapu – chociażby ze względu na brak charakterystycznej dla niego wielopłaszczyznowości przestrzeni, chociaż jej wykorzystanie mogłoby umożliwić pojawienie się niedotyknia – właśnie ponad realną przestrzenią, do której drogę znałby tylko Pieriedonow) koncepcji scenograficznych drugiego etapu reformy – popełnili grzech zaniechania tym bardziej ciężący, że dokonany wobec spuścizny pisarza dramaturga, który tekst dla życia na scenie przeznaczył. Oczywiście, trudno czynić teatrowi zarzut z tego, że jest mniej od literatury doskonały. W tym wypadku jednak nie można mówić o niedoskonałości przybytku Melpomeny. Jego ograniczenia nie są przeszkodą dla zrealizowania spektaklu wiernego idei tekstu tym bardziej, że istnieje wiele różnych możliwości kreowania przestrzeni niedotyknia. Obydwaj reżyserzy zdecydowali się jednak na rozwiązanie względem tekstu – zarówno powieści, jak i w jeszcze większej mierze dramatu – najgorsze. Motto rozważań Sologuba: **Spalić ją chciałem, czarownicę złą**, zostało zagubione. Kto miałby być ową czarownicą, kogo chciał spalić bohater, to pytania, których odbiorca sobie nie postawi, gdyż nic go do tego nie skłania. Kim jest wobec tego tytułowy *Mały bies*? Na to pytanie widz nie uzyska odpowiedzi.

Realizacja sceniczna jest zawsze obarczona ryzykiem: popełnienia błędu, przeoczenia, przejawskrawienia wreszcie, z czym mamy do czynienia niestety coraz częściej nadinterpretacji, czasem nawet błędnej interpretacji. Wielcy reżyserzy mają prawo do ingerencji w tekst. Z tym twierdzeniem, jak wspomniałam, wystąpił w sposób zdecydowany Craig. Ale wszystkie te ingerencje muszą mieć swoje uzasadnienie. Jeżeli więc reżyserzy *Małego biesa* postanowili odrzucić fantasmagoryczną płaszczyznę utworu, to przecież zachowanie bohatera można było uzupełnić o cechy związane z chorobą psychiczną (w przypadku Pieriedonowa schizofrenią), co w jakiś sposób do płaszczyzny nie/realnej mogłoby odsyłać. Chwyt taki nie jest obcy teatrowi polskiemu. Wspomnijmy, że jako ludzi chorych psychicznie przedstawiał swoich bohaterów jeden z najwybitniejszych reżyserów polskich Konrad Swinarski, który szaleństwo/bunt bohatera romantycznego sprowadzał również do wymiaru somatycznego (Orcio z *Nie-Boskiej komedii* był w jego interpretacji dzieckiem chorym psychicznie, zaś Konrad z *Dziadów* i *Wyzwolenia* chorował na epilepsję). Przywołanie właśnie Swinarskiego w kontekście rozważań o *Małym biesie* może wydać się nieuzasadnione. Jednak to właśnie on, realizując swoje dzieła: „Równocześnie z odtwarzaniem wizji autora, odwoływał się do wiedzy historycznej o danej epoce, wiedzy, która ukazywała rzeczywistość pełniejszą, dawała szerszy kontekst pomocny w odczytaniu dzieła” [<http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/6236.html>]. Tak pojmowany teatr, a przede wszystkim spektakl powstający na podstawie określonego tekstu, mógł stać się, jak twierdzi Zygmunt Osiński: „nieustannym przebijaniem się ku rzeczywistości, ku prawdziwemu poznaniu człowieka i świata” [Osiński 1979, 68].

Dlatego też, mimo że reżyser ten dramatu Sołoguba nie zrealizował, pozostawił po sobie wizję, której reżyser winien hołdować, dokonując jakichkolwiek ingerencji w tekst: domagał się mianowicie znajomości realiów i czasów, w których dany tekst powstał. Znajomość ta wymusiłaby zwrot nie tylko ku koncepcjom teatralnym, lecz także przede wszystkim ku nurtowi, którego najznamienitszym rosyjskim przedstawicielem był Sołogub i jego *Mały bies* – ku dekadentyzmowi. Z niego w spektaklach nie pozostało już nic, został zmieciony przez brud prowincji – realistyczno-naturalistyczny sztafaż. I również dlatego *Mały bies* ciągle czeka na pełną realizację sceniczną.

Bibliografia

- Bab J. 1953. *Teatr współczesny*. Przeł. Misiólek E. Warszawa: PIW.
Babiet Denis., 1973. *Współczesna reżyseria*. Warszawa: PIW.
Babiet Denis. 1980. *Revolucje sceniczne XX wieku*. Przeł. Strzelecki Z., Mazur K. Warszawa: PIW.
Braun Kazimierz. 1984. *Wielka Reforma Teatru. Ludzie – Idee – Zdarzenia*. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Brauneck M. 1993-2005. *Die Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters*. T. 1-5. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag.
Ekspresjonizm w teatrze europejskim. 1983. Przeł. Choińska A., Choiński K., Radziwiłłowa E. Warszawa: PIW.
Gracla Jadwiga. 2013. *Dramat wobec sceny. Echa ewolucji teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku*, Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.

- Gracla Jadwiga. 2002. *Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie*, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
- Gracla Jadwiga. 2006. *Modus egzystencji postaci jako studium choroby psychicznej (Próba analizy scenicznej wersji Małego biesa Fiodora Sologuba)*. „Studia Rusycystyczne” nr 14: 21-27.
- Kania Kazimierz. *Gorzki i okrutny spektakl*. W: <http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/44085.html> [Dostęp 12 X 2015].
- Kowzan Tadeusz. 1988. *Znak w teatrze*. W: *Problemy teorii dramatu i teatru*. Red. Degler J. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Nicoll Allardyce. 1983. *Dzieje dramatu*. Przeł. Krzeczkowski H., Niepokólczycki W., Nowacki J. Warszawa: PIW.
- Osiński Zbigniew. 1979. *Prace reżyserskie i scenograficzne Konrada Swinarskiego*. „Pamiętnik Teatralny: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru” z. 1: 3-104.
- Pavis Patrice. 1998. *Słownik terminów teatralnych*. Przeł. Świontek S. Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Sielicki Franciszek. 1996. *Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce Międzywojennej*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Sologub Fedor. 1909. *Melkij bes*. Moskwa : Izdatel'stvo AST : Astrel'.
- Sugiera Małgorzata. 1993. *Craig, Stanisławski i moskiewski Hamlet*. „Dialog: miesięcznik Związku Literatów Polskich” t. 38, nr 8: 98-108.
- Swinarski Konrad. 1988. *Wierność wobec zmienności*. Wstęp Fik M. Red. Fik M. i Sieradzki J. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
- Taranienko Zbigniew. 1981. *Rozmowy o teatrze*. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
- Teatr Konrada Swinarskiego. Rekonesans*. 1978. Red. Udalska E. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
- Semil Małgorzata, Wysińska Elżbieta. 1990. *Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie*. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Źródła internetowe:

<http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/6236.html> [Dostęp 15 X 2015].

<http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/2358,sztuka.html> [Dostęp 18 X 2015].

http://www.fsologub.ru/o-sologube/pavlova_pisatel-inspektor-11.html [Dostęp 20 X 2015].

Summary

THE PETTY DEMON BY FYODOR SOLOGUB ON POLISH STAGES

The present article focuses on the post-war stage productions of Fyodor Sologub's *The Petty Demon* (also known as *The Little Demon*). The history of stage productions of Sologub's novel in Poland is discussed. The author notes the absence of a key figure – *niedotykomka* (little demon) – and the implementation of the stage text of the novel instead of a text of play. Due to these facts, as well as because of the lack of allocation of space into the fantastic and the realistic, the performance does not reflect the ideas of the original text. According to the author, there was a shift in emphasis in the stage performances, damaging the symbolic and decadent nature of the text.

Kontakt z Autorką:

jadwiga.gracla@us.edu.pl

Tatiana Hajder

Instytut Filologii

Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

KWESTIONOWANIE GENOLOGICZNE I TEMATOWE WSPÓŁCZESNEJ FANTASTYKI SAKRALNEJ (A. WIŚNIEWSKI-SNERG, M. SOKOLAN I INNI)

Key words: fiction, Gospel story, mass literature, Apocrypha, stylized Apocrypha-novel

Literatura masowa ostatecznie kształtuje się na początku wieku XX, kiedy wskutek procesów urbanizacyjnych, migracyjnych oraz nowych form komunikacji powstaje społeczeństwo masowe. Kształtowaniu kultury miejskiej towarzyszy proces jej wyraźnego dominowania w „zdemokratyzowanym” społeczeństwie, o czym pisał J. Ortega y Gasset. Dalsza zaś ewolucja literatury masowej toczy się drogą komercjalizacji, która przynosi zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska. Odbywa się podział literatury na elitarną (z niej korzysta pewna grupa fachowców, ma ona też swego specjalnego odbiorcę) i wyraźnie masową (jako kryterium podstawowe przeważa w tym funkcja rozrywkowa). Wysunięcie się na pierwszy plan literatury masowej nie jest niespodzianką, gdyż obieg literatury rozrywkowej pociąga za sobą zazwyczaj poszerzenie koła czytelniczego. Na tym etapie współdziałanie literatury masowej i elitarnej przejawia się na poziomie strukturalnym, artystycznym, kompozycyjnym (utwory literatury masowej stają się bardziej skomplikowane, „głębsze”, uzupełnione o bardziej poważne tematy i rozwiązania). Interesujący i zwracający uwagę odbiorcy tekst pojawia się, gdy autor korzysta z ciekawych zwrotów akcji, fantazji i fantastyki. Elitarna literatura z kolei staje się mniej hermetyczna, mieści mniej treści oceniających. Autorzy próbują inaczej spojrzeć na świat i ocenić go. Ze względów teoretycznych czy – dajmy na to – typologicznych bada się szerzej rozgałęzienie kierunków: realistycznego, fantastycznego, postmodernistycznego, kryminalnego i wielu innych, czasem hybrydalnych w swej treści i formie. Zrealizowane one zostają w nowoczesnych modelach i gatunkowych modyfikacjach wynikających z motywacji autorów. Hierarchicznie ustalone, arcyważne wydarzenia kulturowe i historyczne skali światowej od zawsze istniały w literaturze jako powód do nawiązania dyskusji różnego typu. Dziś one też pozostają bodźcami i ułatwiają początek

konstruktywnego dialogu w ramach komunikacji literacko-artystycznej. W takich warunkach mit lub kanon obecny w utworze literackim sygnalizuje odbiorcy, że autor przygotowuje spotkanie z dobrze znaną fabułą. Zachowując więzi z pierwotnym kontekstem, proponuje się jednak nie kolejne streszczenie, lecz inwersję znanych treści. W tej sytuacji i czytelnik elitarny, i masowy pozostaną zadowoleni (pierwszy szuka dla siebie za archetypowymi postaciami i sytuacjami filozofii autora, próbuje nawiązać z nim dialog, wspólnie rozwiązać trudne problemy duchowne współczesności, drugi natomiast odnajduje rysy literatury nowiniarsko-gawędziarskiej, a w starych, znanych postaciach – elementy prawie zażyłych znajomych).

Jak wiadomo, powtarzalność fabuł i mitologienów jest metodą zasadniczą i cechą charakterystyczną literatury, w tym też literatury fantastycznej. Jednakże z szeregu tekstów reprezentujących świat fantastyczny wyłaniają się utwory, w których są wykorzystane wątek ewangeliczny i postacie biblijne jako elementy strategii tekstotwórczych. To pozwala umieścić taką literaturę na pograniczu genologicznym, a więc w centrum metodologii badań teoretyków i historyków literatury, ponieważ fantastyka staje się nie tylko wariantem literatury masowej, lecz także problemowym polem z punktu widzenia genologii. Kwestionując przynależność gatunkową oraz specyfikę tematową i artystyczną, należy rozpatrywać gatunki powieści apokryficznej (apokryfu literackiego) oraz podgatunki fantastyki współczesnej, które są różnie traktowane w teoretycznej tradycji literackiej ukraińskiej i zachodniej, w tym polskiej. Problem ten dotyczy zatem nie tylko krytyków literackich, historyków i literaturoznawców, lecz także duchowieństwa (katolickiego oraz prawosławnego), ponieważ obecność mnóstwa zmodyfikowanych inwariantów deskrypcji wydarzeń i postaci *Pisma Świętego* przekracza problematykę studiów *stricto* historycznoliterackich.

W ciągu minionego stulecia ukształtował się cały korpus powieści, których wątki fabularne są zorientowane na wydarzenia ewangeliczne. Najczęściej są one kwalifikowane w ramach *powieści apokryficznej*, lecz granice gatunkowe *powieści-apokryfu* są jeszcze płynne, o czym świadczą zarówno dyskusje dotyczące samych tekstów, mieszczących się w ramach tych wyznaczników gatunkowych, jak i brak jednolitego systemu terminologicznego.

We współczesnych studiach literaturoznawczych utwory narracyjne z motywami ewangelicznymi są pod względem gatunkowym określane różnorako, w zależności od dominanty fabularnej opartej na opowieściach ewangelicznych czy apokryficznych albo od sposobu łączenia fabuły ewangelicznej i klasycznej fabuły powieściowej, najczęściej – przygodowej. W związku z powyższym najczęściej używanym określeniem w stosunku do wspomnianych utworów pozostaje *apokryf*, częstokroć dodatkowo ogłoszony jako podtytuł przez samego autora (*Według Judasza. Apokryf* H. Panasa). Określenie to ujawnia istotę nowego gatunkowego inwariantu – w jego wyniku powstaje „stylizowany apokryf” (termin rosyjskiego literaturoznawcy O. Tatarinowa), „apokryf literacki” – w terminologii znanego ukraińskiego naukowca A. Niamcu, lub „apokryf apokryficzny” (termin S. Jerszowa). Z tej perspektywy całą literaturę piękną powiązaną tematycznie z *Biblią* można nazwać apokryficzną (A. Mień).

W swym pierwotnym znaczeniu *apokryf* (gr. *apokryphos*) znaczy ‘coś tajne, ukryte’. Chrześcijańskie znaczenie wyrazu *apokryficzny* znaczy ‘niekanoniczny, poza kanonem’. Tak więc uznanym kanonem dla chrześcijan są księgi *Pisma Świętego* – teksty sakralne, apokryfy natomiast – to tylko pamiątki kultury, plony twórczości odrębnych pisarzy. W praktyce są one fragmentami mitologii chrześcijańskiej, których wiarygodności nikt nie sprawdza i, zresztą, nie wymaga tym bardziej, że autorstwo większości apokryfów jest nieznane lub wątpliwe.

Inaczej mówiąc, całokształt apokryfów – to swoista kolekcja symulaków (*simulacre*), według terminologii Jeana Baudrillarda, a w zakresie gatunkowym – apokryf jest to stylizowany utwór literacki, który w szacie sakralności próbuje urzeczywistnić „hipotetyczne” lub wręcz „nierealne” i przedstawić to jako „prawdziwe”. Z uwagi na fraktalny charakter *Biblii*, w tym *Ewangelii*, można wyróżnić specyficzną poetykę w utworach literackich – powstają „markery-formuły” oznaczające bohaterów, dla których czytelnym polem skojarzeń są charakterystyczne „oznakowania” Zbawiciela: znamienne wydarzenia, czyny, słowa.

Powieści, których wątki fabularne zintegrowano wokół wydarzeń z życia Chrystusa, są na tyle zróżnicowane, że wynika potrzeba ich klasyfikacji wewnątrzgatunkowej. Dla większości badaczy tego zjawiska ważniejsza jest historia, a nie teoria gatunku. Stąd więc problemy poetyki i typologii gatunku *powieści apokryficznej* pozostają aktualne i nierozwiązane.

Powieść i *apokryf* kształtowały się mniej więcej w jednej epoce historycznej jako marginalne, niekanoniczne gatunki. *Powieść* – to pierwotnie profanny gatunek; jej marginalizacja odbywała się na poziomie ewolucji form gatunkowych – od klasycznego eposu do „eposu życia prywatnego”. Marginalność *apokryfu* polega na tym, że mieści się on na pograniczu sakralnego i profannego, co wynika z jego zasadniczego wyodrębnienia się z szeregu tekstów kanonicznych. Linie fabularne zarówno *apokryfu*, jak i *powieści* są skupione wokół postaci Chrystusa oraz historii jego życia. W kanonicznych tekstach ewangelicznych Jezus Chrystus jest pierwotnie wybrany do spełnienia swego przeznaczenia, jego osoba jest symboliczna, nacechowana znakowym, emblematycznym znaczeniem. W *apokryfach* natomiast przeważa zainteresowanie szczegółami jego życia ziemskiego, prywatnego, wydarzeniami z czasów dzieciństwa i lat młodzieńczych, zainteresowanie rodziną oraz latami nauki. Informacji o tych wydarzeniach w kanonicznych *Ewangeliach* praktycznie nie ma. Owo zaciekawienie życiem prywatnym zbliża *powieść* i *apokryf*; powstaje inwariant gatunkowy, którego fabuła jest, swoją drogą, też apokryficzna w odniesieniu do *apokryfu*. W istocie to ten inwariant jest okreśłany mianem *powieści-apokryfu*.

W ciągu XX stulecia historia ewangeliczna uzupełnia się w różnorakie zmyśłone, transformujące się wątki. Wypełnienie luk faktami, zacerpniętymi z apokryfów oraz źródeł niechrześcijańskich, „uzupełnienie” życiorysu Chrystusa powoli przemienia się w poszukiwanie oraz kształtowanie hipotez i koncepcji. Podłożem takiej przemiany stają się zazwyczaj globalne, głębsze zmiany, zachodzące w świadomości całego społeczeństwa pod wpływem procesów przewartościowania świata. Towarzyszą tym procesom

intensywne poszukiwania alternatywnych, nowych wartości lub przynajmniej rewizja starych. Dlatego też rodzą się alternatywne historie albo inne wersje historii ewangelicznej.

Za początek konceptualnych zmian w reprezentacji wydarzeń ewangelicznych uważane jest wydanie utworu R. Gravesa *Król Jezus* (1946). Od tego czasu zakorzeniona została tradycja proponowania oryginalnych hipotez stosownie do misji Chrystusa oraz jego pochodzenia. Powieść R. Gravesa jest jedną z pierwszych literackich prób-rozważań nad życiem Zbawiciela z punktu widzenia mitologicznego oraz historycznego zarazem, co otwiera nowy etap w dziejach gatunku *powieści apokryficznej*. O tym świadczą badania nad tego typu tekstami z zakresu historii i teorii literatury, filozofii, kulturologii (M. Bachtin, B. Szkłowski, O. Tatarenko, M. Eliade, S. Awierincew, E. Mielecinski, A. Mień itd.). W kontekście ukraińskim w ciągu ostatnich dwudziestu lat powstały opracowania dotyczące recepcji *Biblii* w literaturze ukraińskiej i światowej, uwzględniające współczesne kryteria estetyczne i etyczne oraz orientacje światopoglądowe. Chodzi przede wszystkim o prace M. Żułyńskiego, O. Myszanyca, A. Niamcu, I. Betko, L. Gołaba, W. Mokrego, W. Sułymy, W. Antofijczuka i wielu innych, w których najczęściej są rozpatrywane kwestie funkcjonowania postaci biblijnych oraz motywów ewangelicznych w twórczości pisarzy ukraińskich dawniejszych okresów, w mniejszym stopniu – w literaturze współczesnej (XX w.). Znacznie rzadziej są poddawane badaniom procesy transformacyjne fabuł i postaci biblijnych w literaturze światowej – praktycznie nie omawiano specyfiki i motywacji tych procesów. Jednak ważną kwestią, wspólną dla większości ww. badaczy, jest stwierdzenie faktu przemiany w świadomości autorów i czytelników w odróżnieniu od okresu ucisku totalitarno-ateistycznego. Odbyszał się ten proces, oczywiście, z opóźnieniem w porównaniu do kontekstu europejskiego, gdzie też zachodziły zmiany w ciągu całego XX stulecia, co jest tłumaczone nie tylko procesami sekularyzacji świadomości masowej i indywidualnej, lecz także dążeniem do uświadomienia wydarzeń biblijnych w świetle wspomnianych wizji alternatywnych oraz innowacyjnych, eksperymentalnych perspektyw narracyjnych (*Piąta ewangelia* M. Pomilio, *Od Judasza* H. Panasa, *Piąta ewangelia* F. Hassanaina, *Chrystus wylądował w Grodnie*. *Ewangelia od Judasza* W. Korotkiewicza¹, *Ewangelia od Marka* i *Fragmenty ewangelii apokryficznej*, *Trzy wersje zdrady Judasza* J. Borgesa i inne.). W wielu tekstach „ewangelii literackich” (w terminologii A. Niamcu) pojawia się *narrator kreowany*, a polifunkcjonalne przeniesienie centrum narracji warunkuje subiektywizację narracyjną stosownie do ogólnie znanego kontekstu oraz specyficzny kompozycyjny układ utworu. Ten chwyt właśnie jest jednym z głównych atrybutów *powieści apokryficznej*.

Powstające teksty literackie zorientowane na tradycję ewangeliczną różnią się zarówno poziomem artystycznym, jak i stopniem naśladowania Świętej Historii oraz sposobem reprezentacji realiów historycznych. Zrozumiałe, że przy ugruntowaniu teoretycznym gatunku *powieści apokryficznej* należy uwzględnić obok wątków, sytuacji, charakterystycznych dla różnych inwariantów gatunkowych, także poetykę gatunku. I tu szczególnie ważny i nadal aktualny wydaje się fakt badań nad poetyką *powieści apokryficznej* oraz ustalenie i opis jej utrwalonych cech strukturalno-tematowych przy założeniu, że

¹ Хрыстос прыязмліўся ў Гародні. Евангелле ад Іуды, 1965-1966.

w pewnym momencie ewolucji gatunek ten zaistniał na dwu poziomach zarazem: „wysokim” i zbeletryzowanym, masowym. Od początku okresu poszukiwań pisarzy w polu pozaliterackim (historycznym, filozoficznym, teologicznym) badacze ich twórczości zawsze napotykają kwestie dyskusyjne, wynikające z ogólnych założeń zdemokratyzowanej sztuki i literatury oraz wyjścia poza granice moralno-etyczne; są to również dyskusje dotyczące zasad wiary. Nie wypada też zapominać o prawach i regułach rynku – ten czynnik także wpływa na kształtowanie współczesnego świata artystycznego, a w tym i literackiego. Tak więc literatura masowa też wymaga „części” w reprezentacji tajemnic sakralnych i to w „sosie” sensacyjnym. W taki sposób historie biblijne trafiają do różnych wymiarów gatunkowych – od filozoficznej powieści apokryficznej do tzw. filozoficznej powieści fantastycznej.

We współczesnym postindustrialnym społeczeństwie wyraźnie jest zarysowana tendencja do zbliżenia literatury masowej i elitarnej. Podsycaną procesami globalizacji tendencję tę tłumaczy się dodatkowo zachwianiem świata w świadomości ludzi jako konstrukcji stabilnej, w której pion religijny odgrywał rolę niepoślednią, a obecnie stabilność ta jest co najmniej podważana w różny sposób. W tym kontekście wątki Historii Świętej wzbudzają szczególne zainteresowanie wśród twórców.

W tzw. literaturze masowej, w której obecnie istnieje własna „klasyka”, ambitnie wzorująca się na najlepszych przykładach „wysokiej” literatury światowej, pozostaje obszerny korpus zróżnicowanych gatunkowo i artystycznie tekstów opartych na wątkach biblijnych. Biorąc pod uwagę fraktalny charakter *Biblii* oraz dążenie do eksperymentów współczesnych pisarzy (próby rekonstrukcji historycznej i religijnej, stylizacje apokryficzne), zrozumią stąd fakt pojawienia się elementów kultury chrześcijańskiej w prozie świeckiej. Dziś kierunek takiej wzbogaconej w tematy chrześcijańskie prozy religijnej reprezentowany jest przez utwory *literatury masowej* i *fantastyki elitarnej* (wystarczy wymienić twórczość Dana Browna). Pragnąc nawiązać z nieprzygotowanym czytelnikiem dyskusję na głębsze i poważniejsze tematy natury duchowej, etyczno-psychologicznej, pisarze wprowadzają problematykę religijną ostrożnie, ukrywając się za porywającą fabułą i zaskakującą intrygą. Otóż pociągająca forma (gatunki fantastyczne) jest swoistą rekompensatą poważnych rozważań dotyczących głębszych tematów. Fantastyki (i nie tylko) proponują swoją wersję potraktowania *Wiecznych Tematów*, a kierunek, w którym kroczą, zyskał miano *mistyki sakralnej* lub *fantastyki sakralnej*² – spotykany jest nawet *neoromantyzm intelektualny* maskujący się pod fantastyką, wychodzący z jej powszechności i popularności [Чупринин 2015].

Wspomniany wyżej chwyt przeniesienia *centrum narracyjnego* [Нямцу 2009, 15] powoduje wielość „punktów widzenia” apriorycznie odbiegających od kanonu, z czego rodzi się swoisty hipertekst. W takim hipertekście z założenia istnieje mnóstwo modeli zachowań i wartościowania świata wśród postaci, które także z założenia różnią się od protoplasty i pierwotnych linii fabularnych. To z kolei jest zarazem i motywacją,

² Sam termin *fantastyka sakralna* zawdzięcza swoje pojawienie się almanachowi pod tym samym tytułem, wydawanemu od 2000 r. w Rosji, jest „projektem autorskim” D. Wołodychyna. Kierunek jest podobny do *fantasy*, lecz nie jest z nim identyczny.

i objaśnieniem postępowań bohaterów oraz rozwoju akcji w tekstach. Odbywa się próba „rekonstrukcji” utraconych detali klasycznych fabuł (inaczej mówiąc – interpretacja) pozwalająca w sposób nowy, często zadziwiający lub szokujący, odczytać starą historię lub wytłumaczyć motywację znanych wydarzeń. Trzeba podkreślić, że ten chwyt właśnie bardzo popularny w powieści europejskiej, intensywnie zapożycza się do literatury masowej, co pozwala jej zbliżyć się do szczytów artystycznych, dotąd nieznanach. W danym wypadku chodzi o fantastykę i jej współczesne odmiany, które uaktywniły się w swych tematowych poszukiwaniach egzystencjalnych (*fantastyka sakralna, mistyka sakralna, globalizm biblijny* itd.). Fantastyka i jej odmiany dawno zasłużyły na miano swoistej „literatury równoległej”, której wymiary i płaszczyzna krzyżują się z literaturą „zwykłą” co najmniej na poziomie genologicznym. Na tym tle można stwierdzać, iż fantastyka w swej ewolucji urasta do poziomu metagatunku. Jedną z badaczek fantastyki E. Kowtun stwierdza, że fantastyka też od dawna rozwarstwiona jest na fantastykę „elitarną” i „masową”, skomercjonalizowaną [Ковтун 2015]. Niestety, większość utworów nie zbliża się do arcydzieł pod żadnym względem. Tym niemniej pojawiają się godne uwagi dzieła z ową masówką w tle.

Przed wszystkim, w ślad za wypowiedzią Janusza Termera, chciałoby się przypomnieć o pierwowzorach:

(...) trzeba przede wszystkim zauważyć, że pomijana jest znakomita i znana w świecie, tłumaczona na wiele języków (w tym angielski i japoński) powieść polskiego autora – Henryka Panasa *Według Judasza. Apokryf*, wyd. I, 1973 (jak i jej kontynuacja *Judasza dziennik intymny*, wyd. 1985), która przecież wyprzedziła znacznie w czasie, bo o parę dekad, ten typ literackiego, „rewizjonistycznego”, „kodowego” podejścia do wielkich postaci historyczno-mitologicznych [Termer 2015].

Obok tego wybitnego dzieła mieści się, co prawda, na innej półce, utwór A. Wiśniewskiego-Snerga *Od Łotra*. O ile pierwszy ze wspomnianych autorów polskich w miarę znany jest na Ukrainie, o tyle sylwetka Snerga jest praktycznie nieobecna na rynku książkowym (niestety, w odróżnieniu od rosyjskiego, gdzie w ramach obiegu literatury fantastycznej Snerg jest kojarzony znacznie lepiej). Listę warto uzupełnić o takie pozycje, jak *Według niej* Macieja Nawariaka (2004), *Ewangelia spisana przez szewca* Daniela Brenta – też nieobecne na Ukrainie.

W każdym razie w polskim obszarze kulturowym jest szereg książek, których autorzy należą do różnych pokoleń, tradycji i kierunków literackich. Wspomniane opracowania naukowców ukraińskich dotyczą jeszcze węższego zakresu utworów o podobnej tematyce, ponieważ są ograniczone literaturą wyraźnie „klasyczną” z wieku XIX, rzadko – XX. W tej sytuacji należy wymienić wypadający nieco z omawianego kontekstu utwór młodej ukraińskiej pisarki Maryny Sokolan *Herem* (2007). Wypadający z kontekstu – ponieważ autorka zamierza powiązać dwie nierozzerwalne zresztą części *Pisma Świętego* – *Stary* i *Nowy Testament* – w sposób unikatowy: poprzez aluzje zaczerpnięte z atmosfery i realiów *Starego Testamentu* przywrócić świat, wartości, misję i postać Chrystusa. W tym apokryficznym na wskroś utworze M. Sokolan (inwokacja zapowiada niespodziankę: „naprawdę wszystko inaczej”, a inwokacja ta przeistacza się w *leitmotiv*

„wszystko było inaczej”) nie prowokuje i nie szokuje czytelnika jak, na przykład, Snerg, tylko delikatnie, dyskretnie i konsekwentnie zanurza odbiorcę w świat *przed* właściwą historią Zbawiciela. W sposób dziwny główny bohater ukraińskiej pisarki powiązany jest z bohaterem Snerga, gdyż łączy ich los zbójnika, łotra tyle tylko, że dokonują oni różnych „czynów” (funkcjonalnie niosą różne misje tekstotwórcze w strategiach tekstualnych) i w różnych płaszczyznach: jeden (u Snerga) jest świadkiem historii Jezusa, drugi (u Sokolan) – jest inwariantnym wcieleniem Chrystusa, pewną „próbą” przyszłych dziejów.

Rozpatrując te utwory w kontekście ewolucji fantastyki jako działu literatury masowej, a konkretnie – *fantastyki sakralnej*, zarazem wychodzi się z założenia, że literatura masowa zapożyczyła od powieści pewne atrybuty gatunkowe. W przypadku *powieści apokryficznej* chodzi więc o wyniesienie na peryferie właściwej historii apokryficznej, w centrum natomiast pozostaje unowocześniona, zmodyfikowana akcja przekazywana przez podstawionego narratora.

Komponenta apokryficzna uwarunkowana jest treścią zaczerpniętą z *Ewangelii*, apokryfów wczesnego chrześcijaństwa i źródeł niechrześcijańskich.

Tak, na przykład, M. Sokolan korzysta z mitologii judejskiej, nasycając swoją powieść kolorytem i egzotyką wschodnią z czasów *Starego Testamentu*, wyraźnie przy tym podkreślając, że czas literacki i czas historyczny nie zbiegają się, ponieważ akcja właściwa trwa nawet „przed” *Starym Testamentem*. Taki ustrój temporalny (wyniesienie historii ewangelicznej w chronotop pozabiblijny) jest dopuszczalny, a nawet obligatoryjny dla gatunków fantastycznych. Oprócz tego zaproponowana koncepcja osobowości i historia Chrystusa też zbliża utwór do *powieści apokryficznych*, gdyż jest apokryficzna, i do kanonicznych, i do apokryficznych tekstów zarazem (tzw. apokryf apokryficzny). Podobną sytuację widać też u Snerga, u którego nawet same plany akcji są pomieszane, a bohaterowie (przynajmniej Karlos) znajdują się w krzyżujących się płaszczyznach temporalnych, w co umiejętnie uwikłany jest też czytelnik.

Komponentą wyraźnie *powieściową* jest przekształcenie symbolicznej historii Zbawiciela w życie zwykłego człowieka, wprowadzenie awanturniczo-przygodowych, miłosnych, a nawet kryminalnych wątków oraz wprowadzenie narratora odautorskiego (tutaj wypada wspomnieć przykład z literatury europejskiej, jak głośny utwór Eduardo Mendozy *Niezwykła podróż Pomponiusza Flatusa* (2009), który śmiało można zaliczyć i do tzw. *apokryficznych ewangelii dzieciństwa* i do *fantastyki sakralnej*). W omawianych tekstach M. Sokolan i A. Wiśniewskiego-Snerga zresztą też widoczne są modyfikacje fabuły (bardzo dynamiczny „wędrowny” motyw w powieści *Od Łotra* oraz nieco spowolniony, czasem z elementami onirycznymi w powieści *Herem*), spowodowane wymogami gatunkowymi.

Pod względem tematycznym utwory z pogranicza *powieści apokryficznej* i inwariantnych form fantastyki oczywiście też są niejednolite. *Powieść apokryficzna* XX stulecia oraz jej odmiany różnią się i typami narratorów, i narracji (*Ewangelia o...* oraz *Ewangelia od...*), organizacją czasoprzestrzenną (pokazowy jest stopień interakcji historii i współczesności w powieści Snerga), i dominującą linią fabularną (awanturniczą, kryminalną itd.). Najczęściej postać Chrystusa w płaszczyźnie tematowej rozpatrywana jest jako

archetyp czasoprzestrzenny i pełniący funkcję tekstotwórczą. Głównym tematem jest temat Chrystusa, który rozwija się wokół wątku podstawowego w budowaniu fabuły: kształtowanie postaci Zbawiciela jako stałej wartości religijnej, filozoficznej w wielorakich możliwych autorskich interpretacjach, dla których, prawdopodobnie, za pierwowzór wyższego planu posłużyła książka E. Renana *Żywot Jezusa*. W rezultacie każdy pisarz sięgający do *Ewangelii* poszukuje swego wariantu prawdy, a postać Chrystusa lub bohatera, w którym on aluzyjnie się przejawia, przybiera coraz to nowsze, indywidualnie skojarzone rysy. Jak zauważa jeden ze współczesnych badaczy omawianego problemu A. Kasjanow,

(...) to, coraz się odbyło (случившееся „однажды”), przerasta ramy swej jednostkowości i mnóstwo razy się powtarza w niekończących się wspomnieniach, urasta do wiecznej pamięci („wszystko ulegnie zapomnieniu w wiekach, ale nie ten dzień”) oraz powtarza się znów i znów w losach tych, „którzy nie potrafili... wyrzec się paru fraz” [Касьянов 2007, 10].

Chrystus w powieści Snerga – dziwak-włóczęga z wyraźnymi markerami przynależności do wciąż modnej (na moment wydania powieści) i pociągającej subkultury alternatywnej hipisów, instalowany w nie mniej dziwny (psychodeliczny) świat pseudoamerykański (w każdym razie, mówiąc w języku współczesnym – na pewno postindustrialny), dokonuje czynów, które w sposób zadziwiający odwracają świat bohatera głównego (z tekturowo-plastikowego – z powrotem – w prawdziwy) na mocy cudu wiary:

I nagle – ze wzruszeniem, które kazało mi zasłonić oczy – pojąłem, że to ja jestem ślepy. Wierzę! Razem z tym prostym słowem ona dawała mi wszystko: miłość, nadzieję i sens, a ja żądałem od niej rozumienia, więc próbowałem wymusić coś, co tu, na planie – w świecie skłębionych pozorów i złudzeń – nigdy nie miało żadnej wartości [Wiśniewski-Snerg 2005].

Takie niespodziewane w granicach gatunkowych skupienie się autora na głębokich uczuciach i przeżyciach etyczno-psychologicznych przywraca czytelnika do poziomu wysokiej, poważnej literatury.

M. Sokolan używa bardziej skomplikowanego intertekstualnego odwołania się do tematu: jej wieloimienny bohater (Hur/Mazzakin/Asata-Nabi) jest posłańcem z Heremu³. Wygnanie bohatera, oskarżonego o próbę kradzieży Korony Twórcy, okazało się pretekstem. Naprawdę został specjalnie wysłany na Ziemię, by odnowić utraconą więź pomiędzy Bogiem a ludźmi (o tym zresztą i sam bohater, i czytelnik dowiadują się na samym końcu utworu). Liczne reminiscencje z *Pisma Świętego*, do których ucieka się autorka, są nieprzejryste dla czytelnika nieprzygotowanego i nieoczytanego, nieobeznanego zresztą z historią i mitologią hebrajską. Lecz aluzje intertekstualne prowokują do poszukiwań odpowiedzi, a w przypadku odbiorcy kojarzącego i orientującego się w tych labiryntach intelektualnych i kulturowych – nawołują do gry-deszyfrowania wiecznego kodu wiary w nowej formie gatunkowej.

³ Herem – (Chęrem, hebr. – בְּרֵחַ) ma dwa znaczenia: według *Tory* to jest przedmiot lub istota, w tym człowiek, którego nie wolno dotykać, według *Biblii* to ma podwójną naturę: albo jest zbyt niedobre, nieczyste, albo na odwrót – zbyt dobre, święte. Z jednej strony jest to wyższy stopień ukarania – wygnanie, z drugiej, natomiast – pod siłą działania heremu okazywały się rzeczy poświęcone lub przynależące Bogu, więc też nitykalne.

Widać więc, że specyficzną właściwością artystyczną fantastyki staje się jej wartość sama w sobie, autologiczność dopuszczalności fantastycznej, co wprowadza dziś teksty fantastyki sakralnej, na przykład, do szeregu literatury swoistego mainstreamu, łączącej tradycje *powieści-apokryfu* i *powieści fantastycznej*.

Tu jak najbardziej wypada odwołać się do jeszcze niezbadanej bardziej szczegółowo i na pewno niedocenionej koncepcji decentryzmu A. Wiśniewskiego-Snerga:

Wszystkie istniejące dzieła sztuki, mimo ich wielkiej różnorodności, zaliczyć można do jednego kierunku – do centryzmu, którego istota polega na tym, że środek przedstawionego przez artystę przedmiotu, czymkolwiek ten przedmiot jest – zawsze zajmuje miejsce w ramach utworu. (...) Moja koncepcja kompozycji obrazu, w odróżnieniu od omówionej kompozycji centrycznej, nosi nazwę decentryzmu. Obraz wyraża postulat decentryzmu, gdy środek przedstawionego w nim przedmiotu znajduje się gdzieś niedaleko poza ramami utworu, skąd ten przedmiot dominuje nad ukazanym otoczeniem. Taka zasada kompozycji – poprzez stworzenie napięcia między ukrytym przedmiotem a widocznym tłem – pozwala wzmocnić znaczenie przedmiotu albo jego otoczenia w zależności od przypisanej im roli [Wiśniewski-Snerg 1987].

Takie wyniesienie poza *ramy obrazu* literackiego życia fabuł ewangelicznych, ich dalsze istnienie w płaszczyźnie etyki chrześcijańskiej, adaptacja przez literaturę piękną, a dalej masową – można potraktować jako nowoczesną formę uświadomienia problemów cywilizacji i sposobów ich zwalczania. Przeistoczenie materiału biblijnego i konwencji literackiej skutkuje na poziomie genologicznym modyfikacją, a w płaszczyźnie literatury masowej odbywa się swoista „nobilizacja” gatunku fantastyki w ogóle, z ukształtowaniem i dalszym eliminowaniem fantastyki sakralnej między innymi. Ostatnia, połączyny *powieść apokryficzną* i *fantastykę filozoficzną*, weszła w orbitę Wiecznych Tematów *uniwersum* biblijnego, nawołując czytelnika do poważnych rozważań i przeżyć emocjonalnych.

Niestety nie sposób omówić głębiej w formacie niniejszego studium zagadnienia problemowego z zakresu kwestionowania typologii i podgatunkowego podziału literatury fantastycznej, istniejącej dzisiaj w przestrzeni literatury masowej, czemu są poświęcone liczne opracowania naukowców (J. Campbell, T. Sturgeon, J. Gunn, J. Hamilton, E. Kowtun, G. Gurewycz, T. Czernyszewa, K. Mazareułow i wielu innych), co pozostawia obszerny teren do dalszych badań.

Bibliografia

- Gunn James. 1974. *Science Fiction and the Mainstream*. In: *Science Fiction Today and Tomorrow*. Penquin Book. Baltimore-Maryland: Ed. by Reginald Bretnor.
- Termier Janusz. 2011. *Pamiętajmy o Henryku Panasie!* W: <http://pisarze.pl/felietony> [Dostęp 14 IV 2015].
- Wiśniewski-Snerg Adam. 2005. *Od Łotra*. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria. W: <http://snerg.lh2.pl> [Dostęp 14 IV 2015].
- Wiśniewski-Snerg Adam. 1987. *Moja koncepcja decentryzmu*. W: www.snerg.lh2.pl/teorie/moja_koncepcja_decentryzmu.html [Dostęp 14 IV 2015].

- Касьянов А.В. 2007. Библейские мотивы и образы в сюжетостроении русского романа XX в.: автореф. дис... канд. филол. наук. Пермь.
- Ковтун Е.Н., *Фантастика, сменившая столетие. Споры о терминах*. В: <http://www.slavcenteur.ru/Proba/Kovtun/kovtun> [Доступ 14 IV 2015].
- Володихин Дмитрий. 2012. *Постсоветская фантастика и ее восприятие христианства*. В: <http://vrns.ru/culture/52/637> [Доступ 14 IV 2015].
- Мень Александр. 1991. *Евангельская история в художественной литературе*. В: Мень Александр. *Сын Человеческий*. Москва: Озон: 324-326.
- Набитович Ігор. 2011. *Біблійний глобалізм у художній літературі versus літературна традиція та інтертекстуальність: назад у майбутнє*. В: *Поетика містичного/упорядк.* О. Червінської. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т.
- Нямцу Анатолий. 1993. *Новый завет и мировая литература*. Черновцы: ЧГУ.
- Нямцу Анатолий. 2009. *Трансформационная полифония «точек зрения» в современных обработках традиционных сюжетов, образов и мотивов*. „Біблія і культура” № 11: 14-26.
- Соколян Марина. 2007. *Херем: Повість*. Київ: Факт.
- Татаринов Алексей. 2008. *Власть апокрифа: библейский сюжет и кризисное богословие художественного текста*. Краснодар: КубГУ.
- Татаринов Алексей. 2004. *Жанровая природа и нравственная философия художественных текстов о евангельских событиях: Монография*. Краснодар: КубГУ.
- Федорова И.В. *Сакральное и его литературоведческая типология*. В: <http://sakhgu.ru/jurnal: http://www.slavcenteur.ru/Proba/Kovtun/kovtun> [Доступ 14 IV 2015].
- Чернышева Татьяна. 1985. *Природа фантастики*. Иркутск: Издательский дом: Издательство Иркутского университета.
- Чупринин Сергей. *Сакральная мистика, сакральная фантастика*. В: <http://magazines.russ.ru:81/znamia/red/chupr/book/sakral> [Доступ 14 IV 2015].

Summary

GENOLOGICAL AND THEMATIC QUESTIONING IN CONTEMPORARY SACRAL FICTION (A. WIŚNIEWSKI-SNERG, M. SOKOLAN AND OTHERS)

This article is devoted to problems of contemporary literary and cultural studies, such as the introduction of biblical scenes and their further evolutionary path in the world fiction. Attention is paid to the specific method of employing apocryphal literature variants of Gospel stories.

Kontakt z Autorką:
plumbumxxl@gmail.com

Olga Letka-Spychała

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

DROGA PIELGRZYMA JAKO PRZYKŁAD METAFORYCZNEGO MODELU CZASU W POEZJI INNY LISNIAŃSKIEJ

Key words: pilgrim's way, poetry, cognitive poetics, metaphorical model, Inna Lisnyanskaya

„Jedyną tajemnicą jest czas, ten nie kończący się wątek z wczoraj, dziś, przyszłość, zawsze i nigdy”... [Borges 1980, 30] – słowa Jorge Luisa Borgesa, autora zbioru opowiadań *Księga Piasku*, zaakcentowały problem, który od zarania wieków trapił niejednego umysł. Bowiem jak zauważył Georges Poulet:

Od antycznego *panta rei*, przez średniowieczne trwanie bez zmian i renesansowe stawianie się, siedemnastowieczne „wierzę więc jestem” i osiemnastowieczne „czuję, więc jestem”, do stawiania się i ruchu ciągłego w dziewiętnastym wieku, aż po zmienianie się i ciągle trwanie w wieku dwudziestym szukano odpowiedzi na pytanie czymże jest... czas [Poulet 1977, 125-277].

Temporalność pozostawała w kręgu zainteresowań filozofów [Arystoteles 1989, 65; Św. Augustyn 1955, 256], teoretyków i historyków literatury [Bartoszyński 1987, 195-251; Czermińska 1969, 118-130; Labuda 1971, 56-66; Markiewicz 1983, 1-17; Uspiński 1998, 75-90], była również tematem podejmowanym przez kognitywistów. Nina Arutjunowa w pracy *Время: модели и метафоры* zwróciła uwagę na symbiotyczny związek czasu i człowieka: „Фактор времени играет важнейшую роль в создании модели человека, а фактор человека – в моделировании времени” [Арутюнова 1997, 53]. Język czasu w ocenie Arutjunowej należał do języka analogii i przenośni¹. Dlatego też zaproponowany przez nią model czasu przybrał metaforyczną postać peregrinacji („путь человека”), która posłużyła za istotny punkt odniesienia w analizie utworów Inny Lisniańskiej pochodzących z tomu *Цветные виденья*.

¹ Warto przypomnieć, że dla kognitywistyki metafora nie była jedynie zjawiskiem językowym. Poprzez swój związek ze sferą myśli, mózgu oraz ciała rozszerzeniu uległ jej zasięg obejmujący poziom pojęciowy, społeczny, neutralny oraz cielesny [Zob. Kövecses 2006, 191].

Konceptualizacja czasu zaprezentowana w tekstach rosyjskiej autorki zbliżała go z realnym bytem. Oznaczało to, że czas posiadał nie tylko zdolność do myślenia i odczuwania, ale również do przemieszczania się. Jego ruch uzależniony był od tempa, które pozostawało jedyną zmienną wartością. Określone sytuacje liryczne „wypełniał” szalony bieg, innym towarzyszył miarowy, spokojny, jednostajny krok ewokujący skojarzenia z opowiadaniem Borgesa, w którym czas posuwając się naprzód, „saczy się jak piasek” [Borges 1980, 17]. Iluzję właśnie takiego czasu odnajdujemy w utworze *Дни идут, как на брата – брат...* [Лиснянская 2011, 18] z cyklu *Простая почта*:

Дни идут, как на брата – брат.
Дни и тучи и птицы летят
Как задуманы и как хотят –
Мимо глаз, осязания и слуха.
Удивляться не стоит, старуха,
И оглядываться вперед, –
Там война Мировая идет.
Посчитай двух веков лихолетья –
По числу она, кажется, Третья.
Да и ты – не ребенок давно,
Помнишь и послерайское дно,
Где все тучки и птички и рыбки
Не без помощи адской улыбки
Убаюканы в каменной зыбке.
Мать в безумии – Авель убит,
Каин в каторге, время летит –
Память, пуля, метеорит...

Utwór charakteryzuje się złożoną, kłamrową strukturą opartą na relacji metonimicznej, w której dominuje konfiguracja CZĘŚĆ–CAŁOŚĆ. W tym przypadku dzień – określony odcinek danego trwania – konotuje obraz przemijającego czasu. Władimir Gak trafnie zauważył, iż subkategorie CZASU [128], takie jak: WIECZNOŚĆ [11], WIEK [27], LATA [26], EPOKA [5], MIESIĄC [13], DZIEŃ [88], GODZINA [8], MINUTA [5], CHWILA [4], SEKUNDA [0], ŻYCIE [181] funkcjonowały w zmetaforyzowanej formie²:

Репрезентанты внутреннего поля времени, отвечающие на вопрос „как?”, репрезентанты внешнего времени – хронография, хронометрия и хронология, отвечающие на вопрос „когда?”, и промежуточная группа, отвечающая на вопрос „сколько времени?” в поэтической речи полифункциональны: с одной стороны, они выступают в своей обычной функции, с другой – подвергаются метафоризации [Гак 1998, 100].

Wykreowane projekcje mijających dni, lecących chmur i ptaków, nadchodzącej wojny, a także postaci Kaina i Abela nakładają się na siebie, zakłócając tym samym chronologię utworu. Czas nie jest tu homogenicznym monolitem, atomizuje się na poszczególne punkty: tu i teraz, to, co będzie i to, co było. Miarę ich ruchu wyznaczają

² W nawiasach kwadratowych podajemy częstotliwość występowania leksemów w utworach pochodzących z tomu *Цветные виденья*.

następujące po sobie dni – bezwzględne w swej naturze, niezważające na braci, na „wczoraj” i „jutro”. Szybko posuwając się naprzód, umykają takim zmysłom jak wzrok, dotyk i słuch, jednakże podmiot liryczny w pełni percypuje i akceptuje ich zmianę. Postawa ta ujawnia się w dialogu prowadzonym z samą sobą, rozpoczynającym się od fraz bezokolicznikowych: „Удивляться не стоит/ И оглядываться вперед” [Лиснянская 2011, 18].

Wykorzystany oksymoron „odwracania się do przodu” narzuca kolejność prezentowanych w utworze zdarzeń. Z „tu i teraz” zostajemy przeniesieni do przyszłości. Futurystyczna wizja Lisnianskiej przedstawia świat pogrążony w wojnie. Katastroficznosc tego, co nadejdzie, w metaforyczny sposób splata się z historią. Wspomniane „лихолетье”, odwołujące się do wydarzeń z 1918 i 1939 roku, jest zapowiedzią grożącego kataklizmu.

Zauważmy jednak, że zwrot ku przeszłości sięga jeszcze odleglejszych dziejów. Lisnianska przywołuje miejsce związane z prapoczątkiem ludzkości – Eden, którego biblijny obraz nie koresponduje z literackim odpowiednikiem:

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe w wyglądzie i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej – Pizon; jest to ta, która okrąży cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki – Gichon; okrąży ona cały kraj – Kusz. Nazwa rzeki trzeciej Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta – to Perat [Księga Rodzaju 2012, II, 8-14].

W ujęciu poetyckim dno powstałe „po raju” poprzez swą wklęsłą powierzchnię implikuje skojarzenia z kamienną kolebką, w której ukołysane zostają ptaki, chmury oraz ryby. Być może pozorne „zapadnięcie się” obszaru to konsekwencja grzechu pierworodnego bądź grzechu popełnionego przez Kaina.

Ogniwem spajającym wiersz pozostaje motyw bratobójstwa. Został on uwypuklony w pierwszym wersie, stanowiącym metaforyczną projekcję nacierających na siebie dni – braci: „Дни идут, как на брата – брат”, oraz w finale utworu bezpośrednio nawiązującym do historii biblijnej: „Мать в безумии – Авель убит, / Каин в каторге” [Лиснянская 2011, 18].

Czas u Lisnianskiej nie płynie, tak jak chciał Aron Guriewicz, „z przeszłości przez teraźniejszość poprzez przyszłość” [Гуревич 1984, 53].

Jego oś uległa odwróceniu, powodując, że zdarzenia prezentowane są w sposób niechronologiczny. Droga pielgrzyma nie jest horyzontalnie ukierunkowana, bo wiedzie poprzez teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, by zamknąć się w obwodzie koła. Charakterystyczna cykliczność przejawia się nie tylko w „bratobójczym” kołowrocie dni, ale również powtarzalności historii, np. wojen. Lisnianska za pomocą frazy „время летит” zwerbalizowała pęd czasu, istniejącego w utworze w skompresowanej formie pamięci, kuli i meteorytu.

Nieco innym egzemplarycznym przedstawieniem motywu przemijania jest utwór *Альт из пьесы „На Дне”* [Лиснянская 2011, 199], pochodzący z cyklu *На втором крыле*:

Альт играет. Всему этот альт – затычка
 В ураган даже дерево делает сальто.
 Дни идут по распавшемуся пространству,
 Будто люди по колотому асфальту.
 И маэстро смерть доверяет альту
 Потому, что лишь в смерти есть постоянство.

Альт играет. Но кто же, из смерти глядя,
 На поверхность, – на дно развороченной жизни,
 Не собьется с ноты, не всхлипнет, не взвизгнет?
 Жизнь – ночлежка. Бомжи, шулера и бляди
 Вынуждают Луку им играть на альте

Обещание рая – безболы и денег.
 Дни идут и свои расставляют вешки
 На полях, где изводится знак на веник,
 На дворе, где в кресле сидит неврастеник
 С горькой думой о родине как о ночлежке.

Это я, ясновидящая истеричка,
 Как из смерти смотрю на развитие пьесы
 И рыдаю. Меж тем, полируя рельсы,
 Голосит близлетящая электричка.

Utwór jest wyraźną aluzją do dramatu Maksyma Gorkiego *Ha дне* (1902) [Горький 1972, 198]. Świadczy o tym nie tylko tytuł, który wprost odsyła do źródła, lecz także motyw noclegowni, postać Łuki oraz schemat dna.

W tym kontekście istotne jest wskazanie funkcji wymienionych elementów w protokście³. Przypomnijmy, że miejscem akcji jest ciemna piwnica, której opisy wywołują skojarzenia z jaskinią:

Подвал, похожий на пещеру. Потолок – тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет – от зрителя и, сверху вниз, – из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту комнату – нары Бубнова. В левом углу – большая русская печь; в левой – каменной – стене – дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены – широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам – нары [Горький 1972, 3].

Motyw noclegowni był poddawany wielu interpretacjom zmierzającym do ujawnienia jej symbolicznego znaczenia. Piotr Dołżenkow dostrzegł w niej alegorię piekła: „где есть свой бес, лукавый Лука и свой сатана – Сатин” [Доленков 1990, 42]. Inaczej motyw ten odczytał Wiktor Turbin eksponujący podobieństwo noclegowni do świątyni:

тяжелые каменные своды... Свет сверху вниз. Храм какие-то катакомбы первых веков христианства, новозаветные персонажи: и разбойники, и блудницы, и врачеватель – апостол Лука, тезка евангелиста [Турбин 1990, I, 53].

³ Termin *prototekst* został zaczerpnięty z artykułu H. Markiewicza, *Odmiany intertekstualności* [Zob. Markiewicz 1988, 245-263].

Noclegownia przede wszystkim jest jednak metaforą bezdomności, nieudanego życia, ludzkiego losu, a także duchowej martwoty mieszkających tam ludzi. Są to bohaterowie, którzy ze względu na status społeczny oraz warunki materialne znaleźli się na przysłowiowym „dnie życia” i nie potrafią się stamtąd wydostać. Wśród mieszkańców spotykamy Aktora – alkoholika, Piepła – złodzieja, Bubnowa – byłego szewca, Kostylewa – właściciela domu noclegowego, Satina – byłego telegrafistę oraz wędrowca Łukę. Wraz z przybyciem Łuki w bohaterach następuje zmiana, budzi się w nich nadzieja na lepsze jutro, zaczynają marzyć o opuszczeniu domu noclegowego. I tylko Satin, który sceptycznie odnosił się do słów wędrowca, zrozumiał motywację postępowania starca, którą wyjawiał w rozmowie z Baronem:

Я – понимаю старика... да! Он врал... но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я – знаю! Я – читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я – знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками – тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие – прикрываются] ею... А кто – сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев... Правда – бог свободного человека! [Горький 1972, 75].

Interakcję utworów Gorkiego i Lisnianskiej zgodnie z poetyką kognitywną możemy określić mianem amalgamowania. Poetka jednocześnie odtworzyła i rozbudowała świat prototekstu, umieszczając poszczególne elementy w nowych przestrzeniach amalgamatu, które zachowały niezależną emergentną strukturę [Stockwell 2002, 76].

Ognisko uwagi tworzą dwie dominujące figury wymienione w tytule – altówka oraz dno. Czterokrotne przywołanie instrumentu sprawia, że wraz z rozszerzającą się perspektywą nabiera on symbolicznego znaczenia. Z jednej strony konstytuuje metaforyczną ramę ORKIESTRY SYMFONICZNEJ, z drugiej – ŚMIERCI, która zostaje przez tajemniczego maestro powierzona altówce. Charakterystyczne powtórzenia – „альт играет” – intensyfikuje doznania związane z wygrywanymi dźwiękami, „nasycy” nimi utwór. Na tym tle nie bez znaczenia pozostaje postać Łuki, który inaczej niż u Gorkiego, zostaje przymuszony przez bezdomnych, szulerów, prostytutki do złożenia obietnicy raję⁴.

Chwilowa zmiana pozycji, z jakiej podmiot dokonuje konceptualizacji świata (w ostatniej strofie narracja jest pierwszoosobowa), wprowadza element polifoniczności. Tu szloch bohaterki-histeryczki („рыдаю”), płacz i odgłosy nadziejącego pociągu („Голосит близлетиющая электричка”) mieszają się z dźwiękami altówki („альт играет”). Muzyka towarzyszy bohaterce lirycznej, która czeka na dalszy rozwój sztuki. Odwołując się do antycznej koncepcji *theatrum mundi*, sytuującej człowieka na pozycji aktora odgrywającego role obmyślane przez Boga, Lisnianska akcentuje jego bierność i niemoc wobec *fatum*.

Przyjrzyjmy się teraz metaforycznej ramie dna. W porównaniu z utworem *Дни идут, как на брата* – *брат* uległa ona rozszerzeniu na domenę życia. Jak nietrudno zauważyć,

⁴ Koresponduje to ze słowami Kleszcza wypowiedzianymi tuż po zniknięciu Łuki: „Поманил странник – а сам дорогу не сказал” [Zob. Горький 1972, 72].

Lisnianska zastosowała metaforę ŻYCIE TO POJEMNIK, profilując jednocześnie jeden wybrany aspekt – „дно развороченной жизни...” [Горький 1972, 199]. Śledząc kierunek mentalnego skanowania, możemy ustalić, że jest on wertykalny. Jednakże słowa podmiotu lirycznego: „Но кто же, из смерти глядя,/ На поверхность, – на дно развороченной жизни...” [Горький 1972, 199] wskazują, że zarówno powierzchnia, jak i dno znajdują się na tym samym poziomie. Stwierdzenie-elipsa: „Жизнь – ночлежка” wyznacza punkt, w jakim zbiega się życie postaci Gorkiego i życie bohaterki Lisnianskiej.

O ile śmierć w wierszu jest gwarantem niezmienności i stałości, o tyle życie kategoryzowane jest temporalnie. Manifestują to przemijające dni, które podobnie jak w utworze *Дни идут, как на брата – брат* odczytujemy jako subkategorię czasu. Czasownik „idą” sygnalizuje jego wertykalną konceptualizację, opierającą się na metaforze: CZAS TO LINIA POZIOMA. Ruch nie tylko dnia, ale i człowieka odbywa się wzdłuż niej. Powołując się na koncepcję Arutjunowej, możemy ustalić, że: „Путник идёт вперёд т. е. в графическом представлении слева направо, из прошлого в будущее. На этом Пути человек обращен лицом к будущему” [Арутюнова 1997, 55]. Dana metafora zakłada więc schemat ŹRÓDŁO–ŚCIEŻKA–CEL⁵. Jego motywacją jest doświadczenie tego, że każde przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego posiada fazę początkową (ŹRÓDŁO), fazy pośrednie (ŚCIEŻKA) i fazę końcową (CEL).

„Przemijający czas” jest niemożliwy do zatrzymania nawet wówczas, gdy napotyka na swej drodze przeszkody w postaci „rozbitej przestrzeni”. Pozostaje on w ścisłym związku z człowiekiem, z którym łączy go podobieństwo rodzinne oraz podobieństwo zachowań. Upływ czasu jest miarowy i jednostajny, ale spokój, który winien temu towarzyszyć, pozostaje niewyczuwalny. Oczekiwanie na każdy nadchodzący dzień potęguje w wierszu napięcie i wprowadza nastrój lęku

Należy podkreślić, iż metafory czasu, które spotykamy w utworach Lisnianskiej, skonstruowane zostają na zasadzie konwergencji pomiędzy poszczególnymi komponentami domen. Dostrzegamy to w wierszu *Я и время – мы так похожи!...* [Лиснянская 2011, 14]:

Я и время – мы так похожи!
Мы похожи, как близнецы,
Разноглазы и тонкокожи...
Ну, скажи, не одно и то же
Конвоиры и беглецы?

⁵ Mark Johnson zdefiniował schemat wyobrażeniowy jako „powtarzający się dynamicznie wzorec naszych interakcji percepcyjnych i programów motorycznych, który nadaje spójność naszemu doświadczeniu”. Jak zauważył Kövecses schematy wyobrażeniowe mają charakter schematyczny (nie występują w nich szczegółowe obrazy) oraz wyobrażeniowy. Za Johnsonem możemy wyróżnić następujące schematy: POJEMNIK, RÓWNOWAGA, PRZYMUS, BLOKADA, UMOŻLIWIENIE, PRZYCIĄGANIE, ŚCIEŻKA, POŁĄCZENIE, CENTRUM-PERYFERIE, CYKL, SKALA, CZĘŚĆ–CAŁOŚĆ, SCALENIE, DEKOMPOZYCJA, PEŁNE–PUSTE, PRZYSTAWIANIE, NARZUCANIE, POWTARZANIE, KONTAKT, PROCES, POWIERZCHNIA, PRZEDMIOT, ZGROMADZENIE [Zob. Kövecses 2006, 255].

Ярко-розовые ладони,
Каждый светится капилляр, –
Я – в бегах, а оно – в погоне,
У обоих мир двусторонний –
Там наш пепел, а здесь пожар

Я и время – мы так похожи!
Врозь косые глаза глядят...
Как ты нас различаешь, Боже?
Ну, скажи, не одно и то же
Взгляд вперед или взгляд назад?!

Преимущества никакого
Ни ему не дано, ни мне,
Лишены очага и крова
Мы бежим, как за словом слово,
В обезумевшей тишине.

Wiersz powstał w 1971 roku i pochodzi z cyklu *Виноградный свет*. Tematem przewodnim utworu poetka uczyniła relację podobieństwa pomiędzy czasem i bohaterką liryczną. Podmiot liryczny dokonuje konceptualizacji, posługując się zaimkami deiktycznymi – „ja” i „my”, co sprawia, że mamy do czynienia z konstrukcją subiektywną (Langacker). Utwór jest heterometrycznym tetrastychem, który rozpoczyna się eksklamacją: „Я и время – мы так похожи!”.

Już na samym początku poetka nakreśla dwa dominujące elementy utworu: człowiek i czas, które określimy mianem figur. Wyprofilowana relacja przyległości między figurami zostaje umieszczona w ognisku uwagi. Ulega ona jednak stopniowemu przesunięciu na poszczególne, mniejsze elementy, takie jak: oczy, skóra, dłonie, kapilary. Mogłoby się wydawać, że deskrypcja wpływa na statyczność przedstawionego obrazu. Jednakże ostatnia strofa dowodzi, że figury w bardzo dynamiczny sposób poruszają się względem tła: „Мы бежим, как за словом слово/ В обезумевшей тишине” [Лиснянская 2011, 14].

Oś kompozycyjną utworu tworzy antyteza: człowiek – czas. W metaforycznej ramie czasu Lisnianska umiejscowiła pożar, a wraz z nim model płomieni oraz spalania się. Transpozycja wyobrażeń temporalnych na obrazy ognia objęła więc schemat potężnej siły oraz totalnego zniszczenia charakterystyczne dla obu żywiołów. Inaczej poetka wyeksponowała człowieka. Utożsamiając go z popiołem, stworzyła portret bezbronnego, kruchego indywiduum nie mogącego oprzeć się działaniom CZASU–ŻYWIOŁU.

W utworze szczególne nacechowanie zyskuje percepcja wzrokowa. „Spojrzenie do przodu”, które odczytujemy jako przyszłość pozostaje w sferze tego, co ludzkie. „Взгляд назад”, czyli przeszłość stanowi domenę *chronosu*. „Oglądanie się za siebie” to ukłon w stronę nie tylko historii, lecz także przodków. To powrót do prapoczątków istnienia założonych w Księdze Rodzaju (*puhis es et in pulverem reverteris*) [Księga Rodzaju 2012, III, 19].

Podmiot liryczny, porównując bohaterkę i czas, posługuje się nominacjami, które konotują ucieczkę i pościg. Do grupy tej należą leksemy: „конвоир”, „беглец”, „беги”, „погоня”, „бежим”, które znajdują się w polu semantycznym słowa BIEG. Bohaterka

Lisnianskiej występuje w roli zbiega, czas natomiast w roli konwojenta. Obie figury w abstrakcyjny sposób oddziałują na siebie. Korzystając z terminologii z zakresu dynamiki sił, możemy określić, iż czas w danym utworze jest antagonistą. Sprawia, że bohaterka zmienia swe dążenia siłowe i zostaje zmuszona do ucieczki.

Wydawałoby się, że próba uwolnienia się skazana jest na niepowodzenie, ponieważ człowiek od zawsze pozostawał we władzy czasu i „nigdy nie udało mu się umknąć przed tu i teraz” [Borges 1980, 25]. Jednakże w świecie bohaterki Lisnianskiej zarówno czas, jak i człowiek stanowią równoważną część kosmosu: „Преимущества никакого/ Ни ему не дано, ни мне” [Лиснянская 2011, 14].

U Lisnianskiej stoi on w opozycji do schematu DOMU, który istnieje w uszczegółowionej formie dachu („кров”) i ogniska („очар”). Locus domu w kulturze wiąże się z symbolicznymi przedstawieniami o trwałości, rodzie i rodzinie. Najistotniejszą jego funkcją jest ochrona przed złymi siłami i niebezpieczeństwem. Jako przestrzeń zamknięta kontrastuje z otwartymi, zewnętrznymi obszarami: „дом противопоставлен окружающему миру как пространство закрытое – открытому, безопасное – опасному, внутреннее – внешнему” [Топорков 1995, 168].

Osamotnienie czasu i człowieka wypływa z bezdomności, natomiast ich „bycie” określa niekończący się pęd. Świat przedstawiony w utworze, podobnie jak i jego elementy, ogarnia i przenika wszechobecna cisza. Cisza ta jest niezwykle wymowna, gdyż jej trwanie ma znamiona obłędu.

Poezja Inny Lisnianskiej to świat człowieka i czasu, innymi słowy, to świat binarnych opozycji. I jeśli rozpatrujemy czas w kontekście drogi pielgrzyma, tej drogi, która przedstawia linię ludzkiego życia, to odkrywamy, że w utworach Lisnianskiej jest on ściśle ukierunkowany. Tu schematy TYŁ–PRZÓD, PRZESZŁOŚĆ–TERAŻNIEJSZOŚĆ–PRZYSZŁOŚĆ, GÓRA–DÓŁ, POWIERZCHNIA–DNO wyznaczają zarówno horyzontalną, jak i wertykalną orientację. Nie mniej ważny pozostaje także ruch pielgrzyma, który w zależności od wykreowanej sytuacji lirycznej konceptualizowany jest w kategoriach łagodnego przemijania bądź szalonego biegu.

Bibliografia

- Арутюнова Нина. 1997. *Время: модели и метафоры*. W: *Логический анализ языка. Язык и время*. Red. Арутюнова Н. Д., Янко Т. Е. Москва: Индрик.
- Аристотелес. 1989. *Физика*. Przeł. Leśniak K. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Bartoszyński Kazimierz. 1987. *Problem konstrukcji czasu в utworach эпических*. W: *Проблемы теории литературы*. Red. Markiewicz H. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Borges Jorge Luis. 1980. *Księga Piasku. Opowiadania*. Przeł. Chądzyńska Z. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- Czermińska Małgorzata. 1969. *Problematyka czasu we współczesnych badaniach literackich*. „Pamiętnik Literacki” nr 4: 354-374.
- Долженков Пётр. 1990. *Существует только человек: о пьесе М. Горького „На дне”*. „Литературная газета” nr 5: 43.
- Гак Владимир. 1998. *Языковые преобразования*, Москва: Издательство Эксмо.

- Горький Максим. 1972. *На дне*. Москва: Государственное издательство художественной литературы.
- Гуревич Аарон. 1984. *Категории средневековой культуры*. Москва: Искусство.
- Kövecses Zoltan. 2006. *Język. Umysł. Kultura. Praktyczne wprowadzenie*. Przeł. Kowalcze-Pawlik A., Buchta M. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
- Księga Rodzaju*. 2012. W: *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych*. Red. Jankowska A. Przeł. Borowski W. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
- Labuda Aleksander. 1971. *Z zagadnień struktury czasowej utworów epickich*. W: *Tradycja i nowoczesność*. Red. Trznadłowski J. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Лиснянская Инна. 2011. *Альт из пьесы „На Дне”*. W: *Цветные виденья*. Москва: Издательство Эксмо.
- Лиснянская Инна. 2011. *Дни идут, как на брата – брат...* W: *Цветные виденья*. Москва: Издательство Эксмо.
- Лиснянская Инна. 2011. *Я и время – мы так похожи!...* W: *Цветные виденья*. Москва: Издательство Эксмо.
- Markiewicz Henryk. 1983. *Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych*. „Ruch Literacki” nr 9: 304.
- Markiewicz Henryk. 1988. *Odmiany intertekstualności*, „Ruch Literacki” nr 4: 315.
- Poulet Georges. 1977. *Metamorfozy czasu*. Przeł. Błoński J. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Stockwell Peter. 2002. *Poetyka kognitywna. Wprowadzenie*. Przeł. Skucińska A. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
- Św. Augustyn. 1955. *Wyznania*. Przeł. Czuj J. Warszawa: Wydawnictwo Znak.
- Топорков Андрей. 1995. *Дом*. W: *Славянская мифология. Энциклопедический словарь*. Москва: Международные отношения.
- Турбин Виктор. 1990. *Дни на дне*. „Литературная газета” nr 1: 56.
- Uspieski Boris. 1998. *Historia i semiotyka. Percepcja czasu jako problem semiotyczny*. Przeł. Żyłko B. Gdańsk: Słowo/Obraz, Terytoria.

Summary

THE PILGRIM'S WAY AS AN EXAMPLE OF A METAPHORICAL MODEL OF TIME IN INNA LISNYANSKAYA'S POEMS

The aim of this article was to discuss the role and function of a metaphorical model of time in the works of Inna Lisnianskaya. The volume of poems entitled *Цветные виденья* was used as a research material, including both works which were written in the 1960s and those which might be related to the late period of her output.

Kontakt z Autorką:
olgaletka@wp.pl

Irena MatusKatedra Kultury Białoruskiej
Uniwersytet w Białymstoku

DYSKURS WOKÓŁ KONWERSJI UNITÓW NA PÓŁNOCNYM PODLASIU W LATACH 20. I 30. XIX WIEKU

Key words: The Uniates, Latin Catholics, conversions

Konwersje unitów na obrządek łaciński nastąpiły wraz z wprowadzeniem unii kościelnej. Poczynając od XVII wieku, na rzymski katolicyzm masowo przechodziła szlachta ruska. Często do Kościoła rzymskokatolickiego droga prowadziła poprzez protestantyzm. Główną przyczyną była postępująca łacynizacja i polonizacja. Język polski stał się mową nobilitującą, zwłaszcza po 1696 roku, kiedy cyrylicę w Wielkim Księstwie Litewskim zastąpiono łacinką. Działo się tak za sprawą postrzegania unityzmu jako wyznania chłopskiego, określanego pogardliwie, chamską wiarą. Rzymski katolicyzm był wyznaniem państwowym, uprzywilejowanym, tak jak i duchowieństwo łacińskie, natomiast kler grekokatolicki traktowany jako kler drugiej kategorii. Przy braku tolerancji wobec prawosławia, unityzm był wyznaniem zaledwie akceptowanym. W tej sytuacji szlachta ruska dokonując konwersji uzyskiwała równouprawnienie.

Biskupi unicy skarżyli się na jezuitów, że przeciągają uczącą się młodzież. Józef Welamin Rutski złożył w tej sprawie skargę do papieża Urbana VIII, który w 1624 roku wydał zarządzenie aby księża nie działali w tym kierunku, a biskupom rzymskokatolickim zabronił przyjmowania unitów. Pomimo to ucieczki od unii trwały [Mapo3aba 2001, 256]. Kolejne pismo Kongregacja Rozkrzewiania Wiary wydała w 1710 roku [Ibidem, 258]. W latach 30. XVIII wieku biskup Atanazy Szeptycki, którego poparli łaciński biskup Mikołaj Zienkowicz i jego sufragani Józef Sapieha, wyjednał u papieża Klemensa XII ponowny zakaz zmiany obrządku. Ustanowiono komisję, która czuwała nad przestrzeganiem papieskiego zakazu. Nadal księża różnych zakonów i niektórzy łacińscy proboszczowie gorliwie przeciągali unitów. Ksiądz Eugeniusz Wyczawski nazywa to dezercją z Cerkwi unickiej. W następstwie tej akcji w unii zniknęła zupełnie szlachta i znaczniejsze mieszczaństwo, a trwali przy niej jedynie chłopci. Jednak w późniejszym okresie, zwłaszcza

na terenie pogranicza religijnego, konwersji dokonywali także i oni. Metropolita Florian Hrebnicki, który wprowadzał postanowienia synodu zamojskiego, żądał powrotu do unii tych wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dwunastu lat przeszli na obrządek łaciński. W 1755 roku udało mu się wystarać u papieża Benedykta XIV konstytucję *Allana sunt*, oświadczającą, że Stolica Apostolska nie dąży do zniszczenia, lecz utrwalenia obrządku greckokatolickiego [Мапозава 2001, 258-259]. Wszystkie te rozporządzenia w praktyce nie były respektowane. Wynikało to z tego, że unityzm postrzegano powszechnie tylko jako pomost, po którym unicy przejdą do jedyne go Kościoła – rzymskokatolickiego, poza którym nie ma zbawienia, głoszone.

W wyniku masowego łamania zakazu przechodzenia unitów na obrządek łaciński w ciągu niespełna półtora wieku, po 1596 roku, szlachta na Białorusi, Podolu i Wołyniu stała się całkowicie rzymskokatolicka [Kołbuk 1992, 14]. W późniejszym obwodzie białostockim (1807-1842), który zasięgiem administracyjnym obejmował północne Podlasie, mieszkało zaledwie 86 osób pochodzenia szlacheckiego (w dekanacie bielskim – 62, w białostockim – 24), przy czym to drobni właściciele ziemscy. Unitów w obwodzie białostockim pod koniec 1838 roku było blisko 65 tys.¹

O unityzmie mówiono – to wiara popów i chłopów, którzy stanowili ponad 90% wiernych. Chłopi także dokonywali konwersji na obrządek łaciński. Nastąpiły one znacznie później i występowały na nieporównywalnie mniejszą skalę, głównie na obszarze pogranicza, jakim było północne Podlasie. Obrządek zmieniano w następstwie małżeństw mieszanych wyznaniowo, przy czym konwersje następowały na obrządek łaciński, a nie odwrotnie oraz w wyniku latynizacji i nacisków ze strony księży i szlachty.

Po synodzie zamojskim zacierala się różnica pomiędzy obu obrządkami katolickimi. W innowacjach, jakie wprowadzono do Cerkwi unickiej, była między innymi rezygnacja, zgodnie z obrządkiem łacińskim, z udzielania dzieciom do lat siedmiu (zdarzało się i dziecięciu) komunii świętej. Chrztu dokonywano na wzór łaciński [Киприанович 1894, 170]. W tej sytuacji sakrament, jak i wypowiedane formuły, niczym się nie różniły w kościele i cerkwi [Зноско 1993, 184; Киприанович 1894, 169-170]. W praktyce chrztu dokonywano z bierzmowaniem lub bez.

Zdarzało się, zwłaszcza na obszarze pogranicza wyznaniowego, że dzieci obojga rodziców – unitów były chrzczone przez księży łacińskich. W tej sytuacji zapisywano je w kościelnych księgach metrykalnych i wyznawały one prawie zawsze rzymski katolicyzm. W przypadku małżeństw mieszanych stało się to regułą, chociaż obowiązywała zasada wychowania dzieci z takich związków według płci rodziców. Praktykowano asystencję (obecność) przy zawieraniu małżeństw księży jednego lub drugiego obrządku [Śliwa 1979, 235].

Na początku XIX wieku zdecydowanie bliżej było unitom do Kościoła łacińskiego niż do Cerkwi prawosławnej. Stało się tak za sprawą latynizacji i polonizacji oraz pewnych wydarzeń historycznych. Trwająca nieustannie latynizacja Cerkwi unickiej nasiliła

¹ Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas Vilnius (dalej: LVIA Vilnius), ф. 605, оп. 1, д. 3665 Ведомость о бeлoм духовенстве за 1838 год, к. 375-376 Ведомость с 1838 года сколько в деканате Бельском исповедующихся и не исповедующихся обоeго пола Греко-Унитского исповедания также родившихся браком сочетавшихся и умерших за 1838 год составил Бельский благочинный протоиерей Костыщевич.

się po synodzie zamojskim w 1720 roku. Polonizacja grekokatolików na terenie Białorusi i Litwy osiągnęła apogeum po rozbiorach, w czasach Wileńskiego Okręgu Szkolnego, za cara Aleksandra I. Negatywny wpływ na postrzeganie prawosławia wywarły wojny polsko-rosyjskie w XVII wieku oraz wojna północna. Nawet kler unicki nie uważał za pogardliwe określania prawosławia mianem wiary heretyckiej czy schizmatycznej. Obraz ten ukształtował się pod wpływem opinii szlachty i kleru łacińskiego – ich kategoriami myślał często, choć świadom swojej odrębności – ruskości – prosty lud.

Zdarzało się, że kler unicki udzielał sakramentów chrztu i ślubów wyznawcom obrządku łacińskiego. Działo się tak najczęściej w sytuacji, kiedy kościół był znacznie oddalony, a cerkiew unicka istniała obok. W przypadku chrztu rzymskiego katolika na ogół pomijano sakrament bierzmowania. Zagrożenia dla interesu Kościoła w takich sytuacjach nigdy nie było, łacinnicy nie dokonywali konwersji na unię (wyjątek stanowili bazylianie). Postępująca latynizacja rodziła współpracę między obu obrządkami. Księża łacińscy angażowali swoich wikariuszy bazylianów, a kapłani różnych zakonów łacińskich obsługiwali często unickie kaplice [Wyczawski 1987-1988, 264].

W wyniku zmian zaprowadzanych w świątyniach, poczynając od 1834 roku, mówiono coraz głośniej i częściej o likwidacji obrządku unickiego. W tej sytuacji, przy udziale strony łacińskiej, nasiliła się akcja chrztów dzieci unickich w kościołach rzymskokatolickich. W samym 1834 roku księża ochrzcili 35 tys. dzieci unickich [Киприанович 1894, 42]. Władze unickie chcąc ten proceder ukrócić, podejmowały pewne środki zaradcze. Konsystorz w Żyrowicach 5 stycznia 1837 roku zakazał parochom w diecezji litewskiej świadczenia jakichkolwiek posług duszpasterskich w kościołach i zezwalania na to w cerkwiach księżom łacińskim². Ukazem z 29 marca 1837 roku zakazano księżom obrządku łacińskiego w obu diecezjach udzielania chrztu dzieciom unitów i zapisywania ich do kościelnych ksiąg metrykalnych. Polecono anulować wszystkie wpisy w dokumentach kościelnych, a nanieść je do unickich ksiąg metrykalnych [*Записки Иосифа Митрополита Литовскаго изданныя Императорскою Академиею Наукъ по завещанию автора* 1883, 343-344]. Realizacja tego w praktyce okazała się niewykonalna [Ibidem, 369]. Księża nie zezwolili parochom unickim na przenoszenie wypisów, nie podano żadnych informacji z ksiąg metrykalnych.

Powody zmiany wyznania wśród chłopów były różne, chodziło zarówno o pojedyncze przypadki, jak i całe grupy, por. informację z wizytacji dziekańskiej z parafii Suraż: „Do tej cerkwi należała wioska Doktorce, do starostwa Strabelskiego należąca, lecz za objęciem tego starostwa WJM pan Starzyński do odmienienia obrządku z greckiego na rzymski, pod karą cielesną przymusił i do kościoła Strabelskiego przyłączył w roku 1768”. Niekiedy przyczyniali się do tego sami parochowie, zaniedbujący obowiązki duszpasterskie i skłaniający się w stronę obrządku łacińskiego. W 1788 roku paroch choroszczański Leon Pawłowski – „ksiądz cerkwi i parochii nie pilnował, ustawicznie

² LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистерия, оп. 1, д. 3194 О священнике Дрогичинской церкви Тыминском призывавшем в свою церковь пиярского ксендза Вичевского для прочтения проповеди, к. 21 Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консистирию от 27.12.1837 г.

astentując się po różnych kościołach bez wiedzy i zwierzchności swojej i dlatego Marianna Jarosławska parochianka, że nie miała księdza do siebie chorej prosiła ks. dominikanina i obrządek odmieniła”. Dziekan Guttorski w spostrzeżeniach wizytacyjnych nakazał duchownemu staranie się o odzyskanie parochianki [*Księga wizyty dziekańskiej...* 1996, 38-39].

Paroch z Hryniewicz 1 marca 1837 roku poinformował dziekana o działaniach właściciela majątku Hryniewiczze Duże, Dionizego Sakowicza, który zmuszał swoich chłopów do obchodzenia wyłącznie świąt łacińskich³.

Specyfika pogranicza wyznaniowego, gdzie unicy stanowili niewielką mniejszość, była najczęstszą przyczyną konwersji. W 1788 roku Bazyli Guttorski, dziekan podlaski, o cerkwi w Boguszewie napisał: „Parafia parafianina żadnego niema, gdyż już od dawnego czasu wszystkie na obrządek Łaciński przechodzili”. A w Knyszynie „Parafij żadnej nie ma” [Mironowicz 1994, 104].

Konwersje na obrządek łaciński nasiliły się na początku XIX wieku. Widać to bardzo wyraźnie na obszarze ścisłego pogranicza. W księgach metrykalnych rzymskokatolickiej parafii choroszczańskiej w latach 1754-1820 odnotowano liczne chrzty dzieci unickich. W okresie tym chrzest w kościele nie był równoznaczny ze zmianą wyznania, aczkolwiek najczęściej tak się działo. Tylko w latach 20. XIX wieku w Choroszczy księża rzymskokatolicy udzielili chrztu 37 dzieciom unitów. Wcześniej nawet paroch unicki ochrzcił w tamtejszym kościele syna Jana i córkę Katarzynę Agatę [Mioduszevska 2010, 364-365].

Na przełomie XVIII i XIX wieku wzrósł wpływ Kościoła łacińskiego na unitów, w wyniku czego dochodziło do masowych konwersji. Księża łacińscy, przy wsparciu szlachty polskiej, kusili chłopów-unitów i nawracali ich na obrządek łaciński. Przykładowo tylko w 1803 roku w diecezji połockiej na obrządek łaciński przeszło 100 tys. unitów. Dążąc do zahamowania tego procesu, Senat 25 października 1807 roku zakazał przyjmowania unitów do Kościoła łacińskiego pod groźbą kar sądowych [Radwan 2004, 64-66], a w 1810 roku nakazał konwertytom powrócić do poprzedniego obrządku. Okresem przedawnienia objęci zostali ci, którzy porzucili to wyznanie przed 1798 rokiem [Філатова 1998, 8-9]. W praktyce tego nie przestrzegano.

Podejmowano szereg weryfikacji, prowadzonych przez dziekanów obu obrządków, przy wsparciu sądów ziemskich. W obwodzie białostockim od 10 listopada 1810 do 27 lutego 1811 roku rozpoznano sprawę 84 osób z parafii Grodzisk, Narojki, Drohiczyn, Boćki i Brańsk. Stwierdzono, że konwersje miały miejsce w czasach pruskich, więc mogły one pozostać rzymskimi katolikami [Radwan 2004, 66].

Zmiana wyznania budziła liczne konflikty. Do załagodzenia sytuacji na pewien czas doszło w wyniku rozporządzenia w tej sprawie Senatu z 8 sierpnia 1810 roku, który zobowiązał do powrotu z obrządku łacińskiego na unicki wyłącznie duchownych [Radwan

³ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистория, оп. 1, д. 2497. Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 114 Рапорт І. Імшенника Бельскому благочинному протоиерею Адаму Костыцевичу от 01.03.1837 г.

2004, 66]. W 1835 roku już kategorycznie zabroniono grekokatolikom przechodzenia na obrządek łaciński [Rzońca 2005, 149]. Nie powstrzymało to jednak konwersji.

Unicki konsystorz wileński w 1819 roku informował, że na terenie diecezji nawracane są na obrządek łaciński całe parafie z duchownymi, a liczba neofitów sięga 20 tysięcy. Konsystorz skarżył się, że ze strony władz nie podjęto żadnych działań i ostrzegał, że jeśli nie przerwie się tego procesu, to w wileńskiej grekokatolickiej diecezji nie pozostanie ani jeden unita [Бобровский 1889, 181]. Dopiero w latach 20. XIX wieku, w wyniku działań asesora Kolegium Józefa Siemaszki, na unityzm powróciło około 20 tys. konwertytów w guberni wileńskiej [Киприанович 1894, 16].

W diecezji brzeskiej, do której należała większa część obwodu białostockiego (północnego Podlasia zamieszkałego przez unitów), masowych konwersji na taką skalę nie było. Odnotowano łącznie 7 parafii, które z parochami przeszły na wyznanie rzymskokatolickie [Radwan 2004, 63].

Do sprawy byłych unitów, którzy przeszli na obrządek łaciński, powrócono w 1827 roku [Філатова 1998, 18-19]. 3 sierpnia 1827 roku wydano obu departamentom Kolegium rozporządzenie, w którym ustalano zasady powrotu konwertytów na unityzm. Sprawą tą miały się zająć specjalne komisje, złożone z przedstawicieli obu obrządków, a w przypadku sytuacji konfliktowych włączano delegatów świeckich. Komisja sporządzała spisy byłych unitów, którzy po 1798 roku zmienili wyznanie. W praktyce powroty nie zostały wyegzekwowane. Do sprawy tej w diecezji litewskiej powrócono w latach 30. XIX wieku [Radwan 2004, 178].

Na północnym Podlasiu występowały konwersje unitów na obrządek łaciński, nasilone zwłaszcza w latach 30. XIX wieku, kiedy coraz głośniej mówiło się o restytucji prawosławia, w związku z czym nasilała się aktywność księży łacińskich. Biskup Józef Siemaszko, obawiając się powtórzenia sytuacji, jaka miała miejsce w guberni mińskiej, a wcześniej w wileńskiej, próbował zastosować pewne restrykcje, jednak bez skutku.

Zaniepokojony zjawiskiem, wielokrotnie zwracał się w tej sprawie, za pośrednictwem konsystorza, do podległego kleru. Przyczynę zjawiska widział w działalności propagandowej, w wyniku której grekokatolicy, czując się zagrożeni, zmieniali wyznanie. Unitów przekonywano, że w schizmatycznej wierze i poza Kościołem łacińskim nie ma zbawienia. Zarzucał parochom unickim bezczynność w tej sprawie. W styczniu 1835 roku wydano rozporządzenie, zabraniające mieszanego się do spraw wyznania unickiego osobom innych wyznań. Kler unicki zobowiązano do zebrania informacji o grekokatolikach, którzy dokonywali konwersji⁴.

Pod koniec lat 20. XIX wieku jako pierwszy zwrócił uwagę na odchodzenie od unityzmu protoprezbiter drohiczyński Bazyli Wysiekirski. 11 maja 1827 roku poinformował konsystorz w Brześciu o sytuacji w parafii Boćki, gdzie kilku unitów przeszło na obrządek łaciński. Duchowny prosił o pomoc w odzyskaniu byłych parafian. Próby prze-

⁴ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2338 Дело о предложении Его Преосвященства дабы Благочинные о совращении прихожанов с Грекоуни́цкого в Римское исповедание тот час доводили до сведения Консисто́рии, к. 1-2 Епископ Иосиф в Литовскую Грекоуни́ятскую Духовную Консисто́рию от 20.11.1836 г.

konania tych osób przez miejscowego parocha nie przyniosły rezultatu. Poinformowany o tym konsystorz przekazał sprawę władzom obwodu białostockiego, które zleciły 14 lipca 1827 roku rozpatrzenie jej Sądowi Ziemskiemu w Bielsku. Wyrok nakazał konwertytom powrót do poprzedniego wyznania⁵. Nie wszyscy ponownie zostali unitami, do spawy konwertytów w parafii Boćki, powrócono w drugiej połowie lat 30. XIX wieku⁶, także bez skutku.

Biskup Józef Siemaszko po objęciu katedry litewskiej i zapoznaniu się z sytuacją, zlecił konsystorzowi w 1834 roku zebranie od dziekanów szczegółowych informacji o konwertytach i w miarę możliwości polecił temu zaradzić [*Зануцку Іосифа Мумпо-полита*, t. III, 304-305].

Z analizy sytuacji w obwodzie białostockim do 1835 roku, wynika że przechodzenie unitów na obrządek łaciński nasiliło się w latach 30. XIX wieku. Nie było procesem masowym (z wyjątkiem paru parafii) i wahało się od około 26,1% w parafii drohiczyńskiej do zaledwie kilku osób. W dekanacie białostockim dotyczyło dwunastu parafii, a w bielskim 22. Zjawisko to praktycznie nie objęło obszaru jednolitego wyznaniowo, parafii: w Puchłach, Rybołach, Klejnikach, Czyżach, Kośnej, Starym Korninie, Podbielu, Pasynkach, Nowej Woli. O sytuacji w pozostałych decydowało sąsiedztwo parafii rzymskokatolickich, a zwłaszcza oddziaływanie klasztoru pijarów w Drohiczyźnie. Podobne skutki przyniosła także działalność misyjna kościoła w Narwi.

Zmianę wyznania w poszczególnych parafiach obrazują poniższe tabele.

Tabela 1

Unici przechodzący na obrządek rzymskokatolicki
w dekanacie bielsko-drohiczyńskim do 1835 roku

Lp.	Nazwa parafii	Mężczyźni	Kobiety	Łącznie
1	2	3	4	5
1.	Drohiczyn	100	78	178
2.	Ciechanowiec	16	15	31
3.	Brańsk	56	52	108
4.	Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku	6	2	8
5.	Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku	4	3	7
6.	Świętego Michała w Bielsku	10	4	14
7.	Rajsk	22	5	27
8.	Narew	32	6	38
9.	Orla	14	9	23
10.	Kleszczele	10	8	18

⁵ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 511 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисти́рию от 09. 04.1837.1837 г.

⁶ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 511 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисти́рию от 09. 04.1837.1837 г.

cd. tabeli 1

1	2	3	4	5
11.	Boćki	47	9	56
12.	Andryjanki	27	–	27
13.	Zmartwychwstania Pańskiego w Mielniku	8	11	18
14.	Czarna Wielka	16	22	38
15.	Grodzisk	2	13	15
16.	Narajki	13	14	27
17.	Siemiatycze	18	–	18
18.	Żurobice	8	10	18
19.	Hryniewiczze	–	4	4
20.	Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku	5	3	8
21.	Nowe Berezowo	10	2	12
22.	Podbiele	9	1	10
Łącznie		451	261	712

Źródło: LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистерия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 1 Число перешедших лицах из Греко-Унитского в Римский обряд.

Tabela 2

Unici przechodzący na obrządek rzymskokatolicki
w dekanacie białostockim do 1835 roku

Lp.	Nazwa parafii	Mężczyźni	Kobiety	Łącznie
1.	Suraż	2	11	13
2.	Topilec	14	16	30
3.	Choroszcz	6	6	12
4.	Fasty	–	4	4
5.	Wasilków	–	4	4
6.	Potoka	–	6	6
7.	Ostrów	9	10	19
8.	Jurowlany	16	32	48
9.	Samohrud	7	18	26
10.	Siderka	48	10	58
11.	Jaczne	12	15	27
12.	Nowy Dwór	12	15	27
Łącznie		126	145	271

Źródło: LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистерия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 1 Число перешедших лицах из Греко-Унитского в Римский обряд.

Jak wynika z powyższych zestawień statystycznych, w obwodzie białostockim do 1835 roku obrządek unicki porzuciło 983 unitów, 712 – w dekanacie bielskim i 271 – w białostockim. Okazało się, że informacje te nie były kompletne.

24 listopada 1836 roku biskup Siemaszko wydał konsystorzowi kolejne rozporządzenie obligujące parochów do natychmiastowego informowania dziekanów o przypadkach nawracania unitów na obrządek łaciński oraz o środkach podjętych w celu nakłonięcia ich do powrotu⁷. Było to o tyle trudne, jak zauważył Grzegorz Kiprianowicz, że mocno spolonizowany w obwodzie białostockim kler unicki w latach 30. XIX wieku pozostawał w bliskich kontaktach z duchowieństwem łacińskim Królestwa Polskiego i ulegał sugestiom kilku, nieprzychylnych prawosławiu, urzędników władz powiatowych i obwodowych⁸.

Władze unickie nie miały wpływu na konwersję, w związku z tym o wsparcie proszono władze świeckie na szczeblu obwodu i powiatów⁹. Władze w Białymstoku wykazywały byłąch unitów z prośbą o podjęcie odpowiednich działań przekazały w lipcu 1836 roku sądom ziemskim w Drohiczyń, Bielsku¹⁰, Białymstoku i Sokółce.

Procedura działania była następująca. Do rozpatrzenia sprawy władze powiatowe delegowały asesora niższego sądu ziemskiego, który działał wspólnie z wyznaczonym przez konsystorz duchownym. Obowiązek ten spadł na dziekanów, jednak ci często tłumaczyli się nadmiarem obowiązków i w zastępstwie proponowali kogoś z podwładnych duchownych, najczęściej wicedziekanów. Przestrzegano zasady, aby był to delegat duchowny. Obaj przedstawiciele władzy świeckiej i duchownej tworzyli tzw. komisję. W sytuacji sprzeciwu konwertytów sprawę przekazywano do rozpatrzenia sądom ziemskim, a te najczęściej odsyłały ją władzom w Białymstoku.

Konsystorz 1 września 1836 roku zobligował dziekanów i proboszczów do uzupełnienia spisu unitów, którzy przeszli na obrządek łaciński z podaniem przybliżonej daty konwersji. Wszyscy dziekani mieli trudności z ustaleniem, kiedy dokonano zmiany obrządku¹¹.

⁷ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2338 Дело о предложении Его Преосвященства дабы Благочинные о совращении прихожанов с Грекоуни́цкого в Римское исповедание тот час доводили до сведения Консисто́рии, к. 1-2 Епископ Иосиф в Литовскую Грекоуни́тскую Духовную Консисто́рию 20.11.1836 г.

⁸ Wyznanie unickie na rzecz rzymskiego katolicyzmu pozostawili trzej doradcy: Antoni Arcimowicz, Jakub Janowicz i Teodozy Janowicz oraz Aleksy Janowicz – członek komisji do spraw budowlanych i Teodor Pajewski – księgowy władz obwodowych w Białymstoku. Podobnie postąpił księgowy władz powiatowych w Bielsku – Pajewski. Obaj Pajewscy byli synami duchownych unickich. Российский Государственный Исторический Архив (dalej: РГИА) в Санкт-Петербурге, ф. 797 Канцелярия обер-прокуратора Синода, оп. 7, д. 23219 О шести чиновниках Белостокской Области перешедших из Грекоуни́тского исповедания в латинское, к. 1 Епископ Иосиф Семашко обер-прокурору Святейшего Синода от 07.07.1837 г.; *Записки Иосифа Мунропшита...*, т. III, op. cit., s. 62-63.

⁹ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 4 Заседание Литовской Греко-Уни́тской Духовной Консисто́рии от 18.06.1836 г.

¹⁰ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 5 Белостокское Областное Правление 1 Отделения в Литовскую Греко-Уни́тскую Духовную Консисто́рию от 10.07.1836 г.

¹¹ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 53 Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Уни́тскую Духовную Консисто́рию от 05.12. 1836 г.

Terminy podjęcia pracy komisji były często przesuwane z powodu niestawienia się w ustalonym terminie jednego z członków, przy czym częściej nie wywiązywała się z tego strona duchowna.

Wyjaśnianie sprawy rozpoczęto od parafii w Drohiczynie w dekanacie bielskim, stąd pochodziło najwięcej konwertytów. Z liczącej w 1838 roku 681 osób parafii, według danych za 1836 rok, wyznanie zmieniło 178 parafian, czyli 26,1% unitów¹². Jednym z wyznaczników potwierdzających konwersję było odbycie w kościele spowiedzi przedpaschalnej. Wykaz osób, które ją odbyły u pijarów w Drohiczynie 11 sierpnia 1836 roku, konsystorz przekazał naczelnikowi obwodu białostockiego, a dziekana zobowiązano do udziału w wyjaśnieniu sprawy z ramienia władz cerkiewnych¹³. Zadaniem komisji było przekonanie do powrotu na unię tych, którzy przeszli na obrządek łaciński¹⁴.

Sprawa przeciągała się z winy dziekana Kostycewicz, który nie zjawiał się w Drohiczynie. W tej sytuacji władze w Białymstoku wystosowały pismo do konsystorza, prosząc o ponaglenie dziekana¹⁵. Adam Kostycewicz usprawiedliwiał się, że zatrzymały go ważne sprawy¹⁶.

Adam Kostycewicz przybył do Drohiczyna dopiero 22 stycznia 1837 roku. Wspólnie z asesorem sądu ziemskiego – Mańką – sporządzili listę parafian, którzy w 1836 roku nie przystąpili w swojej cerkwi do wielkopostnej (przedpaschalnej) spowiedzi. Część osób usprawiedliwiała to działaniami duchownego Tymińskiego – skłanianiem się w stronę „pobożności” (tzn. obrządku prawosławnego) i wprowadzeniem zmian we wnętrzu świątyni¹⁷, które nie podobały się parafianom¹⁸. Część spośród nich przystąpiła tylko do spowiedzi, a pozostali także i do komunii świętej. Jeszcze inni spowiadali się w kościele, a komunię świętą przyjmowali w cerkwi.

W tej sytuacji komisja zwróciła się do proboszcza parafii przy kościele pijarów w Drohiczynie, Gustynowicza, z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie przyjęto tylu unitów do spowiedzi i komunii świętej oraz dlaczego udzielano chrztu dzieciom unitów.

¹² LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 1 Число о перешедших лицах из Греко-Уни́тскаго в Римский обряд.

¹³ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 21-22 Заседание Литовской Греко-Уни́тской Духовной Консисто́рии от 11.08.1836 г.

¹⁴ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 7 Заседание Литовской Греко-Уни́тской Духовной Консисто́рии от 10.08.1836 г.

¹⁵ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 27 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Уни́тскую Духовную Консисто́рию от 06.09.1836 г.

¹⁶ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 49 Рапортъ Бельскаго благочиннаго протоиерея Адама Косты́цевича в Литовскую Греко-Уни́тскую Духовную Консисто́рию от 05.12. 1836 г.

¹⁷ Zlikwidował duży ołtarz, a ustawił inny ołtarz obok ze specjalnym obok stolikiem (stół ofiarny), do którego ciągle chodzi i chodzi, to w tym tłumaczyli, wyraża się ta nowa pobożność proboszcza, nie używał monstrancji, które były na wyposażeniu cerkwi. LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 74 Рапортъ Бельскаго благочиннаго протоиерея Адама Косты́цевича в Литовскую Греко-Уни́тскую Духовную Консисто́рию от 10.02. 1837 г.

¹⁸ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консисто́рия, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 74 Рапортъ Бельскаго благочиннаго протоиерея Адама Косты́цевича в Литовскую Греко-Уни́тскую Духовную Консисто́рию от 10.02. 1837 г.

Pytano, czy prowadzona była imienna ewidencja takich osób, a jeśli nie, to dlaczego¹⁹. W sprawie sakramentu chrztu komisja wystosowała osobne pismo. Tłumaczono, że kumowie zatajali prawdę, że rodzicami byli unicy, wyjawiano ją dopiero po chrzcie²⁰.

Komisja badała konwersje w każdej wsi. Potwierdziło się, że w 1836 roku pijarzy masowo spowydali unitów i ochrztili dzieci, nie wydając metryk oraz dokonywali pochówków. Dziekan bielski pisał, że przy okazji wyszły na jaw inne nieprawidłowości, jak to określił, ze strony księży łacińskich, ale nie podał, jakie. Prosił władze duchowne, rozgoryczony niewdzięczną rolą, o zwolnienie z prowadzenia tej sprawy, tłumacząc, ile kosztuje go to zdrowia i czasu²¹.

Duchowni unicy w pracach komisji uczestniczyli niechętnie, opóźniali przyjazdy bądź nie stawiali się w ogóle. Stąd ustalane przez sądy powiatowe terminy często przesuwano. W przypadku nieobecności dziekana, wyznaczony asesor informował o tym powiatowy sąd ziemski, a ten władze obwodowe, które powiadamiały konsystorz.

W wyniku próby odzyskania byłych parafian relacje pomiędzy duchownymi obu obrządków stawały się coraz bardziej wrogie. Dla parochów udział w pracach komisji był stresujący i dyskomfortowy, pamiętać też warto o utrudnieniach w niesieniu posługi duszpasterskiej.

Władze diecezjalne w 1837 roku zobligowały proboszczów do poinformowania tych parafian, którzy przystąpili do spowiedzi w ubiegłym roku w kościele, o obowiązku odbycia jej teraz w cerkwi unickiej. Powyższe rozporządzenie konsystorza dziekani przekazali do realizacji²².

Sprawa przeciągała się zarówno z winy urzędników, jak i duchownych. Dziekan Kostyczewicz twierdził, że nie zawsze wyjaśnianiu sprzyjała postawa delegowanych pracowników sądów ziemskich. Niejednokrotnie, pomimo zaangażowania duchownych, odsyłano takie sprawy do rozpatrzenia i decyzji sądów oraz władz obwodowych w Białymstoku, celowo działając na zwłokę. Miało to wpływ na postawę osób, które zmieniły wyznanie. Wyjaśniał, że z tego powodu jeszcze pod koniec maja 1837 roku wiele osób, pomimo że podpisało deklarację o powrocie na unityzm, tego nie uczyniło²³.

¹⁹ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистория, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 75 Следственная Комиссия о совратившихся из Греко-Унитского в Римско-Католический обряд в Дрогичинском приходе Настоятелю Дрогичинского Пиярского Костела Гну. Ксендзу Густыневичу от 24.01.1837 г.

²⁰ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистория, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 179 В следственную Комиссию Настоятелю Римско-Католического Пиярского Дрогичинского Костёла – священник Г-ну Густыневич от 25.01.1837 г.

²¹ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистория, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 54 Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыцевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 28.01.1837 г.

²² LVIA Vilnius ф. 605 Виленская Православная Консистория, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области к. 110 Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыцевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 09.03.1837 г.

²³ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистория, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 162, Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыцевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 22.05.1837 г.

W parafii drohiczyńskiej sprawę powrotu na unityzm prowadził dziekan, proboszcz i asesor. Zgodę na powrót do poprzedniego wyznania do maja 1837 roku zadeklarowała zaledwie jedna osoba. Wszyscy pozostali twierdzili, że byli chrzczeni w kościele i dostarczyli zaświadczenia od proboszcza Gustynowicza, że praktykują obrządek łaciński. Komisja nie ufała tym zaświadczeniom. W związku z tym poproszono o wypisy metrykalne chrztu. Proboszcz Gustynowicz poinformował, że wszystkie księgi metrykalne sprzed 1836 roku zostały przekazane już do konsystorza w Mohylewie. Osoby te pochodziły z małżeństw mieszanych. Wyjaśnianie sprawy przejścia unitów w parafii drohiczyńskiej na obrządek łaciński zakończono 15 kwietnia 1837 roku. Ustalono, że osoby te były chrzczone w kościele, ponieważ wtedy nie widziano różnicy pomiędzy obu obrządkami. Inni tłumaczyli, że byli chrzczeni z woli rodziców, którzy już nie żyją. Sakramentu chrztu udzielali im nieżyjący proboszczowie. Paroch z Drohiczyzna stwierdził, że osoby te powinni należeć do jego parafii. Wyjaśniał, że wcześniej unicy nieraz chrzcili swoje dzieci w kościołach, ale one praktykowały obrządek rodziców²⁴. Działania komisji nie przynosiły rezultatów. Zakon i kościół pijarów w Drohiczyźnie oddziaływał na kilka parafii unickich.

Komisje działały bez księży łacińskich, co przewidywał ukaz z 1827 roku. Biskup rzymskokatolickiej diecezji wileńskiej 5 marca 1838 roku złożył protest i zażądał od unickich władz duchownych, aby w skład komisji weszli księża łacińscy, a od gubernatorów, aby zabronili sądom ziemskim takiego postępowania. Następnie zwrócił się do Kolegium z prośbą o uzyskanie u cara zezwolenia, aby ochrzczeni w kościele mogli pozostać w tym obrządku. Kolegium nie zaprzeczało zarzutowi niedopuszczania księży łacińskich do komisji, uzasadniając to niechęcią współdziałania ich z klerem unickim. Józef Siemaszko tłumaczył, że ukaz z 1827 roku nie określił zasad współpracy księży obu obrządków i stracił moc prawną po reorganizacji struktury cerkiewnej. W 1837 roku zakazano chrzczyć dzieci unickie w kościołach. Biskup Józef Siemaszko nie widział sensu współpracy z księżmi łacińskimi, skoro przez ponad trzydzieści lat nie godzili się na „oddanie” parafian [Radwan 2004, 179-180].

Działania zarówno proboszczów parafii, w których dochodziło do konwersji, jak i dziekanów wspieranych przez władze cywilne nie przynosiły zamierzonych rezultatów. Nie respektowano decyzji podejmowanych przez władze na szczeblu powiatu i obwodu. Wobec konwertytów, z wyjątkiem słownego nakłaniania, nie zastosowano żadnych środków. A władze cywilne przysyłały dokumenty to do jednych, to do drugich.

Dlaczego władzom duchownym, a zwłaszcza biskupowi, tak bardzo zależało na wyeliminowaniu konwersji w obwodzie białostockim w drugiej połowie lat 30. XIX wieku, pomimo że zjawisko to było nieporównywalne do tego, jakie miało miejsce wcześniej na Mińszczyźnie? W diecezji litewskiej w tym czasie chodziło nie tyle o reunityzację, ile o pokazanie nieugiętej polityki władz duchownych, co w perspektywie planowanej restytucji prawosławia miało duże znaczenie.

²⁴ LVIA Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистория, оп. 1, д. 2497 Дело о латинизантах Белостокской Области, к. 142- 143 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 21.05.1837 г.

Wprowadzane od 1834 roku w cerkwiach unickich zmiany nie pozostawiały wątpliwości co do ich ostatecznego celu. Zaczynali mieć tego świadomość i unicy, i księża łacińscy, prognozując, że w nowych realiach możliwości zmiany wyznania na łacińskie nie będzie.

Biskup Józef Siemaszko 10 lipca 1838 roku polecił konsystorzowi interwencję w sprawie tzw. działalności misyjnej, organizowanej w guberniach zachodnich przez księży łacińskich bez zgody ich władz zwierzchnich [*Записки Иосифа Митрополита*, T. III, 383] Diecezjalne władze unickie w Żyrowicach nie miały na to wpływu. Sytuacja ta niepokoiła biskupa o tyle, że w tym czasie doszło do sprzeciwu części kleru unickiego w dekanacie bielskim.

19 września 1838 roku biskup brzeski Antoni Zubko poinformował władzę Józefa o nasileniu się prowadzonych przez księży rzymskokatolickich i bazylianów tzw. „misji”, których celem było oddziaływanie na unitów²⁵. W 1838 roku w guberni grodzieńskiej tego typu akcje prowadzono masowo [Орловский 1903, 101]. Podczas „misji” spowiadano unitów i praktykowano odpusty. A na konwertytów, którzy decydowali się powrócić na unię, wywierano naciski, by tego nie czynili. Grzegorz Kiprianowicz przytacza przykład byleż unitki, której miejscowy organista wyjaśniał, co znaczy „ruska wiara”: „to przeklęty obrządek, tam spowiada się jednocześnie po trzydziestu osób, które trzymając ręce do, góry głośno wyliczają swoje grzechy” [Киприанович 1894, 50-51].

O tego typu działaniach poinformowano oberprokuratora Świętobliwego Synodu Protasowa, prosząc o zakazanie w rzymskokatolickiej diecezji wileńskiej podejmowania takich działań zarówno przez kler świecki, jak i bazylianów. Protasow przekazał sprawę ministrowi spraw wewnętrznych, a ten zażądał informacji od biskupa rzymskokatolickiego w Wilnie, Kłagiewicza. Jednocześnie polecił niezwłoczne wstrzymanie takiej działalności w guberni grodzieńskiej (tam przybrała ona największy rozmiar). Poinformowany o sytuacji car wydał polecenie ministrowi, aby misje rzymskokatolickiego duchowieństwa były przerwane. Rzymskokatolicki biskup Kłagiewicz obiecał wstrzymać dalszą taką działalność, połączoną z bezpłatnym kolportażem propagandowej lektury [*Записки Иосифа Митрополита*, T. III, 383-384].

Po 1839 roku władze duchowne i świeckie kontynuowały działania motywujące do przejścia już na prawosławie byłych unitów. W dekanacie bielskim sprawę prowadziły kolejne komisje. Władzę świecką reprezentował sędzia Konarzewski, duchowną – prawosławną proboszcz Mikołaj Giżewski, którego następnie zastąpił duchowny Celestyn Bren, katoliczką reprezentował ksiądz Izbiński z parafii bielskiej. Podejście i charyzma Brena sprawiła, że większość byłych unitów przyjęła prawosławie, zwłaszcza w parafii Nowe

²⁵ Według E. Orłowskiego taka działalność misyjna polegała na objazdach księży łacińskich po różnych miastach i miasteczkach, gdzie znajdowały się kościoły. Tam przeważnie głoszone kazania przed świątynią, co bardziej przyciągało uwagę, i odprawiano uroczyste nabożeństwa, w czasie których spowiadano i udzielano komunii świętej. Podczas misji praktykowano również indulgencje (odpusty) dla uczestniczących w tych nabożeństwach. Po drodze księża rozdawali książeczki w języku polskim, w których przekonywano, że zbawienie duszy jest możliwe tylko w Kościele rzymskokatolickim, a wyznawcy pozostałych religii skazani są na wieczne potępienie.

Berezowo (14) i Rajsk (15 osób)²⁶, ale część pozostała przy rzymskim katolicyzmie. Konwersje neofitów z obrządku łacińskiego na prawosławie po kasacji unii kościelnej trwały jeszcze parę dziesięcioleci.

Po 1839 roku wystąpiły także nowe przypadki przechodzenia na rzymski katolicyzm. W latach 40. i 50. XIX wieku na terenie północnego Podlasia miała miejsce kolejna fala konwersji za sprawą księży łacińskich, którzy przekonywali, że schizmatycy nie dostąpią Królestwa Bożego. Zalecenia i nakazy wydawane przez władze duchowne nie były skuteczne. Przypadki takie wystąpiły w kilku parafiach w obwodzie białostockim, a najwyraźniej w Łosince (wpływ sąsiedztwa kościoła w Narwi) [Sosna, Troc-Sosna 2009, 36]. W „posłużnych spiskach” (aktach osobowych) duchownych z drugiej połowy XIX wieku widnieją informacje o liczbie osób przyłączonych do prawosławia. Niekiedy działania duchownego nie ograniczały się do własnej parafii. Na przykład w wyniku działań proboszcza parafii Łosinka na prawosławie przeszło około 180 osób z powiatów bielskiego, białostockiego i prużańskiego (zostały one zarejestrowane w specjalnej księdze) [Ibidem, 39, 249]. W przypadku takich osób wymagano jedynie przyjęcia sakramentu bierzmowania [Ibidem, 205].

Józef Siemaszko w piśmie do oberprokuratora Świętobliwego Synodu, Protasowa, z 17 stycznia 1848 roku brał w obronę dawne duchowieństwo unickie, któremu początkowo trudno było odnaleźć się w nowej sytuacji – izolacji i nacisków pomiędzy klerem tzw. „drewleprawosławnym” i łacińskim. Pisał, że nie wiadomo, czego bardziej się obawiać – krótkowzroczności jednych czy wrogiego nastawienia drugich. Skarżył się na wymagania stawiane przez prawosławnych urzędników i dostojników duchownych, którzy żądają zbyt wiele od kleru, nie rozumiejąc miejscowych uwarunkowań. Przez jakiś czas pokutował jeszcze podział duchowieństwa prawosławnego [*Зануцкi Іоцуѣа Мумпонулума*, T. II, 633-635].

W sprawie byłych unitów, którzy przeszli na obrządek łaciński, Józef Siemaszko zajął stanowisko w piśmie z 28 grudnia 1841 roku. Nadzieję, że po restytucji prawosławia poprawią się relacje pomiędzy klerem prawosławnym a łacińskim i ustaną nawracania, uważał za bezpodstawną. Arcybiskupa niepokoiła postawa urzędników, których setki porzuciły wcześniej unityzm. Obawiał się, że może to prowadzić do fermentu wśród byłych unitów. Stąd uważał, że nie ma potrzeby spieszyć się z decyzją oficjalnej akceptacji konwersji unitów. Arcybiskup zaproponował, aby władze cerkiewne pozostawiły byłych unitów w obrządku łacińskim, jeżeli do konwersji doszło przed 1839 rokiem, natomiast nawracanie prawosławnych miało pociągać już konsekwencje [*Зануцкi Іоцуѣа Мумпонулума*, T. II, 194-196].

Po kasacie unii relacje pomiędzy klerem łacińskim i prawosławnym (dawniej unickim) uległy pogorszeniu, głównie za sprawą walki o parafian. W związku ze skargami księży Świętobliwy Synod ogłosił 26 czerwca 1842 roku ukaz, którym duchownych prawosławnych zobligowano do uchylania się od sytuacji, które mogłyby być powodem skarg kleru łacińskiego, postępowania, na ile to tylko możliwe, zgodnie z chrześcijańskim

²⁶ Дзяржпўны Гістарычны Архіў Беларусі ў Мінску, ф. 1744 оп. 1, д. 25, к. 202-212, 140 Список лиц Греко Униатского исповедания перешедших на латинский обряд Бельскаго благочиния 1837-1844.

braterstwem, oczekiwano tego i od księży. Jednocześnie prawosławnych duchownych zobowiązał do czuwania, i w przypadku konfliktowych sytuacji, powiadamiania konsystorza i dziekanów, a jeśli to nie przyniesie rezultatu arcybiskupa [*Записки Иосифа Митрополита*, T. III, 658-661].

Nakłanianie konwertytów do powrotu do unityzmu w latach 20. i 30. XIX wieku prowadziło do konfliktów i nieporozumień na szczeblu diecezji, dekanatu, parafii. Wcześniej, pomimo że zdarzały się napięcia na szczeblu hierarchii, relacje na poziomie kleru parafialnego były dobre, a różnice w obrządkach zacierały się. Po 1839 roku więzi pomiędzy księżmi prawosławnymi a łacińskimi rozluźniły się całkowicie, a walka o parafian prowadziła do konfliktów. Byli unici coraz bardziej oddalali się od obrządku łacińskiego, który kolejnym pokoleniom stawał się coraz bardziej obcy. Zarówno „razbor prichożan” jak to określano, jak i wzajemne pretensje trwały jeszcze długo, dopiero po 1870 roku problem ten praktycznie zniknął [*Записки Иосифа Митрополита*, T. III, 210]. Część pozostałości punickich na północnym Podlasiu zarówno w kalendarzu ludowym, jak i w tradycji cerkiewnej zachowała się do dziś.

Bibliografia

Źródła:

Дзяржпўны Гістарычны Архіў Беларусі ў Мінску, ф. 1744
 Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas Vilnius, ф. 605 Виленская Православная Консистория
 Российский Государственный Исторический Архив (dalej: РГИА) в Санкт-Петербурге, ф. 797

Bibliografia:

Бобровский Павел. 1889. *Антоний Юрьевич Сосновский старший соборный протоиерей*. В: *Литовския Епархиальныя Ведомости*: 20-22, 45, 47, 49-51.
Записки Иосифа Митрополита Литовскаго изданныя Императорскою Академиею Наук по завещанию автора. 1883. Т. 3. Санкт Петербург: Типография императорской Академии Наук.
 Зноско Константин прот. 1993. *Исторический очерк церковной унии ее происхождение и характер*. Москва: Издательство Мартис.
 Киприанович Григорий Я. 1894. *Высокопреосвященный Иосиф Семацко митрополит литовский и виленский Очерк его жизни и деятельности по воссоединению западнорусских униатов с православною церковию в 1839 г.* Вильно: Типография И. Блюновича.
 Марозава Святлана В. 2001. *Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады)*. Гродна: ГрДУ.
 Орловский Евстафий Ф. 1903. *Судьбы православия в связи с историею латинства и унии в Гродненской губернии в XIX столетии (1794-1900)*. Гродна.
 Філатава Алена Н. 1998. *Хрысціянскія канфесіі пасля далучэння Беларусі да Расійскай Імперіі (1772-1860)*. В: *Канфесіі на Беларусі (канец XVIII-XX ст)*. Мінск.

Kołbuk Witold. 1992. *Kościół wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914*. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego przez mnie księdza Bazylego Guttorskiego dziekana podlaskiego, plebana golniewskiego w roku 1773 miesiąca Novembra dnia 17 iuxta vetus

- kalendarza sporządzona*. 1996. Oprac. Maroszek J., Wilczewski W. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe.
- Mioduszevska Anna. 2010. *Obecność unitów w księgach metrykalnych parafii w Choroszczy*. W: *Śladami unii brzeskiej*. Lublin-Supraśl: Wydawnictwo KUL.
- Mironowicz Antoni. 1994. *Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku (materiały źródłowe)*. „Białoruskie Zeszyty Historyczne” nr 2.
- Radwan Marian. 2004. *Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839*. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
- Rzońca Jan. 2005. *Kościół unicki na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim za Mikołaja I i jego likwidacja w 1839 r*. W: *Kościół na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XV-XIX wieku. Źródła i stan badań*. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT Mariusz Śliwowski.
- Sosna Grzegorz o., Troc-Sosna Antonina. 2009. *Łosinka parafia na skraju Puszczy Ładzkiej*. Bielsk Podlaski-Ryboły: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
- Wyczawski ks. Hieronim Eugeniusz. 1987-1988. *Cerkiew wschodnia na terytorium (archi)diecezji wileńskiej*. W: *Studia Teologiczne*. Białystok-Drohiczyń-Łomża: Kuria Arcybiskupia w Białymstoku.
- Śliwa ks. Tadeusz. 1979. *Kościół greckokatolicki na „ziemiach zabranych” (1815-1839)*. W: *Historia Kościoła w Polsce*. T. II, cz. 1. Poznań-Warszawa: Pallottinum.

Summary

DISCOURSE OVER THE CONVERSION OF THE UNIATES IN NORTHERN PODLASIE IN THE 1820S AND 1830S

The conversion of the Uniates to the Latin Catholic rite occurred with the introduction of the Union Church. Initially, it concerned Russian nobility, which thus obtained equality and ennoblement. Over time, also peasants inhabiting mainly the borderland area converted. One such example was northern Podlasie. The rite was changed as a result of marriages, Latinization and pressure from the clergy and nobility. After the Synod of Zamość, the difference between the two Catholic rites was blurred, thus the Uniates occasionally baptized their children in churches. In such a situation, they recorded them in parish registers and they practiced Roman Catholicism. In 1837, the cancellation of previous metric entries was instructed and moving to the parish registers of the Uniates, which was impossible in practice. Beginning in 1834, when, as a result of changes made in the temples, suggestions to abolish the Uniate rite became more pronounced and more frequent, the activity of Latin clergy intensified, leading to conversions. As early as 1807, the Senate forbade the conversions of the Uniates to the Latin Church and in 1810 the converts were ordered to return to the previous rite, yet it concerned only the Uniate priests. This was not complied in practice. In 1835, the Uniates were categorically forbidden to convert to the Latin rite, but this did not stop conversions. In northern Podlasie, conversions intensified in the early 1830s and ranged from approximately 26.1 percent in the parish of Drohiczyń to just a few people in other parishes. Conversions did not occur in the ethnically homogenous areas. Before 1835, 983 people abandoned the Uniate rite in the district of Białystok, 712 at the deanery of Bielsk and 271 people at the deanery of Białystok. However, these data were not complete. The actions concerning the conversions of the Uniate priests and deans, supported by civil authorities, did not bring about the intended results. The decisions taken by the church and civil authorities were not respected. None of the measures were enforced on the converts, except for verbal incitement. It was finally decided that if the conversion was made before 1839, the return was not necessary. On the other hand, attempts to convert Orthodox Christians

met with serious consequences. After the dissolution of the Union, the relations between the Latin and Orthodox clergy (formerly the Uniate) deteriorated, and the struggle to gain parishioners led to conflicts and mutual claims, lasting for a long time. After 1870 this problem virtually disappeared.

Kontakt z Autorką:

i.matus@wp.pl

Halina Mazurek

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach

LEKTUROWE SKOJARZENIA. *RÓŻANIEC Z GRANATÓW*
KSAWEREGO PRUSZYŃSKIEGO
I *BRANSOLETKA Z GRANATÓW* ALEKSANDRA KUPRINA

Key words: likelihood, association, musical motif, spirituality, love, bracelet, rosary

Co może łączyć te dwa tak różne utwory? Parafraza tytułu, świadoma czy nieświadoma, a najprawdopodobniej podświadoma, nie przesądza jeszcze o niczym. Dzieło Kuprina mówi o wielkiej miłości, nie nieznaczącego w ówczesnym świecie drobnego urzędnika Żółtkowa, do wielkiej damy, małżonki księcia Szeina. Dowodem tego niespełnionego uczucia jest podarowana jej bransoletka, jedyna rzecz, która została mu po matce, cenna pamiątka rodzinna. Mąż i brat Wiery Nikołajewny zwracają prezent z prośbą, by młody człowiek nigdy więcej ich nie niepokoił. Samobójstwo Żółtkowa jest świadectwem jego bezgranicznego oddania w miłości, które poraża księżną Wierę i uświadamia jej, że ominięła ją prawdziwa miłość, wielka i niezwykła. W opowiadaniu Pruszyńskiego natomiast bohaterem jest Polak-emigrant, prosty żołnierz, walczący w Hiszpanii z faszystami. Zaciągnął się, by poświęcić się walce o wolność i pomścić śmierć brata. Uczynił to, nie powiadamiając o swoim odjeździe matki. Teraz kupił jej na przeprosiny różaniec z granatów, lecz ciężko ranny umiera w angielskim szpitalu, bo tam rzuciły go losy wojny. Dzieje swego życia opowiada narratorowi. Niemniej jednak lektura obu utworów nieodparcie skłania do porównań, skojarzenia nasuwają się bezwiednie. Znakomity badacz aluzyjności i związków między tekstami, Konrad Górski zaznaczył, że:

Jeśli tekst utworu posługującego się aluzją nie zaszyfrowuje w jakiś sposób, że autor świadomie nawiązuje do cudzego dzieła, możemy być w wielkim kłopotcie, czy uznać dostrzeżony związek za aluzję, czy tylko za podświadomą reminiscencję (...) Stwierdzenie, że jakaś reminiscencja (jeśli w ogóle zachodzi jej możliwość) jest świadoma czy nieświadoma, należy do psychologii twórczości i na podstawie samego tekstu stwierdzić się nie da. Rozstrzygającym dowodem może być tylko osobiste wyznanie autora czy jakieś uboczne okoliczności upoważniające do takiego lub innego wniosku [Górski 1984, 177, 194].

Tą najistotniejszą okolicznością w niniejszym przypadku może być związek pisarza polskiego z Rosją.

Ksawery Pruszyński (1907–1950) – pisarz, reportażysta, korespondent wojenny, attaché kulturalny ambasady polskiej w Moskwie i Kujbyszewie, radca ambasady polskiej w Waszyngtonie, minister pełnomocny w Holandii, uczestnik walk na frontach drugiej wojny światowej (dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych) – znał bardzo dobrze historię, kulturę i literaturę europejską, w tym w szczególnej mierze rosyjską. Był świetnym obserwatorem życia i ludzi i wiele wyniósł ze swoich podróży reporterskich po świecie. W cyklu artykułów *Wobec Rosji*, w książce *Noc na Kremlu* i w szkicach na tematy rosyjskie *Russian Year*, jak zresztą i w innych swoich utworach powołuje się niejednokrotnie na pisarzy rosyjskich: Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tolstoja, Aleksego Tolstoja, Ilję Erenburga, Antona Czechowa, Aleksandra Afinogienowa, Michaiła Swietłowa i in. Zapewne znał też prozę Kuprina, i to nie tylko z tłumaczeń, porozumiewał się przecież po rosyjsku. Ten szlachcic z Wołynia znał wiele języków i był niezwykle czytany. Doskonała pamięć i bystrość umysłu przejawiały się w jego reportażach i opowiadaniach w porażających trafnością spostrzeżeniach, w rozsądnych i wyważonych ocenach sytuacji i ludzi. Ocena, jaką dał twórczości Pruszyńskiego Jan Pałacowski, może być kolejną ważną okolicznością, która usprawiedliwi i wyjaśni, przynajmniej po części, specyficzny związek *Różańca z granatów* z opowiadaniem Kuprina:

Nieskłonny do doktrynerstwa ideologicznego, tym bardziej nie ulegał łatwo poszczególnym doktrynom literackim, nie hołdował żadnej szkole, żadnym kierunkom i prądom z osobna, nie był też w jakiś szczególnie sposób zależny od jednej indywidualności pisarskiej. Te uwagi mówią o tym, że nie można rozpatrywać twórczości Pruszyńskiego w ramach określonej poetyki. Nie wykluczają one natomiast, a nawet sugerują uleganie twórcy wielu wpływom i to w układzie, który można by określić mianem „suma wpływów”. Posiadając rozległą kulturę umysłową, dysponując dużym wyborem już nie wzorów, ale wprost przyzwyczajęń lekturowych, w sposób świadomy czy nieświadomy musiał im ulegać. Uleganie to nie wiązało się zresztą tylko z lekturą, miało także związek z zawodem Pruszyńskiego jako reportera. Umysł przyzwyczajony przez dziesięć lat do działalności intelektualno-porządkującej w zakresie faktów niesionych przez życie, kontynuowanej również w czasie emigracyjnych wędrówek w postaci działalności publicystycznej i pracy naukowej (...) nie mógł się nagle przestawić na twórczość fikcyjną. (...) mając w pamięci zapas wzorów, konkretnych realizacji literackich, uświadamianych lub nieuświadamianych sobie w trakcie pisania, wkładał w nie własne doświadczenia oraz własne zamierzenia ideowo-polityczne i artystyczne [Pałacowski 1975, 190].

Już bardzo dawno temu Wacław Borowy niebezpiecznie stwierdził, że: „razem z myślą i nastrojem płyną w duszę z dzieł cudzych rytmy, obrazy, wątki”, że „proces przekształcania się rzeczywistości w umyśle pisarzy” następuje często „pod wpływem wspomnień z lektury”, a „obrazy wyciśnięte w pamięci przez lekturę, łączą się ze spostrzeżeniami” [Borowy 1921, 9-13].

Związek opowiadań Kuprina i Pruszyńskiego uwidocznił się najbardziej w roli i znaczeniu, jakim obaj pisarze obdarzyli tytułowy przedmiot. Srebrną bransoletkę, pamiątkę po prababce i matce, Żółtkow daje przerobić i osadzić granaty w złocie. W liście do Wieri Nikołajewny zaznacza, że nikt przed nią tej ozdoby nie nosił. Jest ona jedynym świadectwem jego bezgranicznej, niespełnionej miłości. Przerabiając ją, mężczyzna jakby

przerywa łączność tego przedmiotu z najdroższą niegdyś mu osobą i chce, by teraz należał tylko do Wiery. Kiedy bransoletka zostaje mu zwrócona, poleca swojej gospodyni, Polce i katoliczce, odnieść ją do kościoła i zawiesić na obrazie Matki Boskiej. Ta skromna ozdoba od razu przyciągnęła uwagę księżnej, nie mogła oderwać od niej oczu, podziwiając niesamowity blask kamieni, w których wnętrzu jakby przelewała się krew. Taką samą uwagę przykuwa również różaniec z granatów, który jako jedyna rzecz odbija się swym blaskiem od ponurej bieli wnętrza szpitala. Jest także dowodem miłości i szacunku, w tym przypadku do matki. Narrator podkreśla, że różaniec jest bardzo skromny, jakich było wiele w Hiszpanii, słynącej z wykonywania różańców zwłaszcza z kamieni bardzo drogich, lecz mimo to posiada w sobie coś niezwykłego. Sprawia to włożone w te przedmioty głębokie i szczere uczucie. Józef Łaptak wyrwał różaniec z rąk profanujących go żołnierzy, odkupił go od nich i nigdy się z nim nie rozstawał. Dzięki niemu uniknął śmierci w niewoli. Podziwiano bowiem jego religijność i przestano nazywać bolszewikiem. Jak ujmuje to Zygmunt Ziątek: „Łaptak ocalał w czasie hiszpańskich walk dzięki swojemu katolicyzmowi”, „gorącemu ludowemu katolicyzmowi”, „dzięki temu, że bronił świętości przed obrazą motłochu” [Ziątek 1972, 152-153]. Świętością jest również miłość Żółtkowa, symbolizowana przez bransoletkę z granatów, miłość sprofanowana przez inny motłoch – arystokrację, nierozumiejącą siły uczucia, tego, że stać na nie małego człowieka, zwykłego urzędnika, do którego odnoszono się z pogardą.

Zarówno Kuprin, jak i Pruszyński budują swoje opowiadania na zasadzie kontrastu. Wielki mały człowiek jest przeciwstawiony w nich małodusznym ludziom z wielkiego świata, ubogim wewnątrz i niedopuszczającym myśli, że nienależącego do ich sfery człowieka stać na coś wyjątkowego, na wzniosłe uczucie i ofiarny czyn. Świat arystokracji reprezentują w dziele Kuprina goście Wiery Nikolajewny, którzy wyśmiewają się z listów Żółtkowa i świetnie się bawią w wymyślanie melodramatycznych opowieści, parodiujących wysoką miłość. Kontakt ze skromnym, lecz szlachetnym i bogatym duchowo urzędnikiem łagodzi nastawienia księcia Szeina, który zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i podziwiać uczucia mężczyzny, na jakie jego, wyniosłego arystokratę, nie było stać.

Z pogardą też traktują bohatera opowiadania Pruszyńskiego oficerowie z wrogiego obozu, gdzie znalazł się w niewoli. Zwłaszcza polski major, który posądził Łaptaka o interesowność i zaciągnięcie się w szeregi hiszpańskich rewolucjonistów dla pieniędzy. Nie mogło bowiem pomieścić się w jego głowie, że prosty żołnierz walczy dla idei, w obronie czyjejś wolności. Jakież było zdziwienie majora, który już jako świeżo upieczony pułkownik musi wręczyć Łaptakowi Krzyż Walecznych za uratowanie przez tegoż życia dowódcy. Zdumiał się i sam Łaptak, gdy ujrzał znajomą twarz, ale już w szeregach antyfaszystów. Wygrywa ten pojedynek moralny z dwulicowym człowiekiem, który traktował go do niedawna z góry, a teraz stoi przed nim speszony.

Bohaterowie obu utworów odnoszą zwycięstwo moralne. Obaj walczyli skutecznie w obronie swojej godności osobistej. Żółtkow, kiedy zdecydowanie przeciwstawiał się zaciętrzewionemu i poniżającemu go bratu Wiery, który zamierzał zgłosić sprawę władzom, Józef Łaptak zaś mówiąc bez lęku prawdę faszystom i polemizując śmiało z majorem na

temat swojego udziału w hiszpańskiej wojnie domowej. Obaj bohaterowie umierają, ale ich uczucia i złożone życie duchowe przewyżniają śmierć. Miłość Żółtkowa triumfuje nad śmiercią w momencie przeistoczenia się Wierę Nikołajewną i zrozumienia, co straciła. Niezatarty ślad pozostawiają po sobie istnienie i czyn Łaptaka. Pod jego przejmującym wrażeniem pozostanie na zawsze narrator opowiadania – Pruszyński, świadek jego przedwczesnego zgonu, z wielkim żalem zakładający mu na jego martwe ręce różaniec z granatów, który podobnie jak bransoletka nie dotarł do ukochanej osoby.

Wiele jeszcze wspólnego dostrzec można w kreacji obu postaci, zwłaszcza w opisie ich twarzy. Będący już w stanie agonalnym młody żołnierz rozjaśnia swe oblicze pod wpływem zacytowanej przez narratora słynnej ballady Świetłowa *Grenada*:

Podniosłem się i widziałem jego twarz. Była to twarz człowieka, który ma widzenie, którego teraz nie boli nic, dla którego ani cierpienia nie ma, ani śmierci [Pruszyński 1998, 155].

Kuprin pisze tak o zmarłym Żółtkowie:

Wielka powaga była w jego zamkniętych oczach, wargi uśmiechały się szczęściem i spokojem, jak gdyby przed rozstaniem się z życiem rozwiązał jakąś głęboką a słodką tajemnicę, rozstrzygającą całą treść jego życia. Wiera przypomniała sobie, że takie samo uspokojenie widziała na pośmiertnych maskach wielkich męczenników – Puszkina i Napoleona [Kuprin 1932, 170].

Oba interpretowane utwory łączy motyw muzyczny, bardzo znaczący dla bohaterów. Żołnierz-tułacz jest przejęty śpiewaną przez towarzyszy pieśnią, w której jest mowa o takich jak on:

Ja chatę porzucił
I walczyć szedł po to-m,
Że ziemię w Grenadzie
Ja oddać chcę chłopom.
Żegnajcie, najmilsi,
Powrócę, Bóg da!
– Grenada, Grenada,
Grenada maja!

Leżący nieopodal Łaptaka ranny Pruszyński kilkakrotnie na jego prośbę recytuje mu znane i śpiewane często przez żołnierzy słowa. Wzrusza to chłopaka, nie potrafi powstrzymać łez, ale daje mu to ukojenie i jakby potwierdza słuszność jego wyboru oraz przekonuje, że takich jak on jest wielu. Motyw śpiewnej ballady przywołuje wspomnienia, podobnie jak w dziele Kuprina druga sonata Beethovena, op. 2, Largo Appassionato. Muzyka ta przejmuje do głębi Wierę Nikołajewną. W jej takt kobieta składa w swoim umyśle swoistą modlitwę w imieniu Żółtkowa, adresowaną do niej i przeplataną słowami: „Niech się święci imię Twoje”. Anatolij Wołkow nazwał tę wspaniałą część opowiadania wierszem prozą (Wołkow 1981, 259). Przemawia za tym metaforyczność tego fragmentu i zawarty w nim pierwiastek liryczny. Za sprawą motywu muzycznego ujawniona zostaje głębia ducha bohaterów. W opowiadaniu Kuprina stara się ją ująć w słowa księżna Wiera. W utworze Pruszyńskiego przejawia się ona w natchnionej twarzy żołnierza i jego słowach skierowanych do pułkownika w momencie dekoracji Krzyżem Walecznych.

Jest w jednym i drugim utworze jeszcze trochę szczegółów przemawiających za ich związkiem. Kuprin rozpoczyna akcję w ostatnich dniach sierpnia i opisuje krzątanie ludzi opuszczających już domki letniskowe, zwłaszcza, że koniec miesiąca stał się ponury za sprawą długotrwałych deszczy. Słoneczny początek września rozjaśnia pogodę i nastrój Wiery, która cieszy się też z dnia swoich imienin i mających przybyć gości. Pruszyński również zaznacza, że jego pobyt w szpitalu przypadł na sierpień. Opowiadanie rozpoczyna się od opisu bieżącej sytuacji związanej z pojawieniem się nowych rannych, z wojenną zawieruchą. Od smutnej codzienności szpitalnej odrywa narratora nagle widok różańca z granatów i opowiedziana przez Łaptaka historia jego udziału w wojnie, ujawniająca szlachetną postawę chłopaka. W obu utworach dominuje niezwykłość wśród szarości. Jest ona podkreślona w szczególny sposób także przez zestawienia prezentów – są dwa w każdym utworze.

Siostra daruje Wierze notesik przerobiony z modlitewnika, gustowną starość, którą dodatkowo każe upiększyć bogatymi zdobieniami. Rzecz jest bardzo ładna, ale na solenizantce nie wywiera tak wielkiego wrażenia jak skromna bransoletka ze zdobytym z trudem przez Żeltkowa zielonym granatem w środku. Przeniknęły ją bowiem i promieniowały z niej miłość i oddanie. Nie można powiedzieć, że siostra nie kochała Wiery, ale zdobycie notesu nie kosztowało ją aż tylu wyrzeczeń, ofiarności i intensywnego myślenia o obdarowywanej osobie co Żeltkowa. Dla Józefa Łaptaka taką wagę jak bransoletka ma różaniec, który przywołuje zawsze w pamięci matkę, najdroższą osobę. Reprezentuje jej świętość. Zdobyć go też nie było łatwo. Poza tym uratował chłopakowi życie. Toteż na drugi prezent – Krzyż Walecznych z rąk pułkownika – nie patrzy on z takim zachwytem, uważając bohaterski czyn na wojnie za swój obowiązek. Każdy z darowanych przedmiotów ma w obu opowiadaniach swoją historię. Jest w niej radość i cierpienie, ból duszy i poświęcenie, wreszcie miłość i śmierć.

Wydaje się, że dość istotnym powodem zestawienia obu opowiadań może być panujący w nich szczególny nastrój. Na początku dzieła Kuprina tworzy go opis schyłku lata, niesugerujący raczej zbyt optymistycznej treści. Zmianę pejzażu przynosi aura słonecznych pierwszych dni września. Długi wstęp do akcji, mający zapoznać dokładniej ze środowiskiem arystokracji, tylko potęguje oczekiwanie na najważniejsze wydarzenie, związane z tytułowym przedmiotem. Rozbawienie gości Wiery Nikolajewny, kpiących sobie z wielkiej miłości, wywołuje niesmak i pogłębia uczucie niepokoju. W opowiadaniu Pruszyńskiego wstęp jest znacznie krótszy, ale opis dusznego upalnego sierpnia, mrocznych sal szpitalnych oraz wspomnień z wojennej tułaczki też budzi trwożne myśli. Jakiś niewysławiony żal ogarnia, kiedy już zapoznajemy się z losami bohaterów głównych. Ich heroiczna postawa, poświęcenie się w imię wyższych uczuć, śmierć w momencie, kiedy życie właściwie dopiero się zaczyna, burzy spokój ducha i długo nie pozwala zapomnieć o tym. Nie można opanować emocji, gdy Wiera Nikolajewna przychodzi pożegnać się ze zmarłym już Żeltkowem. Uświadamiamy sobie, tak jak i ona, że nic nie można już zrobić, że wszystko się skończyło, przeszła obok niej prawdziwa miłość. Ta przedwczesna śmierć to tragedia, śmierć z win niezawinionych.

Nie da się bez wzruszenia odebrać tragedii Józefa Łaptaka, przejmującego opisu jego powolnej śmierci, kiedy wciąż prosi o powtarzanie *Grenady* i sam próbuje martwiejącymi ustami włączyć się w jej recytację. Jakby chciał upewnić się raz jeszcze, że jego walka miała sens i nie zmarnował swego krótkiego istnienia na tej ziemi. W balladzie jest mowa o losach żołnierza takiego jak on, też konającego z jej słowami na ustach.

Wacław Borowy pisał, że: „...każde prawdziwe dzieło literackie wyrasta z emocji i objawia się w intuicjach, że też przez intuicje i emocje należy je przyjąć” [Borowy 1921, 49]. Jest coś niezwykłego w obu opowiadaniach, coś, czego nie da się opisać, co budzi jakąś niespokojność serca, smutek i żal. Intuicja podpowiada, że musimy powrócić do ich lektury, ciągle wskrzeszać bohaterów i przedłużać ich żywot, rekompensować tym samym to, co nie było im dane przeżyć, utrwalać piękno ich wzniosłych uczuć i poświęcenie dla nich. Podświadomie odczuwamy, że oba opowiadania, mimo ich różnic, łączy mocna nić, że oba tworzone były w tej samej tonacji.

Pewnym wytłumaczeniem niniejszego porównania niech będą też słowa Konrada Górskiego: „Wykrywając sens wszystkich powiązań danego dzieła z jego historycznym i literackim kontekstem, odbieramy jego zawartość w sposób nierównie bogatszy i bardziej pogłębiony” [Górski 1984, 199]. Tę konstatację można odnieść i do takiej sytuacji, kiedy nie posiadamy niezbitych dowodów, dowodów dokumentarnych na bezpośredni wpływ takiego kontekstu na interpretowane dzieło.

Bibliografia

- Borowy Wacław. 1921. *O wpływach i zależnościach w literaturze*. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
- Górski Konrad. 1984. *Rozważania teoretyczne. Literatura-Muzyka-Teatr*. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
- Kuprin Aleksandr. 1932. *Bransoletka z granatów*. Przeł. Zydlerowa J. Warszawa: Wydawnictwo Współczesne.
- Paclawski Jan. 1975. *Proza fabularna Ksawerego Pruszyńskiego*. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
- Pruszyński Ksawery. 1998. *Różaniec z granatów*. W: Pruszyński Ksawery. *Opowiadania*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Ziątek Zygmunt. 1972. *Ksawery Pruszyński*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Волков Александр. 1981. *Творчество А.И. Куприна*. Москва: Художественная литература.

Summary

TEXTUAL ASSOCIATIONS BETWEEN RÓŻANIEC Z GRANATÓW
(THE ROSARY OF GARNETS) BY KSAWERY PRUSZYŃSKI
AND BRANSOLETKA Z GRANATÓW
(THE GARNET BRACELET) BY ALEXANDER KUPRIN

There is no irrefutable evidence that a writer, reporter, war correspondent, and diplomat Ksawery Pruszyński drew his inspiration from Kuprin's story. The fact that the title of one of the best works written by the Russian writer is paraphrased does not prove anything. However, the textual material of the story written by the Polish writer clearly indicates a strong association with The Garnet Bracelet that was written much earlier. Pruszyński was an erudite, a great specialist in European culture, including Russian culture. Thus it cannot be denied that he retained the known themes, motifs and images in his subconsciousness and later used them in his fiction. Both stories discussed and interpreted in the article share a number of common features that are revealed in the creation of the main character, in the role and significance of the eponymous subject indicated by the writers, and even in the composition which in both cases is based on contrast.

Kontakt z Autorką:
aristokles@op.pl

Joanna Mianowska

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ПОЛЬСКИЕ КРОХОТКИ ДИ-ПИЙЦЕВ

Key words: refugees, Polish traces, campers, a colourful figure, forced labor camps, autobiographical prose

Литературу тех лиц, которые оказались после 1945 года лицами без гражданства (Ди-Пи – Displaced Persons), принято называть второй волной русского рассеяния. Когда в конце 80-ых – начале 90-ых годов, благодаря общественно-политическим изменениям, в литературоведческий обиход вошла русская литература эмиграции XX века, мало было известно о литературном наследии тех, которые сознательно встали на борьбу с советским режимом. Джон Глэд в начале 90-х годов писал: «Хотя во „второй волне” были представители интеллигенции, она в целом не обладала „критической массой”, необходимой для сохранения культурной традиции за рубежом» [Глэд 1991, 14].

В России лишь в 1998 году Владимир Агеносов впервые познакомил в своем учебнике с творчеством писателей и поэтов второй волны русского исхода [Агеносов 1998, 383-456]. Стоит отметить, что во многих учебниках конца XX – начала XXI века второй волне эмиграции уделено небольшое внимание, в том числе в книге *Литература русского зарубежья* под общей ред. А. Смирновой [Москва 2006] или в *История литературы русского зарубежья (1920 – начало 1990-х гг.)* под ред. А.П. Авраменко [Москва 2011]. В Польше в учебнике *Литература русского зарубежья в образцах и с комментариями* вторая волна представлена именами Л. Ржевского, В. Синкевич и И. Чиннова [Mianowska 2007, 213-237].

В 2008 году судьба русских писателей второй волны эмиграции стала предметом монографического исследования М. Бабичевой, заведующей сектором рекомендательной библиографии НИО Российской государственной библиотеки [Бабичева 2005]. Книга содержит вступительную и заключительную главы и 14 персональных характеристик прозаиков ди-пийцев, сведения о их личности, судьбе, литературном наследии, в котором особо выделены наиболее показательные произведения. Н. Рублева в рецензии на книгу Бабичевой справедливо отмечает:

«Общее мироощущение новых писателей-изгнанников было иным, чем у тех, кто выехал в эмиграцию после революции: в душах послевоенных преобладало не чувство утраты, а чувство освобождения. Основой их патриотизма была не врожденная нежность к „чете белеющих берез” и не тоска по вырубленным „вишневым садам”, а жгучая ненависть к сталинизму» [Рублева 2005].

Упомянутый нами Владимир Агеносов, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН стал первым в России автором антологии, озаглавленной *Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции* [Агеносов 2014]. Антология построена по алфавитному принципу. В ней 44 авторов-прозаиков, поэтов, драматургов и критиков. Каждая из частей содержит сначала вступительную статью об авторе, список книг о нем и его главных, еще прижизненных публикациях. Затем Агеносов дает отрывки самых примечательных, по его мнению, произведений автора. К этой антологии еще вернемся в своих рассуждениях, так как некоторые произведения ди-пийцев, вошедшие в эту книгу, будут предметом нашего анализа.

В Польше имена представителей литературы второй волны вошли во вводную статью книги под ред. Л. Суханека, а также в *Лексикон русской литературы XX века* В. Казака, переведенный на польский язык Б. Кодзисом, и в упоминаемый нами учебник быдгошского исследователя [Emigracja... 1993, 16; Kasack 1996; Mianowska 2007]. В 2005 году на страницах ольштынского журнала „Acta Polono-Ruthenica” впервые появилась статья о прозе самого известного из писателей ди-пийцев Леонида Ржевского. В ней анализировался роман прозаика *Между двух звезд* в контексте литературных реминисценций [Mianowska 2005, 51-58].

Слупский исследователь Г. Нефагина, автор восьми научных статей о второй волне эмиграции, справедливо предлагает метафору «остров затонувших кораблей» по отношению к этой литературе и культуре [Нефагина 2012, 241]. Она знакомит с творчеством малоизвестных или вообще неизвестных художников слова – А. Неймирока, М. Корякова, И. Елагина и многих других. Несомненно справедливости слова этого исследователя: «(...) Неизвестные имена (...) как бы затонули, выпали из русской культуры, – это те „корабли”, которые еще предстоит поднять на поверхность, вернуть к жизни в читательское и исследовательское пространство» [Нефагина 2012, 242]. Евгений Витковский, написавший статью *Россия без гражданства: литература второй волны*, вошедшую в упоминаемую антологию В. Агеносова, отмечая полноценность и самодостаточность этой книги, одновременно утверждает, что хотя в антологии много новых имен, но «отсутствует их еще больше» [Витковский 2014, 10]. Ренэ Герра в статье, опубликованной в „Новом журнале”, полемизирует с В. Агеносовым относительно включения некоторых имен в ряд представителей второй волны эмиграции и, как он считает, Агеносов совершает те же ошибки и в своей первой книге *Литература русского зарубежья* [Герра 2015]. Не входя в подробности писательской соотнесенности в пространстве литературы эмиграции, стоит отметить, что имена авторов, представляющих литературу Ди-Пи, будут, несомненно, пополняться и осваиваться исследователями с целью полного осознания культуры и ценности этой ветви культуры.

Обратимся к вышедшей недавно, уже упоминаемой нами антологии В. Агеносова *Восставшие из небытия*, в которую вошли фрагменты произведений ди-пийцев мало или до сих пор вообще неизвестных. В некоторых из них целесообразно проследить польские крохотки, ибо о целых мотивах, сюжетах и произведениях говорить не приходится. Если поэты и прозаики первой волны русского исхода XX века – К. Бальмонт, Д. Философов, Д. Мережковский и З. Гиппиус, Р. Гуль, А. Куприн, М. Цветаева, Б. Зайцев и многие другие были связаны с Польшей временным местом пребывания (Варшава) или сюжетами некоторых своих произведений, то лишь некоторые ди-пийцы находились в немецких концлагерях в Польше (многие об этом замалчивали), немногие из них в свои произведения вплетали крохотные польские сюжеты. Малоизвестно о пребывании на территории Польши Глеба Александровича Глинки, поэта известного своими стихами еще до начала второй мировой войны, имя которого включено в антологию Агеносова. Попав в плен в октябре 1941 года, он всю войну пребывал в немецких концлагерях в Польше, затем во Франции и Бельгии, где женился на польке. Однако польское в произведениях, включенных в антологию, появляется лишь в домислах в стихотворении *Испепеленные*:

Нас минами рвали, нас фосфором жгли,
Но мы устояли, костями не легли.
Едва уцелели в боях и в плену. Приплыли без цели в чужую страну.
Рожденье второе и новая жизнь (...) [Агеносов 2014, 225].

Семейными узами с Польшей была также связана Димер (урожд. Бойко) Евгения Александровна, поэтесса, прозаик и эссеист. Рожденная в Киеве, она в сентябре 1943 года была насильно эвакуирована немцами в Польшу, где вышла замуж за инженера-строителя, перебросенного в Италию [Агеносов 2014, 252]. Интересен факт, что Димер выдавала себя сначала за итальянку, затем польку (чтобы избежать репатриации). Уже будучи польской беженкой в 1945 году, она стала студенткой Мюнстерского университета, студенческое общежитие которого находилось в ведении лагеря беженцев Гревен (ее мать – также ди-пийка работала в двух лагерях, Райне и Эссен-Край). В 1947 году, еще до эмиграции в США, она стала автором стихотворения *Варшава (картинка из прошлого)* [Агеносов 2014, 256-257]. Мотто к этому стиху Димер выбрала на слова Игоря Михалевича – Каплана «Шопен, как шепот листьев Польши».

Стоит отметить, что Варшава появлялась и появляется в поэзии россиян издавна. Не входя в подробности этой проблематики, хочется отметить поэзию Яна Бернарда, современного творца, проживающего в Ставрополе, родившегося в Варшаве. Ян Орловский в одной из своих работ, посвященных поэзии Яна Бернарда, пишет о его сокровенных стихах, посвященных Варшаве, которую Бернард называет «Наш Вечный Бастион Любви» [Orłowski 2015]. Многие их стихов Бернарда перекликаются со стихом Е. Димер о Варшаве, в котором поэтесса возвращается к прошлому столицы, когда «Варшава утопала в омуте военном» [Димер 2014, 256]. Улицу Маршалковска Димер называет «польским Бродвеем». Казалось бы, что

в Варшаве «бравурный Вагнер подавил совсем Шопена», однако главным героем стихотворения поэтессы становится скрипка, на которой, ожидающий подавляющего скрипач, играет «искусно», «вдохновенно» полонез Шопена. Отметим, что такой сюжет появляется во многих стихах упоминаемого Яна Бернарда [Бернард 2008]. В магическом звуке скрипки слышен оптимистический тон. Напомним, что в свое время В. Астафьев, автор повести *Последний поклон*, во вступлении к ней, названном «Далекая и близкая сказка», вводит образ Васи-поляка, сына польских ссыльных, играющего на скрипке, являющейся символом добра и жажды справедливости. У Астафьева музыка «(...) хватала за горло (...) звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо не подбрасывало взрывами» [Астафьев 1978, 97]. В стихотворении Димер магический звук скрипки – это предвестник того, что закат казался «розовым рассветом». Как и у Астафьева, у Димер помимо того, что вокруг руины и страдания, скрипка порождает действие, в ней звучит набатно-призывный мотив. Несомненно, прав В. Пилат, утверждая, что игра Васи-поляка выражает совершенство, упорядоченность и гармонию, а также, добавим от себя, внушает силу любви, торжества и добра [Pilat 1981, 202]. Война и прошлое часто становятся главными в стихах Димер. В ее удивительном стихотворении *Вагон на свалке* поэтесса размышляет о вагоне, сравниваемом ею с книгой «с тысячей страниц», который везет евреев в Аушвиц из Львова, Кракова и Риги [Димер 2014, 256]. Как и в других стихах поэтессы, тонко видятся детали – «вагон товарный, без колес», которые переходят в философские размышления «вагон товарный, грязно-красный, где не понять, где кровь, где – грязь» [Димер 2014, 256].

Обратимся к прозе Бориса Андреевича Филиппова, фамилия которого, как у многих ди-пийцев, не настоящая. На самом деле, он – Филистинский, которого поэтесса В. Синкевич называет «самым разносторонним литератором зарубежья» [Синкевич 2002]. Упоминаемый Р. Герра объясняет литературные псевдонимы поэтов и прозаиков второй волны эмиграции словами Б. Филиппова: «Все мы писали под псевдонимами, и эти псевдонимы не были чисто литературной уловкой. Нет, нас принуждала к ним горькая судьба бывших советских граждан, обреченных на выдачу по Ялтинскому сограшению (...) Вот я и стал Филипповым. Фамилия не очень оригинальная» [Цит. за: Герра 2015]. Дважды арестованный, сначала на два месяца (1927) за участие в религиозно-философском кружке С. Аскольдова, затем в 1936 году вплоть до 1941 он был отправлен в Ухто-Печерские лагеря ГУЛАГа [Агеносов 2014, 639]. В его биографии, по словам Л. Щелоковой, много различного рода предположений и версий, так как после входа немцев в Великий Новгород, он работал во власовской газете «За Родину» [Щелокова 2012, 258]. Не входя в подробности сотрудничества Филиппова с немцами (в Википедии он прямо назван коллаборационистом), стоит сказать, что в конце второй мировой войны Филиппов оказался в беженских лагерях в Германии, а в 1950 году эмигрировал в США. Ренэ Герра, упоминаемый нами французский славист и профессор, называет Филиппова в числе тех пострадавших, обиженных советской властью, которые прошли

через сталинский ГУЛАГ [Герра 2015]. Несомненно, творчество Филиппова, его поэзию и прозу можно без преувеличения назвать многогранной. Кроме того Филиппов вместе со Г. Струве подготовил многотомные собрания сочинений русских классиков XX века, и они составили «эпоху в славяноведении XX века» [Струве 1996; 12, 371]. Недаром Струве дал следующую характеристику Филиппову: «ученейший академический литературовед» [Агеносов 2014, 644].

Сосредоточимся на рассказе Филиппова *Курочка*, написанном по личным впечатлениям автора, в его 5-летней ссылке в исправительно-трудовых лагерях в Коми [Филиппов 2014, 658-670]. Критика считает цикл рассказов Филиппова о ГУЛАГе «значительной удачей» [Агеносов 2014, 642]. Герои его лагерных рассказов – это люди разных сословий и национальностей. Среди них, кроме автора, еще не приобвыкшего лагерника, начитанный инженер Павел Васильевич, работник центральной аптеки лагеря, бывший архиепископ Виталий, старовер-начетчик Архип Сергеич, часовщик Самуил Исакович Перовский и технолог проектного бюро поляк Ричард Тадеушевич Цивильский.

Филиппов создает внешние портреты своих героев, манеры их поведения и речи, говора. Писатель назвал Ричарда Тадеушевича Цивильского «колоритной фигурой». Его внешняя характеристика такова: «Щуплый, поджарый, тонконогий полячок, с седенькой клеванной эспаньолкой, в пенсне на остреньком носике, с необычайно мелкими чертами сморщенного личика и порывистыми движениями девушки, спешащей на первое любовное свидание» [Филиппов 2014, 665]. Далее можно узнать основную увлеченность Цивильского, он был «вечно влюблен» и за эту склонность получил прозвище «Ричард-Львиные». Его последнее увлечение – Вера Хлыновская – «Двадцатая Буровая» и поэтому лагерники из архитектурного бюро представляли Цивильского с маленьким цивиленком на руках, похожим на отца – также в очках, с седенькой эспаньолкой. Уже сказанное насыщено остротой высказывания, даже мягкой иронией, которая снимает также трагическое (это ведь лагерная жизнь). Филиппов знакомит также с прошлым поляка, получившего 10 лет заключения за упорство в стремлении напечатать многотомный труд «САИЗМ» (социально-архитектурное мировоззрение) или философия эсперанто. Добавим, что прозаик выделяет еще одну страсть Цивильского (кроме равнодушия к женщинам) – эсперанто. Недаром лагерники сочинили «безграмотные вирши» [выражение Филиппова], посвященные поляку:

Плод любви Цивильского
Двадцатой Буровой:
Ричард не нахвалится:
– Эсперантик мой [Цит. по: Филиппов 2014, 666].

О прошлом Цивильского сказано также, что второй том «этого бреда» не пропустила «марксистская» цензура, Цивильский издал его в Польше 30-х годов. Но когда он хотел нелегально издать в Польше третий том, был арестован. Условия лагеря, внося трагический оттенок, ведь они разрушают нормы жизни. Однако повседневность в рассказе *Курочка* показана не только детально, но и юмористично.

Образы героев раскрыты Филипповым также в речи и в диалогах. Из них можно узнать о пристрастиях героев, инженер-механик Павел Васильевич – поклонник творчества Сологуба, он обожал музыку, насвистывал, напевал симфонии, оратории и оперы, что связывало его с рассказчиком (Андрей – alter ego писателя), пишущим «скверные философические стихи». Во время их чтения Ричард Тадеушевич (рассказчик считает его выскочкой) заявлял следующее: «(...) что вы там не говорите, а русский язык, да и все примитивные, не усовершенствованные языки – страшно грубы!» [Филиппов 2014, 667]. Далее поляк критикует не только стихи рассказчика (Андрея Алексеевича), но и известные пушкинские стихи:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том (...)

противопоставляя им совершенство звучания сказанного на языке эсперанто. Ричард Тадеушевич говорит: «И дальше: не безобразнейший „кот ученый“, а благозвучный „cato instruito“» [Филиппов 2014, 667]. Слова поляка вызывают смех и ироническое предложение: «Назовем нашего ученого кота Памву Берынду – „като инструито“» [Филиппов 2014, 667]. Далее сюжет с котом продолжается и из него можно узнать, что Цивильский кошек не любит, относится к ним брезгливо и возмущается, что больного кота, который перед обысками комендатуры залезал под печь, а вылезая, поцарапал грудку, его друзья-лагерники ложат с собой на койку. Кот, как будто все понимая, ласково прижимался ко всем кроме Цивильского. Больше о поляке ничего не сказано. Его персонаж стоит считать эпизодическим.

Героем рассказа *Курочка* является, принадлежащая лагернику-владыке, всеобщая любимица курочка Мавра, которую все кормили как и кота Памву Берынду. Напомним, что Мавра – это святая мученица, а Памва Берында – ученый лексикограф, инок и архитипограф Киево-Печерской Лавры [Святая... 2005]¹. Стоит отметить, что основным литературным трудом Памвы Берынды был *Лексикон славяно-российский и имен толкование*, напечатанный в Киево-Печерской типографии в 1627 году². Главный интерес автора рассказа направлен на многообразные отношения людей, а курочка и кот помогают глубже раскрыть характер персонажей. Их имена – Мавра и Памва Берында – помогают раскрыть также духовные ценности, в которых отражается самобытность народа и оригинальность его мировоззрения. Курочка Мавра – Тварь Божия, которую лагерники охраняли и оберегали от изголодавшихся. С котом Памвой Берындой курочка подружилась и они спали в обнимку в ногах у владыки. Христианские имена животных и отношение к ним их хозяев – православного владыки Виталия, старовера Архипа Сергеича, еврея Самуила Исаковича Перовского и католика Цивильского объединили героев, которым предстояло выдержать новые испытания лагерной жизни. Кот выл как собака или волк после того, как забрали на пересмотр, обозначающий удлинение сроков, расстрелы и пытки, владыку, а Мавра после этого – просто сдохла от тоски. Однако

¹ О Памве Берынде на сайте: http://dic.academic.ru/dic/nsf/enc_biography/98366 [Доступ 15 IV 2015].

² На сайте: <http://www.biografija.ru/biography/pamva-berynda.html> [Доступ 15 IV 2015].

из рассказа можно узнать, что китайцы, работающие в прачечной лагеря, кота Памву украли и из его шкурки сделали меховую шапку-ушанку, которую по дешевке купил Самуил Исакович, утверждая: «И в Талмуде сказано: нечистая зивотная только свиня (...)» [Филиппов 2014, 670]. Тем самым помимо сложностей лагерной действительности и жизни все же в финале утверждается мысль о ее продолжении, несмотря на драматические, необычные события.

Интересен образ поляка, который, на наш взгляд, вписывается в галерею образов Филиппова, его праведников (владыка в *Курочке*) или чудаков (поляк Цивильский в *Курочке*). Богатый жизненный опыт, автобиографичность филипповской прозы позволили В. Синкевич сделать следующий вывод об авторе *Курочки*: «Оригинальность Филиппова-литературоведа (...) заключается в сочетании мысли и эмоции, сложности и простоты, эрудиции и отрицания научного снобизма в любом виде и в сочетании хорошего вкуса с глубоким знанием не только литературы, но и музыки, живописи и зодчества» [Синкевич 2012].

Можно спорить с мнением Филиппова о национальных чертах его героев – почему именно поляку (у писателя – «полячок») приписаны чудачества, неряшливость, чрезмерное увлечение прекрасным полом, брезгливое отношение к животным. Однако Филиппов-рассказчик в *Курочке*, как и в своих других лагерных произведениях, представляется автором оптимистически относящимся к людям и окружающей лагерной действительности. На вопрос Джона Глэда почему он оптимист, писатель ответил: «(...) в лагере я встретил невероятное количество изумительных людей (...) талантливых и чрезвычайно интересных не только в смысле искусства, а талантливых нравственно» [Глэд 1991, 70]. Не подлежит сомнению, что отраженный Филипповым образ поляка Цивильского довольно противоречивый, стереоскопический, совмещающий два угла зрения. С одной стороны, он был эмоционально неуравновешенный (любил приносить какие-то невероятные слухи), был легковерен, легко возбуждался, преувеличивал увиденное, с другой – колоритный, смешной, увлеченный какой-нибудь нелепой затеей, восторженный и по-своему умный. На наш взгляд, многие черты поляка воспринимаются сквозь призму восприятия героев других национальностей и вероисповедания – православного владыки, старовера, еврея и китайцев. Поляк Филиппова не вписывается в стереотипное представление «поляка-бунтаря» из предыдущих эпох, нет также в нем ни рыцарства, ни шляхетского гонора, но автором выражена в лице Цивильского яркая, самобытная фигура со своеобразными привычками и манерой речи. Используются также юмористические штрихи, хотя судьба поляка, как и других лагерников, predetermined – о его дальнейшей судьбе после пересмотра комиссии госбезопасности в рассказе не сказано, лишь можно догадываться о пытках и расстрелах. Несомненно права В. Синкевич, констатирующая о творчестве Филиппова следующее: «Из этого страшного, но богатейшего жизненного опыта рождались типы филипповских праведников и негодяев, палачей и жертв, неудачников, чудаков, эрудитов, меломанов (...)» [Синкевич 2002].

В текстах ди-пийцев, представленных в антологии В. Агеносова, можно говорить лишь о польских крохотках и это вполне понятно. Лишь некоторые ди-пийцы были эвакуированы в немецкие концлагеря в Польше (Глинка, Димер). Например, Борис Николаевич Ширяев в книге *Я человек русский* вспоминает свое пребывание в Италии и вводит краткий сюжет в Болонье с поляками, которые приютили в военное время рассказчика. Поляк, по словам автора, «попался сознательный, сочувственный, оценил ситуацию» [Ширяев 2014, 684]. Польский пан полковник записал рассказчика поляком по фамилии Пшек и жилось ему в Италии в Болонье прекрасно пока поляки не уехали в Англию. Этот отрывок текста Ширяева в нескольких предложениях с образом безымянного поляка свидетельство человеческой солидарности, желания помочь при любых обстоятельствах.

О польских крохотках можно говорить и в прозе Свена Виктора Борисовича (Кублицкий), прозаика и очеркиста [Агеносов 2014, 550-553]. В его рассказе *Ласточки* повествуется о воспоминаниях автора о намерении участвовать в Добровольческой армии в 1919-1920 годы. Однако, хотя и появляются в нем польские имена героинь – старушка Магда, пани Юстя и имение называется «фольварком», сюжет связан прежде всего с ласточками, а главная мысль рассказчика – человеческие войны губят ласточек [Свен 2014, 553-558].

О судьбе многих ди-пийцев известно мало или вообще неизвестно. Упоминаемый нами Агеносов справедливо призывает создать хотя бы однотомную энциклопедию литературы Ди-Пи и второй волны эмиграции. На наш взгляд, по мере появления новых имен ди-пийцев и их произведений, возможно, польские крохотки превратятся в постоянные мотивы и сюжеты.

Библиография

- Агеносов Владимир. 1998. *Литература русского зарубежья (1918-1996)*. Москва: Терра.
- Агеносов Владимир. 2014. *Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции*. Санкт-Петербург: издательство «Алетейя».
- Астафьев Виктор. 1978. *Далекая и близкая сказка /вместо вступления/*. В: Астафьев Виктор. *Повести*. Москва: Современник: 97.
- Бабичева Майя. 2005. *Писатели второй волны русской эмиграции*. Москва: Пашков дом.
- Бернард Ян. 2008. *Сердце Фридрика Шопена. 150 сонетов для юношества России и Польши*. Ставрополь: Сервисшкола.
- Витковский Евгений. 2014. *Россия без гражданства: литература второй волны*, В: Агеносов Владимир. *Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции*. Санкт-Петербург: издательство «Алетейя»: 10.
- Герра Ренэ. 2015. *Мои встречи с выдающимися представителями второй волны русской эмиграции*. „Новый журнал” № 278. В: <http://magazines.russ.ru/nj/2015/278/14g.html> [Доступ 13 IV 2015].
- Глэд Джон. 1991. *Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье*. Москва: Просвещение.
- Димер Евгения. 2014. *Вагон на свалке*. В: Агеносов Владимир. *Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции*. Санкт-Петербург: издательство «Алетейя»: 256.

- Димер Евгения. 2014. *Варшава*. В: Агеносов Владимир. *Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции*. Санкт-Петербург: издательство «Алетейя»: 256.
- Нефагина Галина. 2012. *Остров затонувших кораблей: о проблемах исследования литературы второй волны эмиграции*. В: *Powróć do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji*. Red. Nefagina G. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej: 241-249.
- Рублева Наталья. 2006. *Трагедия «ДИ-ПИ» и их литературный адвокат* (Рецензия Бабичева Майя. 2005. *Писатели второй волны русской эмиграции*. Москва: Пашков дом. В: http://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/2006_8.pdf [Доступ 23 III 2015].
- Свен Виктор. 2014. *Ласточки*. В: Агеносов Владимир. *Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции*. Санкт-Петербург: издательство «Алетейя»: 553-558.
- Святая Русь. *Энциклопедический словарь русской цивилизации*. 2000. Ред. Платонов О.А. Москва: Алгоритм.
- Синкевич Валентина. 2002. *Самый разносторонний литератор зарубежья*. „Новый журнал” № 226. В: <http://magazines.russ.ru/nj/2002/226/sin.html> [Доступ 29 III 2015].
- Синкевич Валентина. 2012. *Вторая волна эмиграции*. „Новый журнал” № 267. В: <http://magazines/russ/Ru/nj/2012/267/s42.html> [Доступ 23 III 2015].
- Струве Глеб. 1996. *Русская литература в изгнании*. 3-е изд., испр. и доп. Краткий биографический словарь Русского Зарубежья. Ред. Вильданова Р.И., Кудрявцев В.Б., Лаппо-Данилевский К.Ю. Москва: Русский путь.
- Филиппов Борис. 2014. *Курочка*. В: Агеносов Владимир. *Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции*. Санкт-Петербург: издательство «Алетейя»: 658-670.
- Ширяев Борис. 1998. *Я человек русский*. В: Агеносов Владимир. 1998. *Литература русского зарубежья (1918-1996)*. Москва: Терра: 684.
- Щелокова Л. 2012. *Смятение русского эмигранта: к проблеме восприятия прозы Бориса Филиппова*. В: *Powróć do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji*. Red. Nefagina G. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej: 258-265.
- Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej*. 1993. Red. Suchanek L. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Kasack Wolfgang. 1996. *Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996*, przekład, opracowanie, bibliografia polska i indeks osób Kodzis B. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Mianowska Joanna. 2005. *Литературные реминисценции в романе Леонида Ржевского «Между двух звезд»*. „Acta Polono-Ruthenica” nr X: 51-58.
- Mianowska Joanna. 2007. *Литература русского зарубежья в образах и с комментариями*. Второе издание, исправленное и дополненное. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
- Orłowski Jan. *Jan Bernard, czyli fenomen polonofilstwa w poezji rosyjskiej*. W: <http://www.pisarze.pl/eseje/2665-jan-orlovski-jan-bernard-czyli-fenomen-polonofilstwa-w-poezji-rosyjskiej.html> [Dostęp 13 IV 2015].
- Piłat Walenty. 1981. *Polskie motywy w twórczości W. Astafiewa i S. Krutilina*. „Język Rosyjski” nr 4: 202.

Summary

POLISH TRACES IN THE LITERATURE OF “DISPLACED PERSONS” (THE SECOND WAVE OF RUSSIAN EMIGRATION IN THE 20TH CENTURY)

This article analyzes selected fragments of literary works created by Russian writers who, having lost their citizenship after 1945, became displaced and whose literature is commonly known as the second wave of Russian emigration. It is highlighted that the legacy of those who deliberately chose to fight the Soviet regime is hardly known, not only in Poland. In 2014 a collection of works created by displaced persons – writers, poets, playwrights and literary critics of the second wave of emigration entitled *Raised from Nihilism* was published by a well-known Russian literary scholar V. Agenosov.

The article examines Polish traces in the poetry of *Evgenia Aleksandrovna Dimer*, the author of the poem *Warsaw (a picture from the past)* in which a central role is played by a violin that is artfully used by a violinist to play Chopin's Polonaise. Polish traces can be also found in the prose of B.A. Filippov, for example in his labor camp short story *The Hen*, whose fragments are included in V. Agenosov's anthology. One of the characters is a process engineer in a design agency, a Pole Ryszard Cywinski, a colorful and rather controversial figure. Many character traits of this Pole are worth considering through the prism of other nationalities as reflected in *The Hen*. Polish traces are present also in the prose of B. Shiryayev (*I – the Russian Man*) and V. Sven (Kublitsky) (*Swallows*). As new names of displaced writers continue to emerge, it is possible that Polish traces may become permanent motifs and themes.

Kontakt z Autorką:
miano@wp.pl

Patryk Witczak

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. FILOZOFICZNE INSPIRACJE MICHAIŁA ARCYBASZEWA W KONTEKŚCIE WĄTKÓW TANATOLOGICZNYCH

Key words: M. Artsybashev, Russian emigration, death motif, F. Nietzsche, L. Tolstoy

Wedle szacunków niektórych badaczy do wybuchu rewolucji październikowej w Rosji ukazało się blisko 146 książek i artykułów prasowych poświęconych Michaiłowi Arcybaszewowi [Михайловский 2011, 236], emigrantowi pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego. Biorąc pod uwagę fakt, że dziś pisarz ten znany jest zaledwie wąskiemu gronu specjalistów, liczby te mogą wydawać się zaskakujące. Jednak na początku XX w. Arcybaszew, przede wszystkim za sprawą głośnej powieści *Sanin*, był na ustach wszystkich zarówno krytyków literackich, jak i innych przedstawicieli literatury Srebrnego Wieku. Lata niebytności Arcybaszewa w kręgu zainteresowań literaturoznawców sprawiły, że pisarzowi przyklejona została łatka skandalisty i pornografa. Uwzględniając obyczajowość rosyjską początku XX w., można zrozumieć żywe i często negatywne reakcje na twórczość Arcybaszewa. Dla przykładu Siergiej Siergiejew-Censki pisał o „покалеченном воображении Арцыбашева” [Сергеев-Ценский 1956, 59] i nie był on w swoich poglądach odosobniony. Krytycy, zwracając uwagę głównie na poruszaną przez Arcybaszewa problematykę płci, nie dostrzegli głębi i istoty jego prozy. W niniejszym artykule podejmujemy się próby zreinterpretowania twórczości Arcybaszewa w kontekście jego filozoficznych wahań między tradycją wschodnią i zachodnią.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż matka Arcybaszewa była Polką, co niewątpliwie miało wpływ na decyzję pisarza o osiedleniu się w Warszawie po przewrocie bolszewickim. Chociaż na emigracji Arcybaszew zdążył napisać i opublikować niewiele, przede wszystkim teksty publicystyczne, jego twórczość była znana polskiemu czytelnikowi. Recepcja prozy Arcybaszewa w Polsce nie odbiegała jednak zbytnio od ocen rosyjskiej krytyki. Zarzucano Arcybaszewowi sadyzm, brutalność, nieuzasadniony erotyzm,

nihilistyczno-libertyńskie poglądy i nieadekwatną do realiów ocenę wydarzeń rewolucyjnych 1905 r. [Sielicki 1996, 98]. Takie stereotypy będą pokutować również przez następne dziesięciolecia, co znalazło odzwierciedlenie w polskich podręcznikach akademickich z historii literatury rosyjskiej [Jakubiec 1976, 488-489; Mucha 2002, 415].

Brak jedności w moralnej ocenie spuścizny twórczej Arcybaszewa powoduje, że problemów dostarcza również zaklasyfikowanie jego prozy do określonego nurtu literackiego. W literaturze krytycznej pisarstwo Arcybaszewa definiuje się jako naturalistyczne, neorealistyczne, impresjonistyczne czy nawet ekspresjonistyczne [Paszkiewicz 1995, 18-19]. Włodzimierz Wilczyński natomiast wyszedł z propozycją określenia Arcybaszewa mianem przedstawiciela „realizmu antropologicznego”, bowiem w centrum zainteresowania pisarza znalazła się jednostka ludzka. Zielonogórski uczony jako jeden z pierwszych na niwie polskiej rusycystyki podjął się próby zrehabilitowania imienia Arcybaszewa poprzez wskazanie na liczne inspiracje filozoficzne, jakie wyraziły się w twórczości autora *Sanina*. Stworzoną przez Arcybaszewa koncepcję jednostki Wilczyński nazywa „eklektyczną” i odnajduje w niej echa egzystencjalizmu Sorena Kierkegaarda, antropologizmu Ludwika Fierbacha, „filozofii życia” Jeana Marie Guyau, nietzscheanizmu oraz myśli Wasilija Rozanowa [Wilczyński 1993, 15-16]. Do tej długiej listy ideowych „mentorów” Arcybaszewa moglibyśmy dodać jeszcze z pewnością Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja, Iwana Turgieniewa, Artura Schopenhauera i Henrika Ibsena. Z powodu ograniczeń objętościowych artykułu, omówimy, naszym zdaniem, najbardziej reprezentatywne dla prozy Arcybaszewa idee filozoficzne i postaramy się wykazać, iż pisarz czerpał zarówno z zachodniej myśli, jak i z teorii powstałych na rosyjskim gruncie. Mamy nadzieję, że sygnalizowane w toku analizy kolejnych utworów problemy staną się pretekstem do ponownego odczytania dorobku literackiego tego przedstawiciela pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego.

Wczesna twórczość Arcybaszewa jest wyraźnie nasiąknięta ideami Lwa Tołstoja. Sam Arcybaszew jednak, dokonując pewnego podsumowania swojej drogi twórczej w publicystycznym cyklu *Zapiski pisarza* (*Записки писателя*), wypowiedział się na temat Tołstoja w dość kontrowersyjny sposób i jasno dał do zrozumienia, iż daleko mu było do poglądów dziewiętnastowiecznego klasyka. Usprawiedliwiając swoją nieobecność w Jasnej Polanie, jeszcze przed śmiercią Tołstoja, Arcybaszew pyta retorycznie: „О чем стал бы говорить с ним я? Какое удовольствие могло доставить старику посещение писателя, по духу искренно чуждого его вере?.. Удовольствие спора?” [Арцыбашев 1994a, 686]. Dalej autor *Sanina* wypowiada na temat Tołstoja jeszcze bardziej zaskakujące stwierdzenia. Po pierwsze, wprost przyznaje, że śmierć wielkiego mistrza w zasadzie nim nie wstrząsnęła, a dożycie osiemdziesięciu trzech lat to i tak dobry wynik [Ibidem, 687]. Po drugie, Arcybaszew poddaje w wątpliwość ponadprzeciętny talent Tołstoja, konkludując, że można byłoby wymienić wielu zdolniejszych pisarzy. Na temat Tołstoja, jako wielkiego myśliciela, Arcybaszew wypowiedział się równie lekceważąco: „Мыслитель?.. Как мыслителю, если под этим словом подразумевать человека, нашедшего мысль, принесшему новое откровение, Толстому цена – грош” [Ibidem, 690]. Również Tołstoj w roli moralisty nie przypadł do gustu Arcybaszewowi. W *Zapischach pisarza* czytamy: „Как моралист он был узкий догматик, упершийся

в одну точку, лишивший свой разум свободы дальнейших исканий, остановившийся в блаженном успокоении, что истина найдена!...” [Ibidem]. Przytoczone wyżej cytaty nie negują jednak postawionej wcześniej tezy o inspirowaniu się Arcybaszewa pisarstwem Tolstoja, lecz ukazują na ewolucję poglądów pisarza.

Idee tołstoizmu, w tym przede wszystkim apoteoza przyrody, ascetyczne życie w zgodzie z samym sobą i niesprzeciwianie się złu siłą, szczególnie głośno zabrzmiały we wczesnych krótkich formach prozatorskich Arcybaszewa, takich jak *Pasza Tumanow* (*Паша Туманов*), *Z piwnicy* (*Из подвала*), *Przerażenie* (*Ужас*) i *Śmierć Lande* (*Смерть Ланде*). We wszystkich tych utworach mamy do czynienia z propagowaniem życia zgodnego z naturą z dala od złowrogiej człowiekowi cywilizacji. Protagonisci nowel i opowiadań Arcybaszewa, podobnie jak bohaterowie Tolstojowskich *Trzech śmierci* (*Три смерти*) czy *Śmierci Iwana Ilicza* (*Смерть Ивана Ильича*), podejmują się próby odnalezienia sensu istnienia, który ostatecznie odnajdują na łonie natury. Niestety demaskacja cywilizacji dla części z nich kończy się tragicznie. Mamy tu na myśli przede wszystkim Paszę Tumanowa (*Pasza Tumanow*) oraz Antonowa (*Z piwnicy*). Obaj, aby dostrzec iluzoryczność otaczających ich środowisk, muszą najpierw zamordować, determinując tym samym swoją dalszą egzystencję. Można w tym miejscu dostrzec kolejne podobieństwo z twórczością Tolstoja. Przypomnijmy, że Iwan Ilicz życiową prawdę odkrywa również dopiero w obliczu śmierci, jawiącej się, zarówno u Tolstoja, jak i u Arcybaszewa, jako demaskatorka rzeczywistości. Bliżej przyjrzyjmy się przypadkowi bohatera utworu *Z piwnicy*. Szewc Antonow niemal całe swoje życie spędził w ciemnej i dusznej pakamerze, znosząc upokorzenia, jakie spotykały go ze strony niezadowolonych klientów. Narastająca przez lata złość w końcu znalazła ujście i została wyładowana na przypadkowo napotkanym przez Antonowa człowieku. Popelnione przez sfrustrowanego szewca morderstwo w afekcie tak naprawdę nie było wymierzone w konkretną osobę. Napotkany kupiec bowiem nie obraził Antonowa bardziej, niż robili to jego klienci na co dzień. Tego wieczoru została po prostu przelana czara goryczy i Antonow postanowił zaprotestować przeciw niezdrowemu systemowi społecznemu, w którym jedni roszczą sobie prawo do znęcania się nad innymi. Znamienne, że po dokonaniu morderstwa w myślach Antonowa początkowe przerażenie stopniowo ustępuje radości: „(...)радость становилась все сильнее и сильнее, и чувство свободы заглушало страх и смутное недоумение перед будущим” [Арцыбашев 1994b, 353].

Silnie zarysowana w opowiadaniu *Z piwnicy* opozycja przyroda – cywilizacja wyrażona została poprzez przeciwstawienie sobie dwóch przestrzeni: zamkniętej i otwartej. Aby uwidocznic ową antynomię, porównajmy ze sobą dwa fragmenty analizowanego opowiadania. W ekspozycji utworu czytelnik poznaje miejsce pracy Antonowa, w którym spędzał on zdecydowaną większość swojego życia: „В подвале было совсем темно, и воздух, густой и тяжелый, висел синим пологом. Под потолком и по углам стоял сырой, пропитанный запахом кожи, ворвани и ваксы пар. Фигура Антона только черным востроугольным силуэтом вырисовывалась на светлом четырехугольнике окна” [Ibidem, 342]. Pod koniec utworu, już po popelnionym morderstwie, Antonow ucieka za miasto, wkraczając na otwartą przestrzeń, która dodawała mu sił: „В поле было холодно и пусто, но дышать было легко и приятно” [Ibidem, 352]. Widok

opuszczonego starego cmentarza nie wywołał u bohatera Arcybaszewskiego opowiadania poczucia smutku, lecz wręcz przeciwnie – upragnionej wolności: „Он (Antonow – P.W.) все старался представить себе что-то страшное, но ему было просто свободно, тихо, хорошо. Полиции он не боялся нисколько, потому что тюремная жизнь, которую он уже знал, была лучше той, более голодной, холодной, скучной и бесправной, чем тюрьма, которою он жил на свободе” [Ibidem, 352].

Jak wynika z przywołanych wyżej cytatów, przestrzeń zamknięta, utożsamiana ze światem cywilizowanym, niesie w sobie negatywne konotacje, wyzwala w człowieku to, co w nim najgorsze. Natomiast przejście do przestrzeni otwartej, czyli wkroczenie na łono natury, pozwala człowiekowi wyciszyć się, odnaleźć wewnętrzny spokój. Analogiczne ewokacje przywołują utwory nie tylko Tolstoja, lecz także Dostojewskiego, w których pejzaż urbanistyczny, pełen dymu, brudu, ciemności, jednocześnie odzwierciedla zdeintegrowany stan duchowy bohaterów, jak i determinuje ich dalsze, najczęściej tragiczne, losy [Michalska-Suchanek 2013, 23-25]. O tym, że elementy zewnętrzne przestrzeni artystycznej utworu często są symbolami „duchowego świata człowieka” i odbiciem jego wewnętrznego losu pisał Mikołaj Bierdiajew [Bierdiajew 2004, 23]. Swoje spostrzeżenia rosyjski myśliciel formułował co prawda na podstawie interpretacji dzieł Dostojewskiego, jednak bez cienia wątpliwości możemy je odnieść również do pisarstwa Arcybaszewa.

Swego rodzaju pożegnaniem Arcybaszewa z ideami Tolstoja jest nowela *Śmierć Lande*. Piotr Pilski, oceniając ten utwór, konstataował: „*Смерть Ланде* была последней попыткой Арцыбашева обрести примирение с жизнью чрез идеалистическую мораль, чрез веру в таинственную конечную истину, в великую силу *человеческой правды*, в великое дело, когда человек работает над самим собой, в человека, способного все победить идеей, в *душу мира*, ибо *отчаяние-грех*” [Пильский 1994, 771].

Tytułowy bohater noweli – Iwan Lande – jest wyrazicielem tolstojowskiej idei o niesprzeciwianiu się złu siłą. Nazywany przez innych bohaterów utworu „jurodiwym” realizuje on życiową drogę, jaką wcześniej obrał sam Chrystus. Silne zakorzenienie w dyskursie chrześcijańskim i chęć pomocy śmiertelnie choremu przyjacielowi prowadzą jednak Lande do śmierci. Co prawda jest to śmierć dostojna, pozbawiona strachu i cierpienia, jednak już samo jej zaistnienie pozwala powątpiewać w zasadność życia ascetycznego, moralnego, zgodnego z nauką Boga. Na niejednoznaczność zakończenia noweli wskazuje również Siergiej Tuzkow, który stwierdza: „(...) трагическая смерть Ланде в финале повести парадоксальным образом воспринимается как победа жизни, но жизни в «санинском» смысле” [Тузков 2011, 202]. Na marginesie należy zaznaczyć, że Sanin, stworzony przez Arcybaszewa niespełna dwa lata później, stanowi całkowite przeciwieństwo Iwana Lande. Tak więc, jak wynika z przytoczonych wcześniej trafnych spostrzeżeń Pilskiego, *Śmierć Lande* stanowi ostatnią próbę spojrzenia na życie przez Arcybaszewa z perspektywy Tolstoja, jednak w finale tego utworu zasygnalizowana już została pewna zmiana w światopoglądzie pisarza. Zmiana, która swoje odzwierciedlenie znalazła na stronicach słynnego *Sanina* (*Санин*)¹.

¹ *Sanin* Arcybaszewa ukazał się w całości w 1907 r., jednak wedle ustaleń krytyki pracę nad nim pisarz rozpoczął już w 1902 r. Ukazuje nam to, jak mało spójny ideologicznie był wówczas Arcybaszew, poszukujący

W *Saninie* Arcybaszew całkowicie odrzucił ideał życia propagowany przez Tolstoja i wykreował hedonistę, egocentryka i nadczłowieka. W tym celu zwrócił się ku zachodniej myśli filozoficznej, a przede wszystkim ku poglądom Fryderyka Nietzschego, co w zasadzie nie powinno dziwić, bowiem, jak przekonywał Mikołaj Bierdiajew: „был очень пережит Ницше, хотя не всеми одинаково” [Бердяев 1998, 122]. Literatura rosyjska przełomu XIX i XX w. kształtowała się pod wpływem różnych, często sprzecznych ze sobą, idei. Bogata tradycja dziewiętnastowiecznego realizmu mieszała się z nowymi poglądami estetyczno-filozoficznymi. W Europie na początku XX w. dominować zaczęły nastroje fatalizmu i katastrofizmu propagowane przez Jakuba Burckhardta, Oswalda Spenglera czy wreszcie Artura Schopenhauera [Bednarek, Jastrzębski 1996, 162-163]. Stopniowo idee stworzone m.in. przez Tolstoja ustępują filozoficznym poglądom Zachodu. Pisarze rosyjscy przestają dostrzegać jakiegokolwiek sensu egzystencji – jednym z najbardziej znaczących reprezentantów nowych nurtów myślowych był Arcybaszew. Idee głoszone przez Nietzschego i Schopenhauera wyraźnie zaczęły dominować w prozie autora *Sanina*.

Zaznaczmy, iż sam Arcybaszew miał przekonywać, że Nietzschego nie czytał i inspirował się traktatami Maxa Stirnera. Nawet w samym tekście swojej słynnej powieści pisarz wprost daje do zrozumienia, że Nietzsche jest mu obcy. W jednej ze scen tytułowy Sanin sięga po *Tako rzecze Zaratustra*, ale po chwili znudzony odkłada dzieło niemieckiego filozofa i zasypia [Арыыбашев 2009, 29]. Dogłębna analiza powieści pozwala jednak wysnuć wniosek, iż dawane przez Arcybaszewa sygnały są grą, jaką pisarz prowadzi z czytelnikiem, a Sanina bez cienia wątpliwości za wieloma badaczami określić możemy rosyjskim odpowiednikiem Nietzscheańskiego Zaratustry [Геprало 2000, 35]. Nietzsche wyróżnił dwie antynomiczne ludzkie postawy wobec życia. Symbolem jednej z nich stał się Apollo, drugiej – Dionizos². Postawę apollińską charakteryzuje harmonia i równowaga, dionizyjską natomiast – witalność, pęd życiowy, aktywizm szału i upojenia. Carl Gustav Jung stwierdzał, że apollińskość jest ograniczeniem i opanowaniem wszelkiej dzikości i nieokiełznania, które wciela dionizyjskość [Jung 1989, 90]. Sanin jest wyznawcą dionizyjskiej postawy wobec życia. Przedstawiony został jako niezwykle silna osobowość. Przechodzi on przez życie, nie bacząc na powszechnie przyjmowane konwenanse oraz pozostałości dziewiętnastowiecznej tradycji rosyjskiej, które uważa za przestarzałe i nie mające już racji bytu. Przykładem może tu być odmowa pojedynkowania się z oficerem Zarudinem. Ku zdumieniu całego otoczenia, również siostry, o której honor miał walczyć, Sanin odmawia stanięcia z bronią naprzeciw Zarudina, stwierdzając, że nie chce go zabić, a jeszcze bardziej sam nie chce zginąć [Арыыбашев 2009, 193]. Sanin preferuje życie zgodne z naturą, które rozumie poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka i dążenie do osiągnięcia stanu spełnienia i rozkoszy: „(...) потребность и понимание наслаждений и есть одна из немногих черт,

własnej drogi wyrazu artystycznego [Zob. Могильнер 1999, 122].

² Punktem wyjścia dla stworzenia dwóch postaw wobec życia była koncepcja przeciwstawnych sił konstytuujących twórczość artystyczną. I tak apollińskość jest postawą odpowiadającą za powstawanie sztuk obrazowych, dionizyjskość natomiast odpowiada za sztukę nieprzedstawiającą, a więc muzykę [Zob. Wiśniewska 2009, 108].

которыми естественный человек отличается от животного. Животные, чем больше они – животные, не понимают наслаждений и не способны их добиваться. Они только отправляют потребности. Мы все согласны с тем, что человек не создан для страданий и не страдания же идеал человеческих стремлений” [Ibidem, 28].

Jak więc widzimy, preferowane przez Sanina życie dalekie jest od ideału tołstoizmu i wartości propagowanych przez Iwana Lande. Nie chodzi już o kontemplację na łonie natury i odseparowanie się od zgiełku świata ludzi, lecz o całkowite poddanie się biologicznym, dosadniej rzecz ujmując, zwierzęcym instynktom. Dla poparcia swojej tezy Arcybaszew wprowadza do powieści szereg postaci stojących w opozycji do Sanina. Większość z nich kończy życie samobójstwem, próbując stłamsić w sobie naturalne instynkty. Autor jasno daje do zrozumienia, że wszelkiego rodzaju normy społeczne i sztucznie wykreowana moralność tłamszą jednostkę, powoli ją zabijając. Maksymą Sanina jest życie tu i teraz, dostarczanie sobie jak największej liczby pozytywnych bodźców, w związku z tym, iż nie wiadomo, czy po śmierci czeka na nas coś poza rozkładem ciała. Należy jednak podkreślić, że zaspokajanie swoich instynktów ma u Arcybaszewa swoje granice. Pisarz jednoznacznie piętnuje przemoc i gwałt. Kobieta jego zdaniem ma takie samo prawo decydowania o sobie samej jak mężczyzna i nie powinna wstydzić się swojej seksualności.

Warto zaznaczyć, że sięgnięcie przez Arcybaszewa po wątki filozofii Nietzschego mogło być rezultatem wpływu twórczości polskiego pisarza Stanisława Przybyszewskiego, który na przełomie XIX i XX w. był chętnie czytany przez rosyjskiego czytelnika i wywoływał liczne reakcje krytyki. Zdaniem Zbigniewa Barańskiego: „Przybyszewski reprezentował na gruncie rosyjskim nową sztukę najpełniej. Z buntowniczą siłą głosił hasła sztuki wolnej od bezpośredniego służenia społeczeństwu. (...) Bronił spirytualizmu młodego pokolenia, głosił teorie „nagiej duszy”. Hasła te były bliskie modernizmowi rosyjskiemu” [Barański 1962, 124].

Pośród utworów prozatorskich Przybyszewskiego na szczególną uwagę zasługuje trylogia *Homo Sapiens* (1899-1901), w której autor sięga po motywy nietzscheańskie, przede wszystkim po ideę nadczłowieka. Powieść ta doczekała się w Rosji aż piętnastu wydań i stała się inspiracją nie tylko dla Arcybaszewa, lecz także dla innych przedstawicieli tzw. rosyjskiej literatury popularnej, w tym Anastazji Wierbickiej, Anastazji Krandijewskiej czy Augusty Damańskiej [Moskwina 2007, 16]. Jan Zieliński podkreśla, iż przy badaniu oddziaływania Przybyszewskiego na poszczególnych pisarzy rosyjskich należy być ostrożnym, ponieważ nie jest ono najczęściej bezpośrednie, lecz „osobliwe i skomplikowane”. Ten sam badacz jednak zauważa, że *Sanin* i *Homo Sapiens* mają wiele zbieżnych elementów, zaliczają się do nich paralelizm obrazu, przeżycia bohaterów, funkcje śmiechu [Zieliński 1982, 141-150]. Czytając obie powieści, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Falk – protagonista *Homo Sapiens* – jest prototypem Sanina. Obaj bohaterowie przyjeżdżają po długiej nieobecności do rodzinnych domów. Falk wraca z podróży po liberalnej Europie, Sanin przyjeżdża z bliżej nieokreślonego miejsca, które jednak znacznie go zmieniło. Zarówno Sanin, jak i Falk uważają się za jednostki wyjątkowe, stojące ponad tłumem. Przybyszewski i Arcybaszew wyraźnie przeciwstawiają Sanina

i Falka pozostałym bohaterom powieści, kreując ludzi przyszłości, inaczej rzecz ujmując, „nadludzi”, jeśli użyjemy nomenklatury Nietzschego. Podobnie jak dla Sanina, dla Falka prowincja urasta do symbolu zaściankowości, środowiska tłamszącego jednostkę. Bohater *Homo Sapiens* z niesmakiem konstatuje: „Боже Милостивый, как здесь тесно, как невыносимо тесно. Здесь есть права, границы препятствия, правила, формулы, люди ходят в каких-то тесных, идиотских кафтанах: это ты можешь делать, а этого тебе нельзя” [Пшибышевский 1908, 184]. Należy zaznaczyć, że podobieństwa między twórczością Przybyszewskiego i Arcybaszewa nie kończą się na *Homo Sapiens* i *Saninie*. Również w dramaturgii obu pisarzy odnaleźć możemy wiele wspólnych cech, zarówno w warstwie fabularnej, jak i poetyckiej. Andriej Moskwin stwierdza nawet, że dramatyczny cykl Przybyszewskiego *Taniec miłości i śmierci* odegrał ogromną rolę w kształtowaniu się dramatu rosyjskiego początku XX w. [Moskwin 2009, 16].

Propagowana przez Arcybaszewa w *Saninie* afirmacja życia w zasadzie nie znalazła już odzwierciedlenia w kolejnych utworach pisarza. Jego następna powieść *U kresu* (*У последней черты*) okrzyknięta została utworem o „klubie samobójców”. Nie bez znaczenia w odbiorze tego tekstu były nastroje panujące w ówczesnym społeczeństwie rosyjskim, tzn. wszechobecne rozczarowanie życiem, spowodowane nasilającymi się ruchami rewolucyjnymi, naciskiem władz carskich oraz niepewnością jutra. Krytycy byli całkowicie zgodni co do tego, iż dekadencje tendencje i zafascynowanie śmiercią nigdy wcześniej nie były eksponowane w twórczości Arcybaszewa z taką siłą [Krzyżowska-Protasienia 1994, 83]. Na tematykę i nastrój powieści wskazuje już jej tytuł, gdyż wszyscy bohaterowie znajdują się u kresu swojego życia. Choć podkreślić należy, iż w większości przypadków nie jest to kres spowodowany naturalnym procesem starzenia się, ale stanem psychicznym młodych, fizycznie zdrowych ludzi. Warto dodać, że pesymizm w iście schopenhauerowskim wydaniu przejawiał się już w debiutanckich opowiadaniach Arcybaszewa, w tym przede wszystkim w utworze *Podchorąży Gołolobow* (*Подпоручик Гололобов*)³. Tak więc po kilku latach poszukiwań twórczych Arcybaszew ponownie powrócił do korzeni, urastając do rangi jednego z głównych piewców śmierci na arenie literatury rosyjskiej początku XX w. Dmitrij Mirski sytuuje Arcybaszewa obok Iwana Bunina i Leonida Andriejewa, wśród pisarzy „upojonych śmiercią”, dla których śmierć jest jedyną realnością [Мирский 2014, 189].

W powieści *U kresu* Nietzsche wyraźnie ustępuje Schopenhauerowi, który stwierdzał, że już w momencie narodzin jesteśmy naznaczeni śmiercią. Ludzi niemiecki filozof porównywał do jagniąt, które nieustannie obserwowane są przez rzeźnika skazującego je kolejno na śmierć [Schopenhauer 2004, 260]. Z takiego samego założenia wychodzi jeden z bohaterów *U kresu* – inżynier Naumow, który pełni rolę przewodniczącego, nieformalnie związanego na stronicach powieści, klubu samobójców. Naumow propaguje Schopenhauerowskie poglądy na temat otaczającego nas świata i przekonuje, że:

Что нам в вашем социальном строе, если смерть стоит у каждого за плечами, если мы уходим во тьму, если люди, дорогие нам, умирают, если все, что бы ни делали мы, носит

3 Szerzej na temat tego opowiadania pisałem już wcześniej [Zob. Witczak 2014, 87-95].

в себе вечные задатки страдания и неудовлетворенности? Не будем говорить о смерти, в конце концов, можно смотреть ей прямо в глаза... [Арцыбашев 1994с, 217].

Każdy z opisanych przez Arcybaszewa aktów definitywnych jest na swój sposób niepowtarzalny, możemy jednak wśród nich wyróżnić jedną wspólną nadrzędną przyczynę: wyobcowanie, samotność, zmęczenie życiem i utracenie jego sensu. Mamy tu do czynienia ze sztab-rotmistrzem Trieniewem, który, podobnie jak bohater *Sonaty Kreutzerowskiej* (*Крейцерова соната*) Tolstoja, nie może znieść dalszego wspólnego życia z żoną, lecz w przeciwieństwie do Tolstojowskiego bohatera decyduje się zabić siebie, a nie swoją małżonkę. Malarz Michajłow, łamacz kobiecych serc i istnień, dochodzi do wniosku, że jego egzystencja jest przeraźliwie pusta i że nie jest on w stanie nikogo pokochać, w wyniku czego również decyduje się ze sobą skończyć. Dla odmiany kornet Krauze owładnięty jest manią śmierci, samo życie sprawia mu ogromny ból, który w pewnym momencie staje się nie do zniesienia. Przyczyn samobójstw ukazanych na stronicach *U kresu* jest więcej, wszystkich powieściowych desperatów łączy permanentna depresja, potęgowana otoczeniem, w którym przyszło im żyć. Prowincjonalne miasteczko objawia bowiem symptomy trawiającej go od środka choroby, której ulegają również jego mieszkańcy. Nieprzyjazna człowiekowi prowincja staje się w powieści Arcybaszewa alegorią psującej się od środka Rosji początku XX w. Kreując obraz prowincji w taki sposób, Arcybaszew wpisuje się w tradycję neorealizmu rosyjskiego przełomu XIX i XX w. Najbliżej mu natomiast do Maksyma Gorkiego, który w dylogii *Miasteczko Okurów* (*Городок Окуров*) również maluje prowincjonalną rzeczywistość owładniętą wszechobecnym cierpieniem, w której wyeksponowana została brzydota fizyczna i moralna [Greń-Kulesza 2010, 132]. Wspomnieć warto także o Aleksandrze Kuprinie i jego utworach, z których wyziera obraz prowincji daleki od idylli [Bielniak 2013, 38-47].

Reasumując, możemy stwierdzić, iż twórczość Arcybaszewa ma bogate podłoże ideologiczne. Pisarz intensywnie czerpał z tradycji literackiej i filozoficznej klasyków Wschodu i Zachodu. W jego utworach możemy odnaleźć również akcenty polskie w postaci motywów prozy Stanisława Przybyszewskiego. W centrum literackiego świata Arcybaszewa znalazł się człowiek, którego koncepcję moglibyśmy określić jako synkretyczną, łączącą w sobie niekiedy przeciwstawne idee. Ta swoista niejednorodność wynikała z ciągłych filozoficznych poszukiwań pisarza. Niezależnie od tego, jaka idea w danym momencie przyświecała Arcybaszewowi – losy wykreowanych przez niego bohaterów najczęściej kończą się tragicznie, czyli śmiercią. Po nieudanych próbach oswojenia śmierci poprzez zwrócenie się ku ideom Tolstoja, ostatecznie Arcybaszewowi u kresu jego drogi twórczej bliski stał się Schopenhauer, który przekonywał:

Życie jest morzem pełnym wirów i skał, które człowiek omija z największą ostrożnością i czujnością, chociaż wie, że jeśli nawet uda mu się omijać je dzięki wysiłkowi i zręczności, to jednak każdy krok zbliża go do najstraszniejszego rozbicia, do katastrofy całkowitej, nieuchronnej i nieodwracalnej, ku której, płynie nie przestając wiosłować – do śmierci; w niej jest cel ostateczny męczącej wędrówki, straszliwy niż wszystkie wyminięte skały [Walicki 1959, 337].

Bibliografia

- Арцыбашев Михаил. 1994а. *Записки писателя*. W: idem. *Собрание сочинений в трех томах*. t. 3. Москва: Терра.
- Арцыбашев Михаил. 1994b. *Из подвала*. W: idem. *Собрание сочинений в трех томах*. t. 1. Москва: Терра.
- Арцыбашев Михаил. 1994с. *У последней черты*. W: idem. *Собрание сочинений в трех томах*. t. 2. Москва: Терра.
- Арыбашев Михаил. 2009. *Санин*. W: idem. *Санин. Роман. Повести и рассказы*. Москва: Эксмо.
- Бердяев Николай. 1998. *Русская идея. Самопознание*. Москва-Харков: Эксмо-пресс.
- Гергало Надежда. 2000. *Ницшеанские мотивы в романе «Санин» М. Арцыбашева и трилогии «Ното sapiens» С. Пишвышевского*. „Slavia Orientalis” nr 1: 35-45.
- Мирский Дмитрий. 2014. *Векция смерти в дореволюционной литературе*. W: idem, *О литературе и искусстве. Статьи и рецензии 1922-1937*. Москва: Русский путь.
- Михайловский Игорь. 2011. „Арцыбашевщина” и социально-культурный контекст. „Политическая лингвистика” nr 3 (37): 236-240.
- Могильнер Марина. 1999. *Мифология подпольного человека*. Москва: Новое литературное обозрение.
- Пильский Петр. 1994. *М. Арцыбашев*. В: Арцыбашев Михаил. *Собрание сочинений в 3 т.* t. 3. Москва: Терра.
- Сергеев-Ценский Сергей. 1956. *Трудитесь много и радостно. Избранная публицистика*. Москва: Гослитиздат.
- Тузков Сергей. 2011. *Русская повесть начала XX века. Жанрово-типологический аспект*. Москва: Флинта Наука.
- Barański Zbigniew. 1962. *Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Bielniak Nel. 2013. *Провинциальная жизнь рубежа XX и XX веков сквозь призму творчества Александра Куприна*. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” t. 23: 38-47.
- Bierdiajew Mikołaj. 2004. *Światopogląd Dostojewskiego*. tłum. Paprocki H. Kęty: Antyk.
- Historia literatury rosyjskiej*. 1976. Red. Jakubiec M. t. II. Warszawa: PWN.
- Greń-Kulesza Jolanta. 2010. *Cierpienie i ofiara. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku*. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
- Jung Carl. 1989. *Pierwiastek apolliński i pierwiastek dionizyjski*. W: idem. *Rebis czyli kamień filozofów*. przekł. i wstęp Prokopiuk J. Warszawa: PWN.
- Krzyżowska-Protasienia Grażyna. 1994. *Michail Arcybaszew w ocenie rosyjskiej krytyki literackiej 1901-1992*. „Slavica Wratislaviensia” t. LXXXI: 67-87.
- Michalska-Suchanek Mirosława. 2013. *Przestrzeń artystyczna dzieł Fiodora Dostojewskiego (na wybranym materiale). Między wcielonym piekłem a rajem*. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” t. 23: 23-37.
- Moskwin Andrzej. 2007. *Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku*. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- Mucha Bogusław. 2002. *Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Od Absolutu do Żeromskiego. Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei*. 1996. Red. Bednarek S., Jastrzębski J. Wrocław: Silesia.
- Paszkiewicz Anna. 1995. „Zgroza” Michaiła Arcybaszewa: naturalizm, symbolizm, ekspresjonizm?. W: *Literatura rosyjska w nowych interpretacjach*. Red. H. Mazurek-Wita. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 17-29.

- Schopenhauer Arthur. 2004. *W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena*. t. 2. tłum. Garewicz J. Kęty: Antyk.
- Sielicki Franciszek. 1996. *Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce Międzywojennej*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Walicki Andrzej. 1959. *Osobowość a historia*. Warszawa: PIW.
- Wilczyński Włodzimierz. 1993. *Z problemów realizmu. Proza rosyjskich zbiorów literackich „Słowo” (1913-1918)*. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- Wiśniewska Lidia. 2009. *Między Bogiem a naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury*. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
- Witczak Patryk. 2014. *Motyw samobójstwa w prozie emigrantów pierwszej fali uchodźstwa rosyjskiego*. „Polilog. Studia Neofilologiczne” nr 4: 87-95.
- Zieliński Jan. 1982. *Wpływ Przybyszewskiego na rosyjską powieść modernistyczną*. W: Stanisław Przybyszewski. *W 50-lecie zgonu pisarza*. Red. Filipowska H. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 141-150.

Summary

BETWEEN EAST AND WEST MIKHAIL ARTSYBASHEV'S PHILOSOPHICAL INSPIRATIONS IN THE CONTEXT OF THANATOLOGICAL MOTIFS

This article presents the motifs of death and illness in Mikhail Artsybashev's prose, mainly from a philosophical perspective. His early short stories are compared to the style of Leo Tolstoy; being influenced by the works of Friedrich Nietzsche and Fyodor Dostoevsky, they are filled with extreme pessimism and immorality as well as the themes of hedonism and free-will of the individual.

Kontakt z Autorem:
wiczakptrk@wp.pl

Aleksandra Zywert

Instytut Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

CZYTAJĄC ROSJĘ. WSPÓŁCZESNA PROZA ROSYJSKA W POLSCE. WYBRANE ZAGADNIENIA

Key words: Russia, Poland, prose, contemporary times, tendency

Po upadku Związku Radzieckiego popularność literatury rosyjskiej, z oczywistych względów, znacząco spadła i mniej więcej do połowy lat 90. XX wieku w Polsce jej obecność ograniczała się w zasadzie do wybranych (zwykle najpopularniejszych) dzieł klasyków przełomu wieków, takich jak Mikołaj Gogol, Lew Tołstoj, Fiodor Dostojewski, Michaił Bułhakow, Anton Czechow. Pojawiały się, co prawda, pojedyncze przekłady utworów pisarzy spoza ścisłego kanonu, np. *Nagi rok* (1987) i *Czarny książę* (1988) Borysa Pilniaka czy wybór tekstów grupy OBERIU pod red. Andrzeja Drawicza zatytułowany *Tragiczna zabawa. OBERIU, czyli inna Rosja poetycka* (1991), ale nie była to jeszcze przemyślana strategia wydawnicza, a raczej dość przypadkowe przedsięwzięcia. Nie jest to zaskakujące, albowiem w tym samym czasie w Rosji sytuacja pod wieloma względami była podobna – Rosjanie odrabiali straty czytelnicze w odniesieniu do Zachodu (o czym świadczy lawinowo rosnąca liczba przekładów na język rosyjski utworów pisarzy zachodnich), zaś nowa fala rodzimej literatury dopiero krzepła.

Jedną z pierwszych jaskółek powrotu Rosjan na polskie półki księgarskie był wydany w 1994 numer „Literatury na Świecie”, który w lwiej części został poświęcony współczesnym rosyjskim poetom¹. Oprócz tego, co godne odnotowania, w tym właśnie numerze umieszczono także przekład, znanego już dziś powszechnie, tekstu Wiktora Jerofiejewa *Rosyjskie kwiaty zła* – swego rodzaju wizytówki jego zainteresowań w latach

¹ Szerzej na temat obecności literatury rosyjskiej w Polsce w latach 90. zob. Świeży Janusz. 1999. *Najnowsza literatura rosyjska w Polsce: Coś wiemy, ale wciąż za mało*, „Dekada Literacka” nr 9-10 (155-156): 1-2; Вавжиньчак Александр. 2011. *Русская литература в современной Польше. В: XXI век. Итоги литературного десятилетия: язык – культура – общество. Материалы международной научно-практической конференции, 21 апреля – декабрь 2010 года*. Ред. Большакова А.Ю. и Дырдина А.А. Ульяновск: УлГТУ: 317-322.

90. XX wieku i jednocześnie jednej z pierwszych prób całościowego spojrzenia na kierunki rozwoju literatury rosyjskiej w pierwszych latach po upadku Imperium [Jerofiejew 1994, 337-346].

Dwa lata później w tym samym czasopiśmie pojawiło się już znacznie więcej nowych nazwisk, spośród których (jak się wkrótce okazało) część miała być dobrze znana polskiemu czytelnikowi. Byli to między innym Władimir Sorokin, Piotr Aleszkowski, Igor Jarkiewicz, Ludmiła Pietruszewska czy Eduard Limonow², którzy w tym samym czasie stawali się coraz bardziej modni także w Rosji. Niestety, wówczas jeszcze nie mieli szansy zaistnieć na polskim rynku, ale już pod koniec lat 90. – tak. Przełomowy okazał się rok 2002, w którym ukazał się przekład Pielewinowskiego *Generation P* (*Generation „П”*, 1999). Ten jeden z kultowych autorów ostatniego dziesięciolecia XX wieku w Rosji nie tylko błyskawicznie znalazł uznanie w oczach polskich czytelników, lecz także części utorował drogę innym rosyjskim postmodernistom (w tym innej, nie mniej kultowej i kontrowersyjnej postaci – Władimira Sorokina, którego wydana rok wcześniej *Kolejka* (*Очередь*, 1983) przeszła w zasadzie bez echa).

Dzisiaj można powiedzieć, że (choć niekiedy z kilkuletnim opóźnieniem) polski czytelnik ma szansę mniej więcej zorientować się, co piszą i czytają Rosjanie. Biorąc pod uwagę aktualne kierunki rozwoju prozy rosyjskiej³, można udowodnić, że praktycznie przykłady każdego z nich można odnaleźć w polskich księgarniach.

W pierwszej kolejności wypada odnotować popularność autorów, którzy już zdążyli wyrobić sobie markę w poprzednim okresie. Dotyczy to w znacznej mierze emigrantów trzeciej fali, ale nie tylko. Przykładem może być choćby Siergiej Dowłatow. Pierwszym sygnałem obecności w Polsce jego utworów był wydany w 1993 roku wybór opowiadań *Jak pragnę wolności*, ale na dłużej zagościł dopiero od 2003 roku, kiedy ukazały się kolejno: *Walizka*, 2003 (*Чемодан*, 1986), *Krótkie życie*, 2004 (*Жизнь коротка*, 1997) i *Skansen*, 2004 (*Заповедник*, 1983). Twórczość Władimira Wojnowicza, znaną Polakom już wcześniej⁴, uzupełniono o ponowne (co najmniej czterokrotne) wydanie powieści *Życie i niezwykle przygody żołnierza Iwana Czonkina*⁵ (*Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина*, 1975), potem jej drugiej części – *Pretendent do tronu*, 2012 (*Претендент на престол*, 1979), oraz jednej z ostatnich powieści tego autora – *Spiżową miłość Agłai*, 2006 (*Монументальная пропаганда*), nie mniej popularną choćby za sprawą, wydanego w latach 80. *Donosiciela nr 1* (*Доносчик 001, или*

² W tym samym roku ukazał się jeszcze jeden numer „Literatury na Świecie”, tym razem w całości poświęcony dwóm twórcom – Włodzirowi Majakowskiemu i Andriejowi Płatonowowi.

³ Główne kierunki rozwoju współczesnej literatury rosyjskiej zob. np. Кравченкова Евгения, Попович Наталья. 2012. *Русская литература XXI века*. Moskwa: Программа; Богданова Ольга. 2001. *Современный литературный процесс*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т. Филол. фак-т.

⁴ W 1974 roku ukazało się tłumaczenie wczesnego opowiadania Władimira Wojnowicza, *Przyjaciele* (Wojnowicz Władimir. 1974. *Приjaciele*. Przeł. Piotrowska I. Warszawa: Wyd. Iskry), zaś potem jednoaktówka *Trybunał* (Wojnowicz Władimir. 1988. *Трыбунал*. Przeł. Lach M. Warszawa: Wyd. Przedświt), pierwsza część trylogii o żołnierzu Iwanie Czonkinie (1990), opowiadanie *Czapka* (Wojnowicz Władimir. 1990. *Чапка*. Przeł. Desperak E. Warszawa: Wyd. BIS), antyutopia *Moskwa 2042* (Wojnowicz Władimir. 1992. *Москва 2042*. Przeł. Broniatowska H. Warszawa: PIW).

⁵ W 1990 roku – Wyd. Polonia, 2006 – Wyd. Capricorn, 2011 – Wyd. Inne (w ramach serii „Polityki” – Współczesna literatura rosyjska), 2012 – Wyd. Fabryka Bestsellerów.

Вознесение Павлика Морозова, 1987), Jurija Druźnikowa, między innymi o najgłośniejsze jego dzieło – *Anioły na ostrzu igielnym*, 2001 (*Ангелы на кончике иглы*, 1969–1976), a potem o ostatnią, wydaną krótko przed śmiercią autora powieść – *Pierwszy dzień reszty życia*, 2010 (*Первый день оставшейся жизни*, 2008)⁶. Podobnie rzecz się miała z twórczością Wasilija Aksjonowa⁷ czy Aleksandra Sołżenicyna. Pojawiła się również długo oczekiwana (także w Rosji) druga część dylogii o bitwie stalingradzkiej – *Życie i los*, 2009 (*Жизнь и судьба*, 1980) Wasilija Grossmana, *Opowiadania kołymskie*, 1999 (*Колымские рассказы*, 1954–1973) Warłama Szalamowa i *Strona ściana* (*Крытой маршрут*, 1967) Eugenii Ginzburg⁸. Cenna w tym kontekście jest też próba choćby fragmentarycznego, emblematycznego przybliżenia twórczości pisarzy starszego pokolenia, dotąd w Polsce niepublikowanych. Myślę tu choćby o Władimirze Zazubrinie, którego opowiadanie *Drzazga*, 2008 (*Щенка*, 1923) jest niezwykle przejmującym i ważnym głosem w dyskusji nad specyfiką okresu komunizmu wojennego w Rosji.

Nie bez znaczenia jest los twórczości, święcących w Rosji w latach 90. XX wieku triumf, postmodernistów. Już z pobieżnej analizy polskiego rynku wydawniczego widać, że ich pozycja jest stosunkowo mocna i stabilna. Na pierwszych miejscach bezsprzecznie plasują się Wiktor Pielewin, Wiktor Jerofiejew i Władimir Sorokin. Począwszy od, wspomnianego już, *Generation P*, w Polsce ukazały się wszystkie najważniejsze utwory tego pisarza: *Omon Ra* (*Омон Ра*, 1992), *Helm grozy*, 2006 (*Шлем ужаса*, 2005), opublikowaną kontynuację *Empire V* (*Empire V*, 2006) powieść *Batman Apollo* (*Бэтман Аполло*, 2013). Nie mniejszą liczbą przekładów może się poszczycić Wiktor Jerofiejew, którego ostatnia książka *Akimudy* (*Акимуды*, 2012) zebrała sporo pozytywnych recenzji.

O ile w przypadku dwóch pierwszych wspomnianych autorów bez większych trudności udaje się prześledzić ich drogę twórczą, o tyle nie można tego powiedzieć o trzecim. Twórczość Władimira Sorokina jest dla polskiego odbiorcy w dużym stopniu zagadką, albowiem jest ona dostępna dopiero od trylogii *Lód*, 2004 (*Лёд*, 2002), *Droga Bro*, 2006 (*Путь Бро*, 2004) i *23 000*, 2007 (*23 000*, 2005) (a więc z całkowitym, jeśli nie liczyć wspomnianej już *Kolejki*, pominięciem pierwszego, skupionego na dekonstrukcji dyskursu socrealistycznego oraz walce z klasykami literatury, okresu twórczości), a i to fragmentarycznie. Po lodowej trylogii z bogatego i wielokierunkowego dorobku pisarza ukazały się zaledwie trzy pozycje – *Dzień oprycznika*, 2008 (*День опричника*, 2006),

⁶ Oprócz tego w ostatnich latach ukazały się między innymi: *Postrzępiony żagiel miłości*. 2005. Przeł. Fast P. i Rojewska-Olejarczuk E. Ossa: Wyd. dom na wsi] i *Wiza do przedwczoraj*. 2003. Przeł. Fast P. Kraków: Wyd. ARCANA.

⁷ W latach 1999–2000 roku pojawiły się kolejno: *Oparzenie* (*Ожог*, 1975), *Nowy słodki styl* (*Новый сладостный стиль*, 1996), *Wyśpa Krym* (*Остров Крым*, 1979), *Pokolenie zimy* (*Поколение зимы*, 1991–1992), *Wojna i więzienie* (*Война и тюрьма*, 1991–1992) i *Więzienie i pokój* (*Тюрьма и мир*, 1991–1992), zaś w 2009 – jedna z najnowszych jego powieści – *Moskwa Kwa-Kwa* (*Москва Ква-Ква*, 2006), Zob. Aksjonow Wasilij. 2000. *Oparzenie*. Przeł. Kędziński S. Warszawa: Wyd. Amber; Aksjonow Wasilij. 2000. *Nowy słodki styl*. Przeł. Kołodziej I. Warszawa: Wyd. Amber; Aksjonow Wasilij. 1999. *Pokolenie zimy*. Przeł. Putrament M. Warszawa: Wyd. Amber; Aksjonow Wasilij. 2000. *Wojna i więzienie*. Przeł. Putrament M. Warszawa: Wyd. Amber; Aksjonow Wasilij. 1999. *Więzienie i pokój*. Przeł. Putrament M. Warszawa: Wyd. Amber; Aksjonow Wasilij. 2009. *Moskwa Kwa-Kwa*. Przeł. Redlich J. Warszawa: Wyd. Świat Książki.

⁸ Zob. Ginzburg Eugenia. 2010. *Stroma ściana*. Przeł. Mandalian A. Warszawa: Wyd. Czytelnik. Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że nie jest to pierwsze wydanie. Wcześniej pozycja ta ukazała się w 1989 roku.

Cukrowy Kreml, 2011 (*Сахарный Кремль*, 2008) i *Zamieć*, 2013 (*Метель*, 2010), które obrazują ostatni okres twórczości pisarza i które nie dają pełnego obrazu jego drogi twórczej.

Upadek Imperium przyniósł burzliwy rozwój prozy kobiecej. Początkowo miały one głównie jeden cel – „pragnienie dotarcia do czytelnika oraz przerwanie zмовy milczenia, jaka otaczała nazwiska piszących kobiet” [Rowieńska 2005, 86]. U progu XXI wieku sytuacja się zmieniła. Kobiety nie tylko trwale wpisały się we współczesną literaturę rosyjską, lecz także zajęły w niej poczesne miejsce. Metamorfozę tę obrazują przekłady pisarek różnych pokoleń (od Ludmiły Pietruszewskiej *Jest noc*, 2012 (*Время ночь*, 1992), *Numer jeden, albo w ogrodach innych możliwości*, 2010 (*Номер Один, или В садах других возможностей*, 2004); Ludmiły Ulickiej *Sonieczka*, 2004 (*Сонечка*, 1992), *Medea i jej dzieci*, 2004 (*Медея и её дети*, 1996), *Przypadek doktora Kukockiego*, 2005 (*Казус Кукоцкого* 2001), *Szczerze oddany Szurik*, 2007 (*Искренне ваш Шурик*, 2003), *Daniel Stein, tłumacz*, 2012 (*Даниэль Штайн, переводчик*, 2006), Lidii Czukowskiej między innymi *Przedśmiercie*, 1991 (*По эту сторону смерти*, 1978), *Zejście pod wodę*, 2010 (*Спуск под воду*, 1972) i Diny Rubiny *Na górnej Masłowce* (*На Верхней Масловке*, 2001), *Oto idzie Mesjasz!* (*Вот идёт Мессия!*, 1966), *Po słonecznej stronie ulicy* (*На солнечной стороне улицы*, 2006), *Biały gołąbek z Kordoby*, 2012 (*Белая голубка Кордовы*, 2009), *Pismo Leonarda*, 2010 (*Почерк Леонардо*, 2008) po Tatiannie Tolstoj *Kuś*, 2004 (*Кысь*, 2000); Jelenę Czyżową *Czas kobiet*, 2013 (*Время женщин*, 2009); Marię Arbatową *Na imię mi kobieta*, 2005 (*Мне 46*, 1998); Wiktorię Tokariową *Miłość na całe życie*, 2006 (*Своя правда*, 2002); Olgę Sławnikową *2017*, 2013 (*2017*, 2006), *Lekka głowa*, 2014 (*Легкая голова*, 2010); Oksanę Robski *Casual*, 2006, *Szczęście nadejdzie jutro*, 2007) i Irinę Dienieżkinę *Daj mi!*, 2004 (*Дай мне!*, 2001) oraz uprawiających różne gatunki literackie – od klasycznej powieści obyczajowej po kryminał i fantastykę. W najnowszych, ukazujących się na przełomie XX i XXI wieku utworach można zauważyć znaczącą modyfikację orientacji tematyczno-problematycznej. Przykładowo, zaznacza się odejście od tematyki rodzino-bytowej na rzecz zwrotu ku problemom filozoficzno-społecznym, takim jak: dialog kultur, pamięć historyczna (w tym problem pokolenia lat 60.) czy kwestia żydowska. Z nową siłą pojawia się także problem wizerunku i tożsamości kobiety-pisarki (również w kontekście dzieciństwa traktowanego jako swoista pamięć historyczna), a przy okazji nowego wymiaru kwestii wolności płciowej. Wciąż też znaczące miejsce zajmuje (zapoczątkowany symbolicznie przez Irinę Dienieżkinę) głos pokolenia next, do którego w pewnym sensie należy zaliczyć fenomen socjologiczny, jakim jest obraz Nowego Rosjanina stworzony przez niego samego (powieści Oksany Robski).

Od końca lat 90. aktywnie rozwija się także temat wojny w Afganistanie i Czeczenii. Dominują w nim dwa spojrzenia – uczestnika albo niezaangażowanego bezpośrednio obserwatora. Niezależnie od punktu wyjścia, wojna jawi się jako zjawisko całkowicie pozbawione elementu wzniosłości, ale i jednoznacznie negatywne, destrukcyjnie wpływające na jednostkę. W zależności od lokalizacji miejsca akcji (linia frontu lub tyły) jest to bowiem albo przestrzeń wymyślnych tortur, okrutnych, absurdalnych i bezsensownych

śmierci, zob. Zachar Priliepin *Patologie*, 2010 (*Патологии*, 2004)⁹ i Arkadij Babczenko *Dziesięć kawalków o wojnie*, 2009 (*Десять серий о войне*, 2002), albo pole do rozwijania podejrzanych interesów, na których można dobrze i szybko zarobić, zob. Władimir Makanin, *Asan*, 2009 (*Асан*, 2008)).

Niejako równolegle rozwija się gatunek powieści politycznej, często obfitującej w fantastyczne teorie spiskowe, a będącej bezpośrednią reakcją na bieżące wydarzenia polityczne w Rosji. Przykładami mogą być, oparta na teorii o spisku byłych współpracowników KGB, *Operacja Heksogen*, 2005 (*Господин Гексоген*, 2002) Aleksandra Prochanowa lub, odwołująca się do zapoczątkowanej przez *Matkę* Maksyma Gorkiego, tradycji rewolucyjnego maksymalizmu w walce z władzą, druga powieść Zachara Prilepina – *Sankja*.

Upadek ZSRR i zapoczątkowana w latach 90. tzw. czwarta fala emigracji rosyjskiej odbiły się szerokim echem w powieściach poświęconych pracy tłumaczy, codziennie zmagających się z problemem niezrozumienia pomiędzy narodami, pokoleniami i kręgami kulturowymi. Tragizm konieczności nieustannego zmagania się z tym powszechnym, niestety, zagadnieniem jest tematem powieści Ludmiły Ulickiej *Daniel Stein, tłumacz* i Michaiła Szyszkina *Włos Wenery*, 2008 (*Венерин волос*, 2005).

Analiza problemów społecznych nie ogranicza się wyłącznie do kwestii dotyczących ludzi dorosłych. Już początek lat 90. przyniósł rozwój, nawiązującej do tradycji XIX-wiecznej literatury o dzieciach, autobiograficznej prozy o dzieciństwie. Prekursorem był (znany także w Polsce) Paweł Sanajew i jego błyskotliwy i jednocześnie przerażający w swej brutalności i utwór o patologicznie zaborczej i wyniszczającej miłości – *Pochowajcie mnie pod podłogą*, 2009 (*Похороните меня за плинтусом*, 1994). Oprócz tego w Polsce ukazały się jeszcze dwie inne powieści równie nieprzeciętnego autora Rubena Gallego: *Na brzegu*, 2005 (*Я сижу на берегу*, 2005) i *Białe na czarnym*, 2005 (*Белое на черном*, 2003). W przypadku obu autorów jest to proza trudna i niezwykle poruszająca, bo traktująca o głębokich osobistych traumach. W przypadku Sanajewa – to głęboko dysfunkcyjna rodzina, zaś u Gallego – samotne dzieciństwo niechcianego, upośledzonego fizycznie dziecka zamkniętego w państwowej placówce opiekuńczej. Głębię wyrazu uwypukla fakt, że obaj pisarze zastosowali chwyt prowadzenia narracji z perspektywy dziecka oraz zadbali o fotograficzną wręcz dbałość o detale.

Zmiany ustrojowe i następujący po nich okres tzw. drapieżnego kapitalizmu zaowocowały na początku XXI wieku wzmożonym zainteresowaniem antyutopią. Są to mniej lub bardziej ostre pamflety na życie polityczne Rosji. Jednoznacznie pesymistyczne spojrzenie na przyszłość tego kraju wynika z faktu odżywiania tradycji niebezpiecznych historycznych strategii, takich jak oprycznina czy ambicje imperialne, a wszystko to w połączeniu z powrotem tendencji izolacjonistycznych. Jako przykłady można wymienić wspomniane już wcześniej 2017 Olgi Sławnikowej, *Dzień oprycznika*, *Cukrowy Kreml* i *Zamięć* Władimira Sorokina oraz *Empire V* Wiktora Pielewina.

⁹ Oprócz tej powieści ukazały się (w tym samym wydawnictwie) jeszcze dwie pozycje tego autora: w 2008 roku powieść *Sankja* i w 2013, utrzymana w sensacyjno-obyczajowej konwencji, *Czarna malpa*.

Niezwykle ciekawa jest, niestety nieznana w Polsce, proza prawosławna, poświęcona problematyce religijnej i przybliżająca współczesnemu człowiekowi świat rosyjskiego prawosławia i Cerkwi. Są to zarówno utwory autorstwa duchownych różnych szczebli hierarchii cerkiewnej, jak i świeckich autorów (w tym żon duchownych). W tym nurcie rozwijają się różne odmiany prozy – od tradycyjnej prozy realistycznej (głównie opowiadania, żywoty świętych, wznowienia pamiętników autorstwa prawosławnych autorów z lat minionych czy proza epistolarna), aż po prężnie fantastykę i *fantasy* – od science fiction, poprzez antyutopię, po *heroic fantasy* dla dzieci i młodzieży. Co prawda, o czym już wspomniano, w Polsce utwory z tej grupy są niedostępne, ale w szczątkowej formie można się zapoznać z jakby lżejszą odmianą tego rodzaju prozy, a mianowicie prozą duchową, spełniającą rolę swego rodzaju pośrednika pomiędzy wierzącymi i ateistami czy agnostykami. W utworach tego typu główny nacisk jest położony na wewnętrzną ewolucję człowieka, który świadomie odchodzi od świata materialnego i materialistycznego światopoglądu na rzecz bogactwa duchowego. W centrum uwagi znajduje się bohater na rozdrożu, który zwykle pod wpływem traumatycznego przeżycia gubi sens życia. Motywem fabułowtórczym jest droga postrzegana dwuwymiarowo – jako ruch w czasie i przestrzeni oraz, poparty głęboką refleksją bohatera, proces dochodzenia do prawdy i istoty życia na ziemi. Istotną rolę odgrywa tu zwrot ku tradycji cerkiewnej postrzeganej jako podstawa odrodzenia się człowieka. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście motyw cudu jako namacalnego dowodu na istnienie nadnaturalnego sakralnego w życiu człowieka. Dodatkowo, jako że tego typu utwory skupione są na procesie dochodzenia do wiary i przewartościowywania dotychczasowych priorytetów, dochodzi do zburzenia stereotypu o życiu duchownych jako ludzi od początku bez reszty pogrążonych w misticzności. Przykładem może posłużyć ostatnio wydana powieść, okrzykniętego przez rosyjską prasę „rosyjskim Umberto Eco”, Jewgienija Wodołazkina, *Laur*, 2015 (*Лавр*, 2012).

Znaczącą rolę w poznawaniu i rozumieniu specyfiki współczesnej Rosji mają reportaże, wśród których zdecydowanie na pierwszym miejscu plasuje się seria książek autorstwa Anny Polikowskiej: *Rosja Putina*, 2005 (*Путинская Россия*, 2004), *Druga wojna czeczeńska*, 2006 (*Вторая чеченская*, 2002), *Udręczona Rosja. Dziennik buntu*, 2007 (*A Russian Diary*), *Tylko prawda. Artykuły i reportaże*, 2011 (*Nothing but the Truth: Selected Dispatches*).

Na drugim biegunie procesu rozwoju współczesnej prozy rosyjskiej znajduje się beletrystyka oraz literatura masowa (traktowana często też jako projekt biznesowy). W beletrystyce na pierwszym miejscu plasuje się Borys Akunin. Choć autor zdobył serca polskich czytelników powieściami zaliczanymi do gatunku kryminału historycznego (cykle o Eraście i Nikołasie Fandorinie oraz cykl o mniszce Pelagii), sporą popularność zdobyły także jego utwory spoza tej grupy, takie jak 3-częściowy cykl pod wspólnym tytułem *Gatunki* (*Жанры*): *Powieść szpiegowska*, 2006 (*Шпионский роман*, 2005), *Powieść dla dzieci*, 2007 (*Детская книга*, 2005), *Fantastyka*, 2007 (*Фантастика*, 2005), oraz *Historie cmentarne*, 2006 (*Кладбищенские истории*, 2004) – firmowany dwójgim nazwisk (Borys Akunin, Grigorij Czchartiszwili) zbiór esejów i nowel poświęconych najsłynniejszym światowym cmentarzom. W podobnym do Akunina tonie piszą Leonid

Józefowicz, którego twórczość jest znana polskiemu czytelnikowi dzięki przekładom trzech powieści: *Dom schadzek*, 2007 (*Дом свиданий*, 2001), *Kostium arlekina*, 2006 (*Костюм Арлекина*, 2001) i *Książę wiatru*, 2008 (*Князь ветра*, 2001) oraz Anton Cziż jedyna dostępna na polskim rynku wydawniczym książka tego autora to *Boska trucizna*, 2010 (*Божественный яд*, 2009). Nie bez przyczyny porównywani do Akunina autorzy proponują *de facto* bardzo podobny co ten ostatni schemat – w centrum wydarzeń jest postać śledczego, któremu przychodzi zmierzyć się z kolejną zagadką. A wszystko osadzone w realiach carskiej Rosji.

Jeśli chodzi o kryminał współczesny, to (podobnie jak w Rosji) prym wiodą pisarki. Na pierwszym miejscu od lat utrzymuje się Aleksandra Marinina – główna przedstawicielka, adaptowanego do nowej rzeczywistości, kryminału milicyjnego, której powieści cyklicznie pojawiają się w polskich przekładach. Nieco gorzej wypada na tym tle popularny w Rosji kryminał ironiczny, reprezentowany przez takie autorki jak Daria Donkowa, Tatiana Polakowa, Polina Daszkowa i Wiktoria Płatowa. O ile Marinina utrzymała się na naszym rynku, to pozostałe autorki – nie. Po wydaniu kilku powieści każdej z nich, zaprzestano dalszych przekładów ich utworów. Warto na tym tle odnotować też dwie powieści Anny Małyszewej: *Miłość zimniejsza od śmierci*, 2005 (*Любовь холоднее смерти*, 2003) i *Zatrute życie*, 2007 (*Отравленная жизнь*, 1999), autorki tzw. kryminałów psychologiczno-mistyczno-fantastycznych. Tu także po wydaniu dwóch pozycji dalsze tłumaczenia wstrzymano, choć w Rosji Małyszewa należy do grona jednych z bardziej poczytnych autorek.

Odwrotnie sytuacja przedstawia się w obszarze fantastyki¹⁰. Ta ostatnia w najróżniejszych jej odmianach nieustannie cieszy się powodzeniem wśród polskich czytelników. Najlepszym dowodem jest fakt, że oprócz pojawiających się co jakiś czas nowości, cyklicznie wznawiane są pozycje klasyków gatunku jak choćby *Ślimak na zboczu* (*Улитка на склоне*, 1966) czy *Piknik na skraju drogi* (*Пикник на обочине*, 1972) braci Strugackich¹¹ oraz powieści Kira Bułyczowa (także spoza cyklu o Wielkim Guslarze). Do rangi klasyka urósł już także Siergiej Łukjanienko – wydano wszystkie jego wcześniejsze, zaliczane jeszcze do klasycznej science fiction, utwory, takie jak choćby cykl *Linia marzeń*, 2001 (*Линия грёз*, 1995) czy *Głębia*, 2002 (*Глубина*, 2001), na bieżąco uzupełniany jest (zaliczany niekiedy – poprzez obecność wampirów – do horroru) cykl *Patrole*. Oprócz tego kilka lat temu zaprezentowano dylogię fantastyczną z gatunku urban fantasy – *Brudnopis*, 2008 (*Черновик*, 2005) i *Czystopis* (*Чистовик*, 2007).

Innym ciekawym autorem jest Oleg Diwow – w Rosji pisarz znany, ceniony i postrzegany jako nader twórczy eksperymentator, próbujący swoich sił w różnych odmianach fantastyki, w Polsce mniej popularny. Dotąd ukazała się niewielka część jego dorobku twórczego, za to prezentowane pozycje pozwalają choć fragmentarycznie ocenić potencjał tego autora Są to między innymi: opowiadanie *Zdrajca* (*Предатель*, 2000) w zbiorze *Wilcza krew* (2003), powieści: dryfująca w kierunku antyutopii *Wybrakówka*, 2005 (*Выбраковка*, 1999), typowa „twarda science fiction” – *Najlepsza załoga słonecz-*

¹⁰ O rosyjskiej fantastyce naukowej zob. Mazurkiewicz I, II, III (online).

¹¹ Ostatnio powieści Strugackich ukazały się w ramach serii „projekt S.T.A.L.K.E.R.”

nego, 2007 (*Лучший экипаж Солнечной*, 1998) i horror – *Nocny obserwator* (*Ночной смотрящий*, 2004), oraz kilka przekładów opowiadań w miesięczniku „Fantastyka” oraz antologiach *Kroki w nieznanie*.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się twórcy fantasy, tacy jak: Nik Pierumow – jeden z twórców rosyjskiego fantasy; w Polsce znany między innymi jako autor trylogii *Pierścień mroku* (*Кольцо Тьмы*, 1989-1995), cyklu *Imperium ponad wszystko* (*Империя превыше всего*, 2002-2004), *Kroniki Hjorwardu* (*Хроники Хьёрварда*, 1995-), *Kroniki przełomu* (*Летописи Разлома*, 1998-2006), *Świat siedmiu zwierząt* (*Семь Зверей Райлега*, 2007-2011), Andriej i Marina Diaczenko – autorzy tzw. słowiańskiej fantasy – 4-częściowego cyklu *Tułacze* (*Скутальцы*, 1994-2000), powieści *Rytuał*, 2008 (*Ритуал*, 1996), *Armaged-dom* (*Армагед-дом*, 1999), *Czas wiedźm*, *Dolina sumienia*, *Każń*, *magom wszystko wolno* (*Магам можно всё*, 2001), *Waran* (*Варан*, 2004), *Vita Nostra* (*Vita Nostra*, 2007), *Miedziany król* (*Медный король*, 2008), *Granica* (*Пентакль*, 2005), czy Ała Gorelikowa – fantasy *Korund i salamandra* (*Корунд и саламандра*, 2006). Do tej grupy warto zaliczyć także Marią Galinę, której hybrydyczne pod względem formy i treści powieści *Ekspedycja – 2 Wilcza gwiazda* (*Волчья звезда*, 2003), *Patrzący z ciemności* (*Глядящие из темноты: Хроники Леонарда Калганова, этнографа*, 2004) eksponują typowe dla fantastyki tematy: „obcy” i „postapokaliptyczny świat” w oryginalnej, będącej połączeniem klasycznego science fiction i fantasy, formie. Nie mniej ciekawie wypadają na tym tle autorzy odmiany fantastyki niezbyt znanej w Polsce, a mianowicie tzw. bojewików (militarna odmiana fantastyki) – Wadim Panow *Wojny prowokują nieudacznicy*, 2008 (*Войны начинают неудачники*, 2001) i Wasilij Gołowaczew: *Wirus mroku* (*Вirus тьмы*, 1994), *Wysłannik* (*Посланник*, 1994)). Do grupy tej można także zaliczyć, niestety, mało znanego w Polsce, a dość mocno z nią związanego (pisarz jest między innymi tłumaczem z języka polskiego, współpracuje także z polskimi twórcami i wydawcami fantastyki), Leonida Kudriawcewa. Ten utalentowany, chętnie sięgający zarówno po typową s-f, jak i kryminał doczekał się tylko dwóch przekładów. Są to utrzymane w konwencji komputerowej cyber-fantasy powieści *Polowanie na Quacka*, 2000 (*Охота на Квака*, 1999) i *Prawo metamorfa*, 2000 (*Закон оборотня*, 1999). W tym kontekście interesującą pozycją jest *A mnie kocha Julia Roberts*, 2005 (*Меня любит Джулия Робертс: Виртуальный роман*, 2005) Nikołaja Nasiedkina – książka z pogranicza fantastyki i powieści obyczajowej. Jest to osadzona w realiach współczesnej Rosji opowieść o fatalnych skutkach obsesyjnej miłości do „Idoru” – wirtualnej postaci rodem z powieści Williama Wilsona.

Fantastyka z nutą obyczajowo-polityczną, często ewoluująca w kierunku fantasy, to przede wszystkim nacechowane ironią i groteską utwory Jewgienija Łukina: *Purpurowa aura Protopartorga* (*Алая аура протопарторга*, 2000), *Robić za psa* (*Чушь собачья*, 2003), *Strefa sprawiedliwości*, 2004 (*Зона справедливости*, 1998) i Andrieja Siniakina. Na szczególną uwagę zasługuje tu zbiór *Władca mórz*, 2005 (*Владчица морей: Историческое повествование времен Петра Великого*, 2000) – krótkie powieści osadzone w realiach rosyjskiej prowincji, okraszone sporą dawką prząsnego humoru, ironii z zachodzących tam przemian, często zaludnione przez postaci rodem z bułhakowskich fars.

Nie sposób także pominąć międzynarodowych, a zainspirowanych przez rosyjskich autorów, projektów pisarskich o tematyce postapokaliptycznej, takich jak: Metro¹², Stalker, Survivarium.

W gronie fantastów znaleźli się autorzy dryfujący w kierunku horroru: Anna Starobiniec *Szczeliny*, 2007 (*Щель*, 2005), *Schron 7/7*, 2008 (*Убежище 3/9*, 2006), Michaił Jelizarow *Bibliotekarz*, 2012 (*Библиотекарь*, 2007) i tradycji noir: Siergiej Kuzniecowa *Skóra motyla*, 2012 (*Шкурка бабочки*, 2006). Warto również odnotować pojawienie się na polskim rynku wydawniczym zbioru opowiadań *Moskwa noir* (2011), w którym znalazły się opowiadania kilkunastu współczesnych autorów rosyjskich. Niektóre z wymienionych pozycji nie są wolne od niedociągnięć, ale za to niewątpliwie ciekawe poznawczo jako namacalny dowód artystycznych poszukiwań autorów w rejonach dotąd słabo lub w ogóle nierozpracowanych.

Interesującym zjawiskiem na rosyjskim rynku wydawniczym są serie książek fantastycznych wydawanych pod pseudonimem, w których pisarz funkcjonuje jako literacka mistyfikacja. W Polsce nie zyskały one dotąd szczególnej popularności, czego dowodem jest fakt, że dotąd jedynym przykładem tego rodzaju literatury jest tłumaczenie pierwszej części, utrzymanego w konwencji fantasy z elementami sensacji, cyklu *Labirynty Echo* – *Obcy*, 2013 (*Чужак*, 2001), autorstwa Maxa Freia (Swietłana Martynczyk).

Na zakończenie nie sposób pominąć literatury mainstreamu. Nie jest ona, co prawda, jakościowo wartościowa, nie mniej dostarcza sporo informacji socjologicznych o współczesnym społeczeństwie rosyjskim. Przykładami mogą służyć powieści Oksany Robski *Casual* i *Casual 2* i Siergieja Minajewa *DuchLESS*, 2012 (*DuchLESS*, 2006).

Jak widać, oferta jest całkiem spora i przynajmniej pobieżnie odzwierciedla najnowsze i najbardziej żywotne trendy w literaturze rosyjskiej. Cały czas jednak do rozważenia pozostaje kwestia selekcji tłumaczonych pozycji – polski czytelnik dostaje stosunkowo dużo, ale nie wie, co jest wartościowe, a co tylko służy rozrywce. Z jednej strony jest to wada, z drugiej – zaleta. Po pierwsze, prowadzona nieco chaotycznie, polska polityka wydawnicza sprawia, że otwiera się szerokie pole do badań literackich. Po drugie (co dotyczy czytelników znających język rosyjski), przekłady (nawet pojedyncze) mogą być impulsem do rozszerzenia spektrum poszukiwań badawczych o utwory nowych, dotąd nieznanych, twórców.

Bibliografia

- Богданова Ольга. 2001. *Современный литературный процесс*. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т. Филол. фак-т.
- Вавжинчак Александр. 2011. *Русская литература в современной Польше. В: XXI век. Итоги литературного десятилетия: язык – культура – общество. Материалы международной*

¹² Projekt zapoczątkowany powieścią Dmitrija Głuchowskiego *Metro 2033* (*Mempo 2033*, 2005). Głuchowski cieszy się do dziś sporą popularnością w Polsce. Oprócz powieści *Metro 2033*, ukazały się *Metro 2034* (*Mempo 2034*, 2009), *Czas zmierzchu* (*Сумерки*, 2007), *Futu.re*, 2015 (*Будущее*, 2013) oraz zbiór opowiadań *Witajcie w Rosji*, 2014 (*The Russian Anti-Popular Tales*, 2014). Niedługo pojawi się przekład polski kolejnej powieści autora – *Metro 2035*.

- научно-практической конференции, 21 апреля – декабрь 2010 года. Ред. Большакова А.Ю. и Дырдина А.А. Ульяновск: УлГТУ: 317-322.
- Кравченко Евгения, Попович Наталья. 2012. *Русская литература XXI века*. Москва: Про-грамма.
- Jerofiejew Wiktor. 1994. *Rosyjskie kwiaty zła*. Przeł. Pomorski A. „Literatura na Świecie” nr 7-8: 337-346.
- Mazurkiewicz Adam. *Nowa rosyjska fantastyka naukowa (rekonesans)*, cz. I i II, W: <http://www.creatio.art.pl/index.php?menu=archiwum&archid=41&artid=877> [Dostęp 10 II 2015].
- Mazurkiewicz Adam. *Nowa rosyjska fantastyka naukowa (rekonesans)*, cz. III. W: <http://www.creatio.art.pl/index.php?menu=archiwum&archid=45&artid=1012> [Dostęp 10 II 2015].
- Rowieńska Tatiana. 2005. *Historia prozy kobiecej w epoce transformacji, czyli „oczy szeroko zamknięte” rosyjskiego feminizmu*. W: *Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy*. T. II: *Feminizm*. Red. Kraskowska E. Warszawa: Kolor PLUS: 84-94.
- Świeży Janusz. 1999. *Najnowsza literatura rosyjska w Polsce: Coś wiemy, ale wciąż za mało*, „Dekada Literacka” nr 9/10 (155/156): 1-2.

Summary

READING RUSSIA. CONTEMPORARY RUSSIAN PROSE IN POLAND. SELECTED ISSUES

The aim of this paper is to diagnose the presence of contemporary Russian prose in Poland. The starting point for the discussion is related to articles depicting present tendencies and the directions the latest Russian literature heads for. On the basis of an overview of Polish translations of texts authored by Russian writers it may be concluded that Polish readers have an opportunity to follow the most contemporary trends in the development of Russian literature.

Kontakt z Autorką:
olazywert@o2.pl

SYLWETKI NAUKOWE

Walenty Pilat

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PROF. ZW. DR HAB. ALBERT BARTOSZEWICZ JAKO PROMOTOR OLSZTYŃSKIEJ RUSYCYSTYKI

Key words: Albert Bartoszewicz, Institute of Slavic Studies, organisational and scientific activity, scientific cooperation with Kaliningrad, international Slavic conferences, scientific periodicals

Na początku lat osiemdziesiątych Zakład Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie znajdował się w fatalnym położeniu. Minister Stelmachowski, w związku z brakiem wymaganej liczby pracowników samodzielnych, zagroził zawieszeniem kierunku.

Uważaliśmy, że filologia rosyjska jest w Olsztynie potrzebna. Była wówczas niewielka grupa ludzi, której na istnieniu kierunku w Olsztynie zależało. Zwróciliśmy się zatem o pomoc do Profesora Alberta Bartoszewicza. Ku naszemu zaskoczeniu, wyraził zgodę na podjęcie u nas pracy na pół etatu.

Profesor od początku zatrudnienia w naszej jednostce zaczął aktywnie działać na rzecz jej umocnienia. Przede wszystkim zatrudnił na cały etat doc. dr hab. Wandę Zmazer (dziś profesor) na stanowisku kierownika Zakładu, zabiegał o innych pracowników samodzielnych. W 1986 roku zrobiłem habilitację, a więc była już jakaś podstawa do utrzymania naszego kierunku. Profesor przykładął też wielką wagę do współpracy (rozpoczętej w 1979 roku) z Państwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie. Niewątpliwie ważną rolę w tej działalności odegrały ówczesne władze rektorskie i dziekańskie uniwersytetu w Kaliningradzie, a przede wszystkim prof. Swietłana Waulina i prof. Roza Alimpijewa. Przecież nie było łatwo, nie było normalnej granicy, by wyjechać do Kaliningradu trzeba było uzyskać zgodę Komitetu Wojewódzkiego PZPR skonsultowaną z tamtejszym komitetem KPZR. Jednak wielokrotnie jeździliśmy do Kaliningradu, zawsze zabierając ze sobą kilkoro studentów. Podobne delegacje przyjeżdżały do nas. Z biegiem czasu postanowiliśmy, że będziemy wymieniać się tzw. praktykami letnimi. Rzeczywiście, przez kilka lat taka wymiana istniała, potem, także dzięki inicjatywie Profesora, przerodziła się w kilkutygodniowe praktyki studenckie (po trzecim roku studiów). Skoro już mowa

o Kaliningradzie, to trzeba koniecznie dodać, że to właśnie Profesor był inicjatorem uruchomienia tam najpierw specjalności polskiej, a potem polonistyki. Do dziś ten kierunek istnieje, także dzięki zatrudnionym tam rosyjskim polonistom.

Z chwilą przybycia do Olsztyna Profesor Albert Bartoszewicz zaczął zabiegać o przekształcenie skromnego Zakładu Filologii Rosyjskiej w Instytut. Poczynił w tym kierunku ważne, choć na początku niełatwe w realizacji, kroki. Przede wszystkim rzeczą najważniejszą było zatrudnienie pracowników samodzielnych. Był On, była prof. W. Zmarzer, byłem ja, ale ciągle nie spełnialiśmy koniecznych pod tym względem warunków. Przez pewien czas wspierał nas prof. zw. dr hab. Michał Łesiów z UMCS w Lublinie, w międzyczasie habilitację zrobił dr Tadeusz Zienkiewicz, zatrudniliśmy historyka Rosji – Stanisława Łańca, potem także historyka zajmującego się historią Rosji XX wieku – prof. Jana Sobczaka.

Profesor Bartoszewicz nie zaniedbywał też kształcenia młodej kadry. Pod moim kierunkiem rozpoczęła pracę nad rozprawą doktorską Iwona Obłąkowska-Galanciak (dziś Iwona Anna NDiaye) i z powodzeniem ją obroniła, także dzięki wsparciu Profesora, na UAM w Poznaniu. Sprzyjał także obronom doktoratów Joanny Orzechowskiej i Beaty Jeglińskiej. Na Jego prośbę prof. Jerzy Kaliszan z UAM w Poznaniu zgodził się być promotorem rozpraw doktorskich Joanny Nawackiej i Moniki Piotrowskiej-Mazurowskiej.

Ważnym wydarzeniem było zatrudnienie na początku lat dziewięćdziesiątych prof. zw. dr. hab. Bazylego Białokozowicza, a nieco później prof. dr. hab. Joanny Korzeniewskiej-Berczyńskiej. W ten sposób zaistniały warunki do utworzenia najpierw Katedry Słowiańszczyzny Wschodniej, a potem Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. W ramach tej jednostki zostały powołane Katedry: Literatur Wschodniosłowiańskich, Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego, Historii Rosji, Glottodydaktyki, Literatury i Języka Litewskiego. Do tej ostatniej Katedry został zatrudniony prof. Piroteczkinas z Wilna. Dr Mieczysław Jackiewicz zrobił habilitację z literatury litewskiej. Niestety, choć wprowadziliśmy lektorat z języka litewskiego, nasi studenci nie chcieli w nim uczestniczyć. Zawiesiliśmy przeto istnienie tej Katedry. W tym czasie w wyniku wyborów Profesor Bartoszewicz został dyrektorem Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Jednym słowem, dzięki zabiegom Profesora staliśmy się w pełni normalną jednostką akademicką.

Na oddzielną uwagę zasługuje działalność organizacyjna Profesora, kiedy już przeszedł do nas na cały etat. W latach 1996-1999 był dziekanem Wydziału. Prodziekanem wówczas był prof. Norbert Kasperek. Oto jego wypowiedź na temat ich współpracy:

Dla Profesora, kiedy mówił „tak”, znaczyło tak, nie bał się mówić prosto „nie”, nie szukał nigdy popularności w populizmie, w obietnicach bez pokrycia. Kiedy odpowiadał „nie wiem”, wiedziałem, że znaczy to tak, tylko po pewnym czasie. Te niezbyt popularne decyzje podejmował otwarcie sam, nie spychał tego na innych. Jego serdeczność i zwykła dobroć wobec innych nie znała granic, kosztem czasu, i niestety nie najlepszego zdrowia... był Profesor Bartoszewicz strażnikiem obyczajów i zwyczajów akademickich, tu nigdy nie szedł na żadne kompromisy... [Kasperek 2006, 200].

Kierując Wydziałem, nie zapominał o raczkujących wtedy kierunkach, jak filologia angielska i filologia germańska. To właśnie On, w celu wzmocnienia tych kierunków,

zatrudnił wybitnych specjalistów prof. zw. dr. hab. Stanisława Puppla i prof. zw. dr. hab. Józefa Darskiego z UAM w Poznaniu. Powołał czasopismo „Acta Neophilologica” przy aktywnej pomocy wyżej wymienionych profesorów. Dbał także o inne kierunki istniejące na Wydziale. Prof. zw. dr hab. Sławomir Kalembka (niestety także już nieżyjący) pisał między innymi:

Z Albertem Bartoszewiczem zetknąłem mnie bezpośrednio, chyba w gabinecie dziekańskim, mój energiczny uczeń – obecnie profesor i dziekan Norbert Kasperek. Od pierwszej chwili poczułem do Bartoszewicza sympatię, zapewne z wzajemnością. Był to bowiem uczony, który nie popisywał się swą głęboką wiedzą, znakomitymi dokonaniem badawczymi i organizacyjnymi, utrwaloną pozycją europejską wśród sławistów, umiejętnością budowania szkoły naukowej... Jego przedwczesna śmierć była ciężkim ciosem dla najbliższych, dla przyjaciół i kolegów, ale także dla humanistycznego środowiska Olsztyna. Zabrakło jednego z motorów popychających je ku prawdziwej akademickości [Kalembka 2006, 195-196].

Jako dziekan Wydziału przywiązywał też niezwykle wagę do współpracy z wtedy Państwowym Uniwersytetem w Kaliningradzie. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach naukowych organizowanych przez tamtejszy Wydział Filologiczny, publikował tam prace naukowe, swoje kontakty naukowe udostępniał kaliningradzkim językoznawcom. Jego jednak zasadniczą troską było, by w Kaliningradzie uruchomić polonistykę. I to się udało. Dzięki staraniom Jego i prof. Swietłany Wauliny uruchomiono najpierw specjalność polską, a potem filologię polską. Przygotowano odpowiednią kadrę, zachęcono absolwentów filologii rosyjskiej do nauki języka polskiego, zainteresowano polską literaturą. Na pewno trzeba tu wymienić przede wszystkim Larysę Kołobkową, która bezbłędnie opanowała język polski i dziś kieruje Zakładem Języków Słowiańskich, prof. Leonida Malcewa, który na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie napisał doktorat na temat twórczości Herlinga-Grudzińskiego, a potem habilitował się z zakresu polskiej literatury łagrowej. Doskonale też opanował język polski. Prof. S. Waulina zatrudniła również innych polonistów.

Ważną sprawą też była działalność przekładowa prof. Rozy Alimpiejewej, co Profesor Bartoszewicz popierał i był gorącym entuzjastą Jej poczynąń translatorskich. Prof. R. Alimpiejewa przetłumaczyła na język rosyjski między innymi wiersze Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Adama Asnyka, Bolesława Leśmiana, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Jana Twardowskiego i in. W ten sposób literatura polska zaistniała także w okręgu kaliningradzkim i stała się przedmiotem zainteresowania kaliningradzkich studentów – polonistów.

Niewątpliwie wielkim entuzjastą i propagatorem kultury polskiej w Kaliningradzie był i jest prof. Aleksiej Dmitrowski. Albert Bartoszewicz bardzo go cenił i z szacunkiem odnosił się do jego prac na temat polsko-rosyjskich związków literackich. A. Dmitrowski uczestniczył prawie we wszystkich konferencjach naukowych organizowanych przez nasz Instytut i przyjaźnił się z Profesorem Bartoszewiczem. Podobnie trzeba napisać o zmarłym już prof. Władimirze Griesznym. To był germanista, ale także naukowiec zainteresowany polską literaturą. Albert Bartoszewicz zawsze wyrażał się o nim z najwyższym uznaniem.

Tak więc Profesor Bartoszewicz z wielkim entuzjazmem odnosił się do współpracy z Federalnym Bałtyckim Uniwersytetem im. I. Kanta w Kaliningradzie. Uważał, że skoro tak blisko istniejemy – Olsztyn i Kaliningrad, to jest szansa na równie bliską współpracę naukową. Władze tamtejsze doceniły to i w roku 1997 nadały Profesorowi tytuł doktora honoris causa.

Kiedy mówimy o działaniach organizatorskich Profesora w Olsztynie, to koniecznie należy wspomnieć o Jego poczynaniach edytorskich oraz organizacji międzynarodowych konferencji slawistycznych. Pierwsze konferencje zorganizował w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, ale bodajże największe znaczenie dla naszego Instytutu miała konferencja w ośrodku wczasowym „Perkoz” koło Olsztynka. Wzięli w niej udział wybitni polscy slawiści, historycy i kulturologi. Rzecz jasna, byli także goście z zagranicy. Na tejże konferencji, podczas dyskusji panelowej, postanowiono, że w Olsztynie będzie wydawany rocznik „Acta Polono-Ruthenica”. Prof. Ryszard Łużny tak oto odniósł się do tej propozycji:

Tym większego znaczenia zdaje się nabierać to, co przedsięwziął pod nowym swoim kierownictwem ośrodek olsztyński, a mianowicie kontynuacja i rozszerzenie profilu cyklu międzysłowiańskich konferencji naukowych, próba odtworzenia zlikwidowanej serii wydawniczej – na bazie własnych „Zeszytów Naukowych” – typu „Studia Polono-Slavica Orientalia”... Może to właśnie dzięki Olsztynowi i okoliczności, że właśnie do tego miasta zdaje się centrum, punkt ciężkości polskich poczynąń komparystyczno-interdyscyplinarnych, organizacyjno-naukowych, badawczych, wydawniczych i upowszechnieniowych nie tylko zaktywizują się i zsynchronizują, a także połączą rozproszone wysiłki tych, którzy pozostali jeszcze wierni tego typu badaniom... [Łużny 1994, 26].

Profesor Albert Bartoszewicz i my staraliśmy się realizować wskazania prof. Ryszarda Łużnego, bo przecież to jeden z największych autorytetów w rusycystyce polskiej. Z entuzjazmem też do tego projektu odniósł się prof. zw. dr hab. Bazyli Białokozowicz:

Badania komparatystyczne niejako zakładają konieczność gruntownego przestudiowania układów i tradycji kulturowego pogranicza, kresów i styków z uwzględnieniem czynników różnicujących, komplementarnych i integrujących z zastosowaniem w szerokim zakresie nowocześnie pojmowanej wzajemnej recepcji, tematologii, czyli tzw. Staffgeschichte, jak również porównań genetycznych i typologicznych. Chcielibyśmy, aby olsztyńskie badania kresów i pogranicza kulturowego pięknie się wpisywały do ogólnokrajowego dorobku komparatystyki polskiej... [Białokozowicz 1994, 47].

W ten sposób zaistniało u nas czasopismo naukowe „Acta Polono-Ruthenica”. Redagował je do śmierci Albert Bartoszewicz. Potem ja przejąłem redakcję. Dziś wydajemy już dwudziesty trzeci tom. Komparatystyka zatem stała się jedną z naczelnych dziedzin badań naszego Instytutu. Do dziś zresztą staramy się być wierni w swoich naukowych penetracjach tej problematyce. W niej mieszczą się także trzy tomy rozpraw zrealizowane pod moją redakcją – *W kręgu kultury litewskiej* [Olsztyn 1991], *W kręgu kultury białoruskiej* [Olsztyn 1994] i *W kręgu kultur bałtyckich* [Olsztyn 1998]. Albert Bartoszewicz poparł tę inicjatywę i sprzyjał publikacji tych tomów. Także za kadencji Profesora zdecydowaliśmy się wydawać biuletyn informacyjny „Sławista”, który zresztą wydajemy do dziś (wyszło już przeszło dwadzieścia zeszytów). Zamieszczamy tu informacje

o ważniejszych faktach z życia Instytutu, piszą w „Sławiście” nie tylko pracownicy, lecz także studenci. Albert Bartoszewicz był zawsze bardzo zainteresowany tym biuletynem i każdy zeszyt uważnie czytał.

Będąc dziekanem naszego Wydziału, Profesor podjął także pracę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem z tą uczelnią był szczególnie związany – tam się habilitował, tam pracował w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, tam wreszcie znał wielu pracowników, a z niektórymi był po prostu zaprzyjaźniony. Jego praca na UAM nie ograniczała się tylko do wygłaszania wykładów. Był żywo zainteresowany rozwojem naukowym młodszej kadry, o czym zresztą do dziś pamiętają niektórzy tamtejsi doktorzy habilitowani. Jednym słowem, kiedy już Profesor w coś się angażował, to dawał z siebie wszystko, by dana jednostka rozwijała się i wносиła do sławistyki polskiej znaczące osiągnięcia.

Nie mnie oczywiście oceniać dorobek naukowy Profesora Alberta Bartoszewicza (nie jestem językoznawcą), wymienię przeto ważniejsze Jego publikacje (rzecz jasna, nie wszystkie, miał ich bowiem przeszło sto pięćdziesiąt).

Monografie

1. *Суффиксальное словообразование существительных в русском языке новейшей эпохи (на материале новообразований после 1940 года)*. Poznań 1970.
2. *История суффиксальной отсубстантивной деривации существительных в русском литературном языке (nomina concreta ot nomina concreta)*. Poznań 1971.
3. *Zagadnienia ewolucji współczesnego języka rosyjskiego*. Warszawa 1987.

Podręczniki i skrypty

1. *История русского литературного языка. Часть I (Донациональный период)*. Warszawa 1973.
2. *История русского литературного языка. Часть II (Национальный период до советской эпохи)*. Warszawa 1976.
3. *История русского литературного языка*. Warszawa 1979.
4. *Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego (fonetyka i morfologia)*. Warszawa 1982.
5. *Очерк исторической фонетики и морфологии русского языка*. Warszawa 1988.
6. *Słownictwo rosyjskie dla Polaków*. Warszawa 1990.

Słowniki

1. *Indeks a tergo do słownika języka Puszkina*. Warszawa 1985.
2. *Słownik a tergo współczesnego języka białoruskiego*. Warszawa 1988-1989.
3. *Słownik białorusko-polski i polsko-białoruski*. Warszawa 1995.

Rozprawy, studia i artykuły naukowe

1. *Ewolucja współczesnego języka rosyjskiego a aglutynacja*. W: *Języki i literatury wschodniosłowiańskie*. Łódź 1976.

2. *К постановке вопроса об общих тенденциях развития современного русского языка*, w: *Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo*. Seria VI. Warszawa 1983.
3. *O ewolucji współczesnego języka rosyjskiego w świetle zmieniających się ważniejszych czynników ekstralingwalnych*. W: *Problemy nauczania języka rosyjskiego oraz kształcenia nauczycieli-rusycystów w Polsce*. Kielce 1990.
4. *Несколько замечаний о современной переводной лексикографии*. W: *Z badań nad językiem i współczesną literaturą rosyjską*. Olsztyn 1990.
5. *O nazwach własnych w funkcji wtórnej nominacji w języku więźniów ГУЛАГУ w rosyjskojęzycznej literaturze łagrowej*. W: *Onomastyka literacka*. Olsztyn 1993.
6. *Na marginesie poświadczenia ukrainizmów w akademickim objaśniającym słowniku języka białoruskiego*. W: *W kręgu kultury ukraińskiej*. Olsztyn 1995.

Wymieniłem tu tylko niektóre pozycje z bogatego dorobku naukowego Profesora Alberta Bartoszewicza. Jak widać, w polu jego zainteresowań badawczych był nie tylko język rosyjski, lecz także białoruski (władał nim doskonale) i ukraiński. Zresztą Profesor „zaraził” nas kulturą białoruską, zaangażował do uczestnictwa w Polskim Towarzystwie Białorutenistycznym. Dzięki Jego rekomendacji braliśmy udział (z referatami) w Międzynarodowych Kongresach Białorutenistycznych w Mińsku. Jego zainteresowania kulturą były wysoko cenione przez białorutenistów warszawskich i białostockich. Miał w tym środowisku wielu przyjaciół, by wymienić tu tylko prof. Aleksandra Barszczewskiego (UW), prof. Jana Czykwina i prof. Halinę Twaranowicz (UwB), prof. Michała Sajewicza (UMCS) i prof. Bazylego Tichoniuka (UZ).

Przyjaźnił się nie tylko z językoznawcami. Wybitna badaczka prozy rosyjskiej – prof. zw. dr hab. Janina Sałajczykowa pisała:

Podczas ostatniego z nim spotkania, gdy gościłam w Olsztynie (1998), mówiliśmy o szlakach swoich wędrówek, a także o tym, co jeszcze przed nami, przed polską rusycystyką? Albert – jak zawsze – miał wiele planów. Cieszyło mnie to, był przecież znacznie młodszy, miał czas na ich realizację. Ale jak widać nie było Mu to pisane... Szczerze tego żałuję. On sam zostaje młodym, sprawnym, pędzącym po schodach po dwa stopnie, człowiekiem odpowiedzialnym, koleżeńskim, obdarzonym poczuciem humoru, ambitnym. I takim Go w swej pamięci zachowam [Sałajczyk 2006, 198].

I właśnie takim my też Go zapamiętaliśmy. Zrobił bardzo wiele dla rozwoju rusycystyki olsztyńskiej i Wydziału Humanistycznego WSP w Olsztynie, a potem UWM. Był zresztą gorącym zwolennikiem utworzenia uniwersytetu w naszym regionie.

Bibliografia

- Białokozowicz Bazyli. 1994. *Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze kulturowe, styki i kresy jako problem badawczy*. W: *Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura*. Red. Bartoszewicz A. Olsztyn: Wydawnictwo WSP: 47.

- Kalembka Sławomir. 2006. *Słowo o Albercie Bartoszewiczu*. W: *W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa*. Red. Kasperek N., Koseski A., Piłat W., Sobczak J. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr: 195-196.
- Kasperek Norbert. 2006. *Profesor Albert Bartoszewicz*. W: *W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa*. Red. Kasperek N., Koseski A., Piłat W., Sobczak J. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
- Łużny Ryszard. 1994. *Problemy relacji kulturowych polsko-wschodniosłowiańskich – dziś*. W: *Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura*. Red. Bartoszewicz A. Olsztyn: Wydawnictwo WSP: 26.
- Śalajczyk Janina. 2006. *Pamięci Prof. dr hab. Alberta Bartoszewicza*. W: *W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa*, Olsztyn: Wydawnictwo WSP: 198.
- W kręgu kultury litewskiej*. 1991. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.
- W kręgu kultury białoruskiej*. 1994. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.
- W kręgu kultur bałtyckich*. 1998. Red. Piłat W. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.

Summary

ALBERT BARTOSZEWICZ, PROF. DR. HABILITATED, AS A PROMOTER OF RUSSIAN STUDIES IN OLSZTYN

Prof. Albert Bartoszewicz first co-operated with the Department of Russian Philology in the Higher Pedagogical School (in the mid-80s of the 20th c.), later founding the Chair of Eastern Slavic Studies. It is thanks to his initiative and determination that it was established. When more doctors habilitated had been employed, the Chair transformed into the Institute of Eastern Slavic Studies. Prof. Bartoszewicz initiated a series of international Slavic conferences, which have been organised in Olsztyn biennially until today. He also found it extremely important to cooperate with the Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad. He established *Acta Polono-Ruthenica*, a scientific journal published in Olsztyn. Not only a scientist, but also a teacher, he was a supervisor of a few dozen MA students and several Ph.D. candidates.

Kontakt z Autorem:
walenty.pilat@wp.pl

Zasady przygotowania materiałów do druku *Acta Neophilologica*

W półroczniku drukowane są artykuły naukowe (nigdzie dotąd niepublikowane) w języku angielskim, niemieckim, polskim oraz rosyjskim z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki oraz literaturoznawstwa i przekładoznawstwa.

Autor dostarcza sekretarzowi na adres Redakcji (Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obizta 1) artykuł w wersji elektronicznej (CD, DVD) lub drogą elektroniczną na adres: joanna.nawacka@gmail.com. Artykuł jest zakwalifikowany do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Układ artykułu:

1. Imię i nazwisko Autora (-ów)
2. Nazwa jednostki naukowej (Instytut/Katedra, Uczelnia)
3. Tytuł artykułu
4. Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5)
5. Tekst główny
6. Bibliografia
7. Tytuł artykułu i streszczenie w języku angielskim (nie więcej niż 1/3 strony)
8. Adres pocztowy reprezentowanej przez Autora (-ów) jednostki naukowej, adres poczty elektronicznej Autora (-ów)

Objętość artykułów łącznie z tabelami i wykresami nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu formatu A-4.

Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5, marginesy po 25 mm.

W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania wyrazów.

Tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i bibliografii) należy podać kursywą.

Cytaty należy ująć w cudzysłów (bez kursywy), fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych, w takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze. Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia 1).

W półroczniku stosowany jest jeden rodzaj przypisów; przypisy zamieszczane są w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją:

[nazwisko rok wydania, strony], np. [Bralczyk 2007, 35]

[nazwisko rok wydania, tom, strony], np. [Куприн 1970-73, I, 339]

Autor sporządza jeden wykaz literatury (Bibliografia, Bibliographya, Bibliografie, Библиография) dla całej pracy. Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych.

Sposoby zapisu bibliografii

Monografie

Bralczyk Jerzy. 2007. *O języku propagandy i polityki*. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. 1991. Red. Kłóskowska A. Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Rozdziały w monografiach

Bartmiński Jerzy. 2001. *Język w kontekście kultury*. W: *Współczesny język polski*. Red. Bartmiński J. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 13-22.

Redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją (Red. Eds. Hrsg. Ред.)

Artykuły w czasopismach

Korpysz Tomasz. 2010. *Słowniki języka autorów jako typ opracowań leksykograficznych*. „Poradnik Językowy” nr 4: 51-72.

Publikacje internetowe

Иомдин Борис. 2015. *Семантика понимания: лексикографический портрет глагола понимать*. B: <http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Iomdin.pdf> [Доступ 14 IV 2015].

Kawka Maciej. *Trzy edytorstwa czy jedno? O potrzebie kształcenia wydawców książek w Akademii Pedagogicznej*. Kraków. W: <http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt6/kawka1.html> [Dostęp 14 IV 2015].